КРОПОТКИН.

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
И
АНАРХИЯ.

Перевод с французского
под редакцией Автора



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1921.

Книгоиздательство

СОЮЗА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ „ГОЛОС ТРУДА“.

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70.

Выпущены в свет следующие книги и брошюры:

М. Бакунин.—Избран. соч. т. I. Государственность и Анархия, с биографич. очерком В. Черкезова . . . . . . Ц. 600 р. — к

Его-же.—Т. II. Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, с предисловием и примечаниями Дж. Гильома. . . . . Ц. 570 „ — „

Его-же.—Т. III. Бернские Медведи и Петербургский Медведь; Речи и Статьи по Славянскому Вопросу; Народное Дело; Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы; Федерализм, Социализм и Антитеологизм . . . . . . Ц. 420 „ — „

Его-же. — Т. IV. Организация Интернационала; Политика Интернационала; Письма о Патриотизме; Письма к французу; Парижская Коммуна и понятие о Государственности . . . . Ц. 540 „ — „

Его-же.—Бог и Государство (разошлось) . . . . Ц. — „ — „

Дж. Баррэт.—Анархическая Революция . . . . . . Ц. 100 „ — „

А. Боровой.—Личность и Общество в Анархистском Мировоззрении . . . . Ц. 175 „ — „

Дж. Гильом.—Карл Маркс и Интернационал . . . . . . Ц. 250 „ — „

Ж. Грав.—Будущее Общество . . . . Ц. 570 „ — „

Его-же.—Синдикализм в общественном развитии. . . . . Ц. 50 „ — „

Виктор Д[...] ...ю-
ци[...] . Ц. 150 „ — „

С. Заяц[...] . Ц. 50 „ — „

Ж. Ивто[...] . Ц. — „ — „

М. Корн[...] ...ь-
ба[...] . Ц. 200 „ — „

П. Кроп[...] ...й
ав[...] . Ц. 810 „ — „

Его-же.[...] ...м
ан[...] . Ц. 600 „ — „

Его-же.[...] ...в-
да[...] . Ц. 570 „ — „

Его-же.[...] ...е-
д[...] . Ц. 630 „ — „

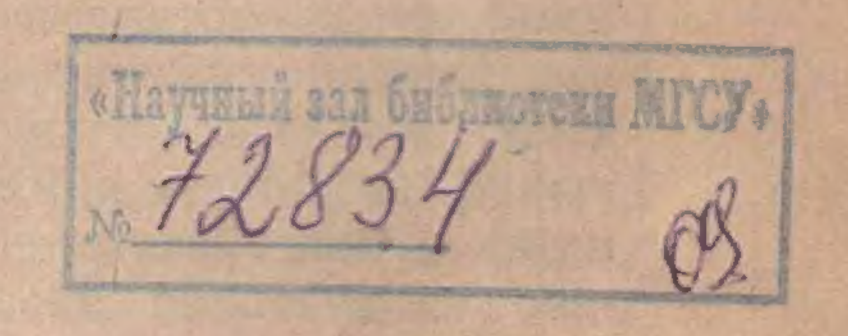
Его-же.[...] ...н-
н[...] ...ки
и[...] . Ц. 125 „ — „

П. КРОПОТКИН.

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
И
АНАРХИЯ.

Перевод с французского
под редакцией Автора.





КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА“.
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1920.

Типография „ГОЛОС ТРУДА“. Петербург.

Предисловие к первому французскому изданию.

Когда мы рассматриваем какую-нибудь социальную теорию, мы скоро замечаем, что она не только представляет собой программу какой-либо партии и известный идеал перестройки общества, но что обыкновеннно она также присоединяется к какой-нибудь определенной системе философии,—к общему представлению о природе и человеческом обществе. Эту мысль я уже пытался развить в своих двух лекциях об анархии, где я указал на отношение, существующее между нашими идеями и стремлением, столь ясно выявившимся в настоящее время в естественных науках, об‘яснять важнейшие явления природы действием бесконечно малых частиц, тогда как раньше в этом видели лишь действие больших масс; в науках социальных то же стремление приводит к признанию прав личности там, где раньше признавали лишь интересы государства.

Теперь я пытаюсь показать в этой книге, что наше понятие об анархии представляет собой также необходимое следствие общего большого под‘ема в естественных науках, который произошел в XIX столетии. Именно, изучение этого под‘ема, а также замечательных завоеваний науки, сделанных втечение последних десяти или двенадцати лет минувшего века, и побудило меня приступить к настоящей работе.

Известно, что последние годы девятнадцатого века были отмечены замечательным прогрессом в естественных науках, которому мы обязаны открытием беспроволочного телеграфа, новых до сих пор неизвестных явлений лучеиспускания, группы инертных газов, неукладывающихся в химические формулы, новых форм живой материи и так далее. И мне пришлось заняться основательным изучением этих новых завоеваний науки.

В 1891 году, в то время, когда эти открытия так быстро следовали одно за другим, издатель „Nineteenth Century“, Джемс Ноульз (James Knowles) предложил мне продолжать в его журнале серию статей о современной науке, которые до того писал Гэксли, и которые этот известный сотрудник Дарвина был принужден оставить вследствие слабого здоровья. Понятно, что я колебался принять это предложение. Гэксли писал не легкие

элегантные статьи на научные темы, а статьи, в каждой из которых разбирал серьезно и основательно два или три крупных научных вопроса, стоящих на очереди, и давал читателю в доступной форме обоснованный критический анализ новейших открытий по данным вопросам. Но Ноульз настаивал, и чтобы облегчить мою задачу, Королевское Общество прислало мне приглашение присутствовать на его заседаниях. В конце концов я принял предложение и втечение десяти лет, начиная с 1892 г., писал целый ряд статей для „Nineteenth Century" под общим заглавием: „Новейшая наука" (Recent Science), до тех пор, пока сердечный удар не заставил меня в свою очередь бросить эту трудную работу.

Принужденный таким образом заняться серьезным изучением последних научных открытий за это время, я пришел к двойному результату. С одной стороны я видел, как новые открытия громадной важности, сделанные благодаря индуктивному методу присоединялись к прежним открытиям, сделанным в 1856-1862 г.г., и как с другой стороны более глубокое изучение великих открытий, сделанных в середине столетия Майером, Гровом, Вюрцем, Дарвином и другими, выдвигая новые вопросы громадного философского значения, бросало новый свет на предыдущие открытия и открывало новые научные горизонты. И там, где некоторые ученые, слишком нетерпеливые или находящиеся под слишком сильным влиянием их первоначального воспитания, желали видеть „падение науки", я видел только нормальное явление, хорошо знакомое математикам, — именно явление „*первого приближения*".

В самом деле, мы постоянно видим, как астроном или физик доказывает нам существовавание известных соотношений между различными явлениями; эти соотношения мы называем „физическим законом". После того многие ученые начинают изучать детально, как прилагается этот закон на практике. Но скоро, по мере того, как в результате их исследований накопляются факты, они видят, что закон, который они изучают, есть только „первое приближение"; что факты, которые нужно об‘яснить, оказываются гораздо сложнее, чем они казались вначале. Так, возьмем очень известный пример „законов Кеплера" относительно движения планет вокруг солнца. Детальное изучение движения сначала подтвердило эти законы и доказало, что действительно спутники солнца движутся в общем по линии эллипса, один из центров коего занимает солнце. Но в то же время было замечено, что эллипс в данном случае есть только „первое приближение". В действительности планеты, в своем продвижении по эллипсу, делают различные отклонения от него. И когда стали изучать эти отклонения, являющиеся результатом взаимного влияния планет

друг на друга, то астрономы смогли установить *„второе“* и *„третье приближение“*, которые гораздо точнее соответствовали действительному движению планет, чем „первое приближение“.

Именно, это явление наблюдается теперь в естественных науках. Сделав великие открытия о неуничтожаемости материи, единства физических сил, действующих как в одушевленной, так и в неодушевленной материи, установив изменяемость видов и т. д., науки, изучающие детально последствия этих открытий, ищут в настоящий момент „вторые приближения“, которые будут более точно соответствовать реальным явлениям жизни природы.

Воображаемое „падение науки“, о котором так много говорят теперь модные философы, есть ничто иное, как искание этого „второго“ и „третьего приближения“, которому наука отдается всегда после каждой эпохи великих открытий.

Однако я не собираюсь обсуждать здесь труды этих блестящих, но поверхностных философов, которые стараются воспользоваться неизбежными задержками на пути науки затем, чтобы проповедывать мистическую интуицию и унизить науку вообще в глазах тех, кто не в состоянии проверить их критику. Я должен был бы повторить здесь все, что говорится в самой книге, о злоупотреблениях и передержках, которые допускают метафизики диалектического метода. Но мне достаточно будет отослать читателя, интересующегося такими вопросами, к работе Хью С. Р. Эллиота. „Современная Наука и иллюзии Профессора Бергсона“, которая недавно появилась в печати в Англии с великолепным предисловием Сэра Рэя Ланкастера [1]).

В этой книге можно видеть, посредством каких произвольных и чисто диалектических способов, и благодаря какому извращению слов этот модный представитель модной философии приходит к своим выводам...

С другой стороны, изучая последний прогресс естественных наук, и признавая в каждом новом открытии новое приложение индуктивного метода, я видел в то же времи,что анархические идеи, формулированные Годвином и Прудоном и развитые их продолжателями, *представляют также приложение того же самого метода к наукам, изучающим жизнь человеческих обществ.* Я хотел показать в первой части этой книги, до какого пункта развитие анархической идеи шло рука об руку с прогрессом естественных наук. И я постарался указать, как и почему философия анархизма находит себе совершенно определенное место в последних попытках выработать синтетическую философию, то-есть в понятии о вселенной во всем ее целом.

---

[1]) Hugh S. R. Elliot, „Modern Science and the Illusions of Professor Bergson“, London 1912, Longman uud. Green, Publishers“.

Что же касается до второй части книги, которая является необходимым дополнением первой, то в ней я говорю о государстве. Сначала я ввожу сюда очерк исторической роли государства, который был уже издан несколько лет назад в виде брошюры. За ним я помещаю этюд о современном государстве и о его роли создателя монополий в пользу привиллегированного меньшинства. Здесь я останавливаюсь на том, какую роль играют войны в накоплении богатств в руках привиллегированного меньшинства и в параллельном ему и неизбежном обеднении народных масс. Разбирая обширный вопрос о государстве, как создателе монополий, я должен был однако ограничиться тем, что я только наметил существенные черты. И это я делал тем охотнее, что несомненно кто нибудь другой в скором времени займется этим вопросом, воспользовавшись массой документов, опубликованных недавно во Франции, Германии и Соединенных Штатах, и обрисует вполне эту монополистскую роль государства, которая с каждым днем превращается в общественную опасность, все более и более грозную и страшную.

В конце книги я позволил себе приложить под названием: „Обяснительные заметки" — заметки об авторах, упоминаемых в этой книге и о некоторых научных терминах. Обратив внимамание на большое количество имен на страницах моей книги — имен, большая часть которых мало известна моим читателям рабочим — я подумал, что эти заметки доставят им удовольствие.

В то же время спешу выразить мою глубочайшую благодарность моему другу, доктору Максу Неттлау, который любезно помог мне, благодаря своим обширным познаниям в социалистической и анархической литературе, в работе над историческими главами этой книги и „Об'яснительными заметками".

П. Кропоткин.

Брайтон, Февраль 1913 г.

Современная Наука и Анархия.

Современная Наука и Анархия.

I.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНАРХИИ.

Два основных течения в обществе: народное и начальническое. — Сродство анархизма с народно-созидательным течением.

Анархия, конечно, ведет свое происхождение не от какого-нибудь научного открытия и не от какой-нибудь системы философии. Общественные науки еще очень далеки от того момента, когда они получат ту же степень точности, как физика или химия. И если мы, в изучении климата и погоды, не достигли еще того, чтобы предсказывать предстоящую погоду за месяц или даже неделю вперед, то было бы нелепо претендовать, что в общественных науках, имеющих дело с явлениями, гораздо более сложными, чем ветер и дождь, мы могли бы уже предсказывать научно грядущие события. Не надо забывать тем более, что ученые — такие же люди, как и все другие, и что в большинстве они принадлежат к зажиточным классам и поэтому разделяют все предрассудки этих классов; многие из них даже находятся прямо на службе у государства. Понятно, что не из университетов идет к нам анархизм.

Как и социализм вообще, и как всякое другое общественное движение, анархизм родился среди народа, и он сохранит свою жизненность и творческую силу только до тех пор, пока он будет оставаться народным.

Во все времена в человеческих обществах сталкивались в борьбе два враждебных течения. С одной стороны народ, народные массы вырабатывали в форме обычая множество учреждений, необходимых для того, чтобы сделать жизнь в обществах возможной, — чтобы поддержать мир, улаживать ссоры и оказывать друг другу помощь во всем, что требует соединенных усилий. Родовой быт у дикарей, затем, позднее, сельская община и еще позднее промышленная гильдия и средневековые вольные

города-республики вечевого строя, которые положили первые основания международного права, все эти и многие другие учреждения были выработаны не законодателями, а творческим духом самих народных масс.

С другой стороны во все времена существовали колдуны, маги, вызыватели дождя, оракулы, жрецы. Они были первыми обладателями знания природы и первыми основателями различных религиозных культов (культ солнца, сил природы, предков и т. д.), также как различных обрядностей, помогавших поддерживать единство союзов между отдельными племенами.

В эти времена первые зачатки изучения природы (астрономия, предсказание погоды, изучение болезней и т. д.) были тесно связаны с различными суевериями, выраженными в различных обрядностях и культах. Все искусства и ремесла имели такое же происхождение и вытекали из изучения и суеверий. И каждое из них имело свои мистические формулы, которые сообщались только посвященным и оставались старательно скрытыми от народных масс.

Рядом с этими первыми представителями науки и религии мы находим также людей, которые, как *барды*, ирландские *брегоны*, *сказители законов* у скандинавских народностей и т. д. рассматривались, как знатоки и хранители преданий и старых обычаев, к которым все должны были обращаться в случае несогласия и ссор. Они хранили законы в своей памяти (иногда при помощи знаков, которые были зачатками письма), и в случае разногласий к ним обращались, как к посредникам.

Наконец, были также временные начальники боевых дружин, владевшие, как предполагалось, колдовскими чарами, при помощи которых они могли обеспечить победу; они владели также тайнами отравления оружия и другими военными секретами.

Эти три категории людей всегда, с незапамятных времен составляли между собой тайные общества, чтобы сохранять и передавать следующему поколению (после долгого и тяжелого периода посвящения) тайны их специальностей; и если иногда они боролись друг с другом, они всегда кончали тем, что приходили к взаимному соглашению. Тогда они сплачивались между собой, вступали в союз и поддерживали друг друга, чтобы господствовать над народом, держать его в повиновении, управлять им —и заставлять его работать на них.

Очевидно, что анархизм представляет собой первое из этих двух течений, — то-есть, творческую созидательную силу самого народа, выработывавшего учреждения обычного права, чтобы лучше защититься от желающего господствовать над ним меньшинства. Именно силою народного творчества и народной сози-

дательной деятельности, опирающейся на всю мощь современной науки и техники, анархизм и стремится теперь выработать учреждения, необходимые для обеспечения свободного развития общества — в противоположность тем, кто возлагает всю свою надежду на законодательство, выработанное правительством, состоящим из меньшинства и захватившим власть над народными массами при помощи суровой жестокой дисциплины.

В этом смысле анархисты и государственники существовали во все времена истории.

Затем во все времена происходило также то, что все учреждения, даже самые лучшие, которые были выработаны первоначально для поддержания равенства, мира и взаимной помощи, со временем застывали, окаменевали по мере того, как они старели и дряхлели. Они теряли свой первоначальный смысл, подпадали под владычество небольшого, властолюбивого меньшинства и кончали тем, что становились препятствием для дальнейшего развития общества. Тогда отдельные личности восставали против этих учреждений. Но, тогда как одни из этих недовольных, восставая против учреждения, которое, устарев, стало стеснительным старались видоизменить его в интересах всех, и в особенности низвергнуть чуждую ему власть, которая в конце концов завладела этим учреждением, — другие стремились освободиться от того или иного общественного установления (род, сельская коммуна, гильдия и т. д.) исключительно для того, чтобы стать вне этого учреждения и над ним, — чтобы господствовать над другими членами общества и обогащаться на их счет.

Все реформаторы, политические, религиозные и экономические, принадлежали к первой из этих категорий. И среди них всегда находились такие личности, которые не дожидаясь того, чтобы все их сограждане или даже меньшинство среди них прониклись теми же взглядами, шли сами вперед и восставали против угнетения — или более менее многочисленными группами, или совсем одни, если за ними никто не следовал. Таких революционеров мы встречаем во все эпохи истории.

Однако сами революционеры были также двух совершенно различных родов. Одни из них, вполне восставая против власти, выросшей внутри общества, вовсе не стремились уничтожить ее, а желали только завладеть ею сами. На место власти, устаревшей и ставшей стеснительной, они стремились образовать новую власть, обладателями которой они должны были стать сами, и они обещали, часто вполне чистосердечно, что новая власть будет держать близко к сердцу интересы народа, истинной представительницей которого она явится, — но это обещание позднее неизбежно ими забывалось или нарушалось. Таким образом, между прочим, создалась императорская власть цезарей в Риме, церковная

власть в первые века христианства, власть диктаторов в эпоху упадка средневековых городов - республик и так далее. То же течение было использовано для образования в Европе королевской власти в конце феодального периода. Вера в императора-„народника,“ Цезаря, не угасла еще даже и в наши дни.

Но рядом с этим государственным течением утверждалось также другое течение в такие эпохи пересмотра установленных учреждений. Во все времена, начиная с древней Греции и до наших дней, появлялись личности и течения мысли и действия, стремившиеся не к замене одной власти другой, а к полному уничтожению власти, завладевшей общественными учреждениями, — не создавая вместо нее никакой другой власти. Они провозглашали верховные права личности и народа и стремились освободить народные учреждения от государственных наростов, чтобы иметь возможность дать коллективному народному творчеству полную свободу, чтобы народный гений мог свободно перестроить учреждения взаимной помощи и защиты, согласно новым потребностям и новым условиям существования. В городах Древней Греции и особенно в средневековых городах (Флоренция, Псков и т. д.) мы находим много примеров борьбы этого рода.

Мы можем, следовательно, сказать, что всегда существовали якобинцы и анархисты между реформаторами и революционерами.

В прошлые века происходили даже громадные народные движения, запечатленные анархическим характером. Многие тысячи людей в селах и городах поднимались тогда против государственного принципа, —против органов государства, и его орудий: судов и законов, — и провозглашали верховные права человека. Они отрицали все писаные законы и утверждали, что каждый должен повиноваться лишь голосу своей собственной совести. Они стремились создать, таким образом, общество, основанное на принципах равенства, полной свободы и труда. В христианском движении, начавшемся в Иудее, в правление Августа, против римского закона, против римского государства и римской тогдашней нравственности (или вернее безнравственности), было без сомнения много серьезных анархических элементов. Но понемногу оно выродилось в церковное движение, построенное по образцу древнееврейской церкви и самого императорского Рима,—и это очевидно убило то, что христианство имело в себе анархического в начале своего существования; оно придало ему римские формы и сделало из него в скором времени главный оплот и поддержку власти, государства, рабства и угнетения. Первые зародыши „оппортунизма“, которые были введены в христианство, уже заметны в Евангелиях и в Посланиях Апостолов, или, по крайней мере, в тех редакциях этих писаний, которые составляют Новый Завет.

Точно также в движении анабаптистов шестнадцатого века, которое начало и произвело Реформацию, было очень много анархического. Но раздавленное теми из реформаторов, которые под руководством Лютера соединились с принцами и князьями, против восставших крестьян, это движение было задавлено ужасными кровавыми расправами над крестьянами и „простонародьем" городов. Тогда правое крыло реформаторов выродилось понемногу и превратилось в тот компромисс со своею совестью и государством, который существует теперь под именем протестантизма.

Итак, подводя вкратце итог сказанному, — анархизм родился из того же протеста, критического и революционного, из которого родился вообще весь социализм. Только некоторые социалисты, дойдя до отрицания капитала и общественного строя, основанного на порабощении труда капиталом, остановились на этом. Они не восстали против того, что составляет по нашему мнению истинную силу капитала, — государства и его главных оплотов: централизации власти, закона (составленного всегда меньшинством и в пользу меньшинства) и суда, созданных главным образом ради защиты власти и капитала.

Что касается анархизма, то он не останавливается на одной критике этих учреждений. Он поднимает свою святотатственную руку не только против капитала, но также и против его оплотов: государства, централизации и установленных государством законов и суда.

II.

УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 18-го ВЕКА.

Его основные черты: исследование всех явлений научным методом.

Но если анархизм, подобно всем другим революционным направлениям, зародился среди народов, в шуме борьбы, а не в кабинете ученого, то тем не менее важно знать, какое место он занимает среди различных научных и философских течений мысли, существующих в настоящее время? Как относится анархизм к этим различным течениям? На которое из них он преимущественно опирается? Каким методом исследования он пользуется, чтобы обосновать и подкрепить свои выводы и заключениям? Иначе говоря, к какой школе философии права принадлежит анархизм?

И с каким из ныне существующих направлений в науке он вызывает наибольшее сходство?

В виду того непомерного увлечения экономической метафизикой, которое мы видели в последнее время в социалистических кругах, этот вопрос представляет известный интерес. Поэтому я постараюсь ответить на него, кратко и возможно просто, избегая мудреных слов там, где их можно избежать[1]).

Умственное движение девятнадцатого века ведет свое происхождение от работ английских и французских философов середины и начала предыдущего столетия.

Всеобщий под‘ем мысли, начавшийся в ту пору, воодушевил этих мыслителей желанием охватить все человеческия знания в одной общей системе, — системе природы. Отбросив окончательно средневековую схоластику и метафизику, они имели смелость взглянуть на всю природу, — на звездный мир, на нашу солнечную систему и на наш земной шар, на развитие растений, животных и человеческих существ на поверхности земли, — как на ряд фактов, могущих быть изученными по такому же методу, по какому изучают естественные науки.

Широко пользуясь истинно *научным*, — индуктивно-дедуктивным методом, они приступили к изучению всех групп явлений, какие мы наблюдаем в природе,—будь то явления из мира звезд или мира животных, или из мира человеческих верований и учреждений — совершенно так же, как если бы это были вопросы физики, изучаемые натуралистом.

Они сначала тщательно собирали факты, и когда они затем строили свои обобщения, то они делали это путем наведения (индукции). Они строили известные предположения (гипотезы), но этим предположениям они приписывали не больше значения, чем Дарвин своей гипотезе о происхождении новых видов путем борьбы за существование, или Менделеев своему „периодическому закону“. Они видели в них лишь предположения, которые представляют возможное и вероятное об‘яснение и облегчают группировку фактов и их дальнейшее изучение; но они не забывали, что эти предположения должны быть подтверждены приложением к множеству фактов и об‘яснены также дедуктивным путем, и что они могут стать законами, т. е. *доказанными* обобщениями, не раньше, чем они выдержат эту проверку, и после того, как причины постоянных соотношений и закономерности между ними будут выяснены.

---

[1]) В конце книги читатель найдет об‘яснительные заметки, в которых дано об‘яснение различных научных терминов понятным языком, и указаны в нескольких словах труды различных авторов.

Когда центр философского движения восемнадцатого века был перенесен из Англии и Шотландии во Францию, то французские философы с присущим им чувством стройности и системы, принялись строить по одному общему плану и на тех же началах все человеческие знания: естественные и исторические. Они сделали попытку построить *обобщенное знание*, — *философию* всего мира и всей его жизни в строго научной форме, отбрасывая всякие метафизические построения предыдущих философов, и об'ясняя все явления действием тех же физических (то есть механических) сил, которые оказались для них достаточными для об'яснения происхождения и развития земного шара.

Говорят, что, когда Наполеон I сделал Лапласу замечание, что в его „Изложении Системы Мира" нигде не упоминается имя Бога, то Лаплас ответил: „я не нуждался в этой гипотезе". Но Лаплас сделал лучше. Ему не только не понадобилась такая гипотеза, но более того, — он не чувствовал надобности вообще прибегать к мудреным *словам* метафизики, за которыми прячется туманное непонимание и полупонимание явлений и неспособность представить их себе в конкретной, вещественной форме в виде измеримых величин. Лаплас обошелся без метафизики так же хорошо, как без гипотезы о творце мира. И хотя его „Изложение Системы Мира" не содержит в себе никаких математических вычислений, и написана она языком, понятным для всякого образованного читателя, математики смогли впоследствии выразить каждую отдельную мысль этой книги в виде точных математических уравнений, то есть, в отношениях измеримых величин, — до того точно и ясно мыслил и выражался Лаплас!

Что Лаплас сделал для небесной механики, то французские философы XVIII века пытались сделать, в границах тогдашней науки, для изучения жизненных явлений (физиологии) а также явлений человеческого познания и чувства (психологии). Они отвергли те метафизические утверждения, которые встречались у их предшественников, и которые мы видим позднее у немецкого философа Канта. В самом деле, известно, что Кант, например, старался об'яснить нравственное чувство в человеке, говоря, что это есть „категорический императив", и что известное правило поведения обязательно, „если мы можем принять его, как закон, способный к всеобщему приложению". Но каждое слово в этом определении представляет что-то туманное и непонятное („императив", „категорический", „закон", „всеобщий"!) вместо того вещественного, всем нам известного факта, который требовалось об'яснить.

Французские энциклопедисты не могли удовольствоваться подобными „об'яснениями" при помощи „громких слов". Как их английские и шотландские предшественники, они не могли, для

об'яснения того, откуда в человеке является понятие о добре и зле, вставлять, как выражается Гете, „словечко там, где не хватает идеи“. Они изучали этот вопрос и — так же, как сделал Гэтчесон в 1725 г. и позже Адам Смит в своем лучшем произведении: „*Происхождение нравственных чувств*“, — нашли, что нравственные понятия в человеке развились из чувства сожаления и симпатии, которое мы чувствуем по отношению к тому кто страдает, причем они происходят от способности, которой мы одарены, отождествлять себя с другими, настолько, что мы чувствуем почти физическую боль, если в нашем присутствии бьют ребенка; и мы возмущаемся этим.

Исходя из такого рода наблюдений и всем известных фактов, энциклопедисты приходили к самым широким обобщениям. Таким образом они действительно *об'ясняли* нравственное понятие, являющееся сложным явлением, более простыми фактами. Но они не подставляли, вместо известных и *понятных фактов непонятные*, туманные *слова*, ничего не об'яснявшие, вроде „категорического императива“ или „всеобщего закона“.

Преимущество метода, принятого *энциклопедистами*, очевидно. Вместо „вдохновения свыше“, вместо неестественного и сверхестественного об'яснения нравственных чувств, они говорили человеку: „вот чувство жалости, симпатии, имевшееся у человека всегда, со времени его появления на свет, использованное им в его первых наблюдениях над себе подобными, и постепенно усовершенствованное, благодаря опыту общественной жизни. Из этого чувства происходят у нас наши нравственные понятия“.

Таким образом мы видим, что мыслители XVIII века не меняли своего метода, переходя от мира звезд к миру химических реакций, или же от физического и химического мира к жизни растений и животных, или к развитию экономических и политических форм общества, к эволюции религий и т. п. Метод оставался всегда тот же самый. Во всех отраслях науки они прилагали всегда индуктивный метод. И так как ни в изучении религий, ни в анализе нравственных понятий, ни в анализе мышления вообще они не встречали ни одного пункта, где бы этот метод оказался недостаточным, и где был бы приложим другой метод, и так как нигде они не видели себя принужденными прибегать ни к метафизическим понятиям (Бог, безсмертная душа, жизненная сила, категорический императив, внушенный высшим существом и т. п.), ни к диалектическому методу, то они стремились *об'яснять вселенную и все явления мира при помощи того же естественно-научного метода*.

Втечение этих лет замечательного умственного развития энциклопедисты составили свою монументальную *Энциклопедию;*

Лаплас опубликовал свою „*Систему Мира*“ и Гольбах — „*Систему Природы*“; Лавуазье утверждал неуничтожаемость материи и следовательно энергии, движения. Ломоносов в России, вдохновленный вероятно Бейлем, набрасывал уже в это время механическую теорию теплоты; Ламарк об‘яснял появление безконечного разнообразия видов растений и животных при помощи их приспособления к различной среде; Дидро давал об‘яснения нравственности, обычаев, первобытных учреждений и религий, не прибегая ни к каким внушениям свыше; Руссо старался об‘яснить зарождение политических учреждений путем общественного договора, — то есть акта человеческой воли. Словом, не было ни одной области, изучение которой не было бы начато на почве фактов, при помощи того же естественно-научного метода индукции и дедукции, проверенного наблюдением фактов и опытом.

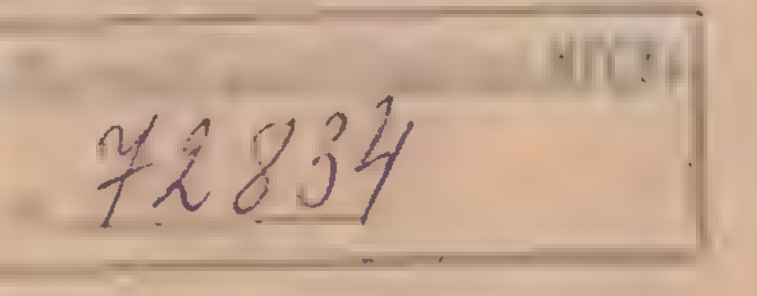
Конечно, были сделаны ошибки в этой огромной и смелой попытке. Там, где в то время не хватало знаний, высказывались предположения, иногда поспешные, а иногда совершенно ошибочные. *Но новый метод был приложен к разрешению всех отраслей знания*, и благодаря ему, самые ошибки впоследствии были легко открыты и исправлены. Таким образом 19-й век получил в наследство могучее орудие исследования, которое дало нам возможность построить наше миросозерцание на научных началах и освободить его, наконец, от затемнявших его предразсудков и от туманных, ничего не говоривших слов, которые были введены, благодаря дурной привычке отделываться таким образом от трудных вопросов.

III.

РЕАКЦИЯ В НАЧАЛЕ 19-го ВЕКА.

Застой научной мысли. — Пробуждение социализма; его влияние на развитие науки. — Пятидесятые годы.

После поражения великой французской революции Европа, как известно, пережила период всеобщей реакции: в области политики, науки и философии. Белый террор Бурбонов, Священный Союз, заключенный в 1815 году между монархами Австрии, Пруссии и России для борьбы против либеральных идей, мистицизм и „набожность“ высшего европейского общества и государственная полиция повсюду торжествовали по всей линии.



Однако, основные принципы революции не должны были погибнуть. Освобождение крестьян и городских рабочих, вышедших из полурабского состояния, в котором они до тех пор пребывали, равенство перед законом и представительное правление, — эти три принципа, провозглашенные революцией и разнесенные революционными армиями по всей Европе вплоть до Польши, пролагали себе путь в Европе, как во Франции. После *революции*, провозгласившей великие принципы свободы, равенства и братства, началась медленная *эволюция*, то есть медленное преобразование учреждений: приложение в повседневной жизни общих принципов, провозглашенных в 1789 — 1793 г.г. Заметим кстати, что такое осуществление эволюциею начал, выставленных предыдущей революционной бурей, может быть признано, как общий закон общественного развития.

Хотя церковь, государство и даже наука начали топтать в грязь то знамя, на котором революция начертала свой клич: „Свобода, Равенство и Братство", и хотя приспособление к существующему стало тогда всеобщим лозунгом, даже в философии,— тем не менее великие принципы свободы проникали всюду в жизнь. Правда, крепостные обязательства крестьян, также как и инквизиция, уничтоженные революционными армиями в Италии и Испании, были восстановлены. Но им был уже нанесен смертельный удар, от которого они никогда не оправились.

Волна освобождения дошла сначала до западной Германии, потом она докатилась до Пруссии и Австрии и распространилась по полуостровам — Испании, Италии и Греции; идя на восток, она достигла в 1861 г. до России и в 1878 г. до Балкан. Рабство исчезло в Америке в 1863 году. В то же время идеи равенства всех перед законом и представительного правления распространились также с запада на восток, и к концу столетия одна только Россия и Турция оставались еще под игом самодержавия, — впрочем уже весьма ослабевшего[1]).

Более того, —на рубеже двух столетий, 18-го и 19-го, мы встречаем уже громко провозглашенные идеи экономического освобождения. Сейчас же после низложения королевской власти населением Парижа 10 Августа 1792 года, и в особенности после свержения Жирондистов 2 Июня 1793 года мы видим в Париже и по всей стране под'ем коммунистических настроений; революционные „секции" больших городов и многие муниципалитеты маленьких городов во Франции действуют в этом направлении.

Интеллигентные люди нации заявляли, что равенство должно перестать быть пустым словом;—оно должно претвориться *в факты*. А так как тяжесть войны, которую революция должна была

---

[1] См. в моей книге, „Великая Французская Революция" главу „Заключение".

[illegible] „королей—заговорщиков“, падала прежде всего на [illegible] народ заставлял Комиссаров Конвента проводить [illegible]тические меры в смысле уравнения всех граждан.

[illegible] Конвент принужден был действовать в коммунистичес[illegible] направлении, и принял несколько мер, имевших целью [illegible]ние бедности“ и „уравнение состояний“. После того, [illegible] Жирондисты были изгнаны из правительства во время вос[illegible] 31 Мая — 2 Июня 1793 года, Конвент был даже принуж[illegible] провести законы, имевшие в виду национализацию, не только [illegible] но также и торговли, — по крайней мере, торговли предметами первой необходимости.

Это движение, очень глубокое, продолжалось вплоть до Июля 1794 года, когда буржуазная реакция Жирондистов, войдя в [illegible]шение с монархистами, взяла верх 9-го Термидора. Но не[illegible] на короткий срок, оно придало XIX веку свой явный отпе[illegible]—коммунистическое и социалистическое направление наиболее передовых элементов.

Пока движение 1793—94 гг. продолжалось, оно находило для [illegible] выражения народных ораторов. Но среди писателей того вре[illegible] не было во Франции никого, кто мог бы дать литератур[illegible] выражение этим идеям (которые называли тогда „дальше [illegible]“ и произвести длительное впечатление на умы.

И только в Англии, уже в 1793 году, выступил Годвин, опубли[illegible] свой поистине замечательный труд: „Исследование полити[illegible] справедливости и ее влияния на общественную нравствен[illegible]“ (Enquiry concerning Political Justice etc“), где он явился [illegible] теоретиком социализма без правительства, то-есть анар[illegible] а с другой стороны Бабеф, под влиянием повидимому Буонар[illegible] выступил в 1795 году во Франции в качестве первого теоре[illegible] централизованного социализма, т. е. государственного ком[illegible]изма, который почему то в Германии и России приписывают теперь Марксу.

Затем, разрабатывая принципы, уже намеченные таким обра[illegible] в конце 18-го века, появляются в 19-м веке, Фурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн,—три основателя современного социализма в его трех главных школах; а еще позднее, в 40-х годах, явился Пру[illegible] который, не зная работ Годвина, положил сызнова основы анархизма.

Научные основы социализма, как государственного, так и безгосударственного, были таким образом разработаны еще в начале XIX века с полнотою, к сожалению неизвестной нашим современникам. Современный же социализм, считающий свое суще[illegible]ствование со времени Интернационала, пошел дальше этих осно[illegible]вателей только в двух пунктах, — правда, очень важных: он

стал революционным, и он порвал с идеей о „Социалисте и революционере Христе“, которую любили выставлять до 1848 года.

Современный социализм понял, что для того, чтобы осуществить его идеалы, нужна социальная революция, — не в том смысле, в котором употребляют иногда слово „революция“, говоря о „революции промышленной“ или „революции в науках“, но в *точном*, ясном смысле этого слова, — в смысле всеобщей и немедленной перестройки самых основ общества. С другой стороны, современный социализм перестал смешивать свои воззрения с весьма неглубокими и сентиментальными реформами, о которых говорили некоторые христианские реформаторы. Но это последнее — это нужно помнить — уже было сделано Годвином, Фурье и Робертом Оуэном. Что же касается до администрации, централизации и культа власти и дисциплины, которыми человечество обязано особенно духовенству и римскому императорскому закону, то эти „пережитки“ темного прошлого, как их прекрасно охарактеризовал П. Л. Лавров, до сих пор еще удержались полностью среди многих социалистов, которые таким образом еще не достигли уровня своих французских и английских предшественников.

Было бы трудно говорить здесь о том влиянии, которое оказала на развитие наук реакция, господствовавшая после Великой Революции [1]. Достаточно будет сказать, что все, чем так гордится в настоящее время современная наука, было уже намечено, и часто более, чем намечено,—иногда высказано в точной научной форме, еще в конце восемнадцатого века. Механическая теория теплоты, неуничтожаемость движения (сохранение энергии), изменяемость видов под непосредственным влиянием окружающей среды, физиологическая психология, понимание истории, религий и законодательства, как естественных последствий жизни людей в тех или других условиях, законы развития мышления, — одним словом все естественно-научное миросозерцание, также как синтетическая философия (т. е. философия, охватывающая все физические, химические, жизненные и общественные явления, как одно целое) были уже намечены и отчасти разработаны в восемнадцатом веке.

Но с реакцией, воцарившейся после конца Великой Революции, втечение целого полустолетия началось течение, стремившееся подавить эти открытия. Ученые-реакционеры обзывали их „мало научными“. Под предлогом изучения сначала „фактов“ и собирания „научного материала“ ученые общества отвергали

[1]) Кое-что дано было в этом направлении в моей английской лекции: „О научном развитии в XIX веке“, которую я приготовляю к печати.

даже такие исследования, которые сводились к точным измерениям — как например определение Сэгеном-старшим (Séguin) и затем Джоулем (Joule) механического эквивалента теплоты (т. е. количества механического трения, необходимого для получения данного количества теплоты), „Королевское Общество“ в Англии, которое является Английской Академией Наук, отказалось даже напечатать труд Джоуля по этому вопросу, найдя его „не научным“. Что же касается замечательной работы Грова (Grove) о единстве всех физических сил, написанной им в 1843 году, то она была оставлена без внимания до 1856 года!

Только знакомясь с историей научного развития в первой половине девятнадцатого века, понимаешь ту густоту мрака, которая охватила Европу после поражения французской революции...

Завеса была порвана сразу, к концу 50-х годов, когда на Западе началось либеральное движение, которое привело к восстанию Гарибальди, освобождению Италии, уничтожению рабства в Америке, либеральным реформам в Англии и т. д. Тоже движение вызвало в России уничтожение крепостного права, кнута и шпицрутенов, опрокинуло в нашей философии авторитеты Шеллинга и Гегеля и дало начало смелому отрицанию умственного рабства и преклонения перед всякого рода авторитетами, известному под именем нигилизма.

Теперь, когда мы можем проследить историю умственного развития этих годов, для нас очевидно, что именно пропаганда республиканских и социалистических идей, которая велась в 30-х и 40-х годах, и революция 1848 года помогли науке разорвать душившие её узы.

Действительно, не вдаваясь в детали, здесь достаточно будет заметить, что Сэген, имя которого мы уже упомянули, Огюстен Тьерри (историк, который первый положил основы изучения вечевого строя коммун и идей федерализма в средних веках) и Сисмонди (историк свободных городов в Италии) были учениками Сен-Симона, одного из трех основателей социализма в первой половине XIX века. Альфред Р. Уоллес, пришедший одновременно с Дарвином к теории происхождения видов при помощи естественного подбора, был в юности убежденным последователем Роберта Оуэна; Огюст Конт был сен-симонист; Рикардо, также как Бентам, были оуэнисты; материалисты Карл Фохт и Д. Льюис, также, как Гров, Милль, Герберт Спенсер и многие другие, находились под влиянием радикально-социалистического движения в Англии 30-х и 40-х годов. В этом движении они почерпнули свое мужество для научных работ [1]).

---

[1]) Обо всех этих именах также, как и о следующих смотри об'яснительные заметки в конце книги.

Появление, на коротком протяжении пяти или шести лет, с 1856 г. по 1862 г., работ Грова, Джоуля, Бертело, Гельмгольца и Менделеева в физических науках; Дарвина, Клода Бернара, Спенсера, Молешотта и Фохта в науках естественных; Ляйеля о происхождении человека; Бэна и Милля в науках политических; и Бюрнуфа в происхождении религий,—одновременное появление всех этих работ произвело полную революцию в основных воззрениях ученых того времени — наука сразу рванулась вперед на новый путь. Целые отрасли знания были созданы с поразительной быстротой.

Наука о жизни (биология), о человеческих учреждениях (антропология и этнология), о разуме, воле и чувствах (физическая психология) история права и религий и т. д. образовались на наших глазах, поражая ум смелостью своих обобщений и революционным характером своих выводов. То, что в прошлом веке было только неопределенными предположениями, часто даже догадкой, явилось теперь доказанным на весах и под микроскопом, и проверенным тысячью наблюдений и в приложениях на практике. Самая манера писать совершенно изменилась, и ученые, которых мы только что назвали, все вернулись к простоте, точности и красоте стиля, которые так характерны для индуктивного метода, и которыми обладали в такой степени те из писателей восемнадцатого века, которые порвали с метафизикой.

Предсказать, по какому направлению пойдет в будущем наука, конечно, невозможно. Пока ученые будут зависеть от богатых людей и от правительств, их наука будет неизбежно носить известный отпечаток, и они смогут всегда задерживать развитие знаний, как они это сделали в первой половине девятнадцетого века. Но одно ясно. Это то, что в науке, как она складывается теперь, нет более надобности ни в гипотезе, без которой мог обойтись Лаплас, ни в метафизических „словечках“, над которыми смеялся Гете. Мы можем уже читать книгу природы, понимая под этим развитие органической жизни и человечества, не прибегая ни к творцу, ни к мистической „жизненной силе“, ни к бессмертной душе, ни к Гегелевской трилогии, и не скрывая нашего незнания под какими либо метафизическими символами, которым мы сами приписали реальное существование. *Механические* явления,—становясь все более и более сложными по мере того, как мы переходим от физики к явлениям жизни, но оставаясь всегда теми же механическими явлениями — достаточны нам для об‘яснения всей природы и жизни органической, умственной и общественной.

Без сомнения, остается еще много неизвестного, темного и непонятного в мире; без сомнения всегда будут открываться новые пробелы в нашем знании, по мере того, как прежние про-

белы будут заполняться. Но мы не видим области, в которой нам будет невозможно найти об‘яснения явлениям при помощи тех же простейших физических фактов, наблюдаемых нами вокруг, как например при столкновении двух шаров на биллиарде или при падении камня, или при химических реакциях. Этих *механических* фактов нам пока достаточно для об‘яснения всей жизни природы. Нигде они нам не изменили, и мы не видим даже возможности открыть такую область, где механические факты будут недостаточны. И пока, до сих пор, ничто не позволяет нам даже подозревать существование такой области.

IV.

ПОЗИТИВНАЯ, т. е. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНТА

Попытка Огюста Конта построить синтетическую философию. — Причины неполной его удачи: религиозное об‘единение нравственности в человеке.

Очевидно, что, как только наука начала достигать таких результатов, должна была быть сделана попытка построения *синтетической философии*, которая охватывала бы все эти результаты. Были естественны попытки построить философию, которая являлась бы *систематической*, *об‘единенной*, *обоснованной сводкой всего нашего знания*, при чем эта философия не должна была больше останавливаться на плодах нашего воображения, которыми философы угощали когда-то наших отцов и дедов, вроде различных „сущностей“ „мировых идей“, „назначения жизни“ и тому подобных символических выражений; не должна была она также прибегать и к *антропоморфизму*, т. е. придавать природе и физическим силам человеческие свойства и намерения. Поднимаясь постепенно от простого к сложному, эта философия должна была бы изложить основные начала жизни вселенной и дать ключ к пониманию природы во всем ее целом. Этим она дала бы нам могучее орудие исследования, которое помогло бы открыть новые отношения между различными явлениями, т. е. новые законы природы, и внушило бы нам в тоже время уверенность в справедливости наших заключений, как бы они ни противоречили установившимся ходячим воззрениям.

Много попыток подобного рода было действительно сделано в девятнадцетом веке, и попытки Огюста Конта и Герберта Спенсера заслуживают особенно нашего внимания.

Необходимость синтетической философии была, правда, понята даже в восемнадцатом веке энциклопедистами, в их „Энциклопедии“, Вольтером в его превосходном „Философском Словаре“, который до сих пор остается монументальным трудом, а также экономистом Тюрго и позднее, в еще более ясной форме Сен-Симоном. Но в первой половине девятнадцатого века Огюст Конт предпринял тот же труд в строго научной форме, отвечающей последнему прогрессу естественных наук.

Известно, что, насколько дело касается математики и точных наук вообще, Конт выполнил свою задачу замечательным образом. Всеми также признается, что он был вполне прав, введя науку о жизни (биологию) и науку о человеческих обществах (социологию) в круг наук положительных. Наконец, известно, какое громадное влияние позитивная философия Конта имела на большинство мыслителей и ученых второй половины девятнадцатого века.

Но почему,—спрашивают себя поклонники великого философа,—почему Конт оказался так слаб, когда он принялся в своей *„Позитивной Политике“* за изучение современных учреждений и в особенности за изучение этики, т. е. науки о нравственных понятиях?

Каким образом такой широкий позитивный ум мог дойти до того, чтобы сделаться основателем *религии и культа*, как это сделал Конт в конце своей жизни?

Многие из его учеников стараются примирить эту религию и этот культ с его предидущими работами и утверждают, против всякой очевидности, что философ следовал одному и тому же методу в обеих своих работах: „Позитивной Философии“ и „Позитивной Политике.“ Но два столь выдающихся позитивистских философа, как Дж. С. Милль и Литтрэ сходятся на том, что они не признают „Позитивной Политики“ частью философии Конта. Они не видят в ней ничего другого, как продукт ослабевшего уже ума.

И однако противоречие, существующее между обоими произведениями Конта—„Философией“ и „Политикой“, в высшей степени характерно и бросает яркий свет на самые важные вопросы нашего времени.

Когда Конт кончил свой „Курс Позитивной Философии,“ он должен был, конечно, заметить, что его философия не коснулась еще самого главного,—происхождения нравственного чувства в человеке и влияния этого чувства на человеческую жизнь и общество. Он должен был, конечно, показать, откуда явилось это чувство в человеке и об'яснить его влиянием тех же причин, которыми он об'яснял жизнь вообще. Он должен был показать, поче-

что человек чувствует потребность повиноваться этому чувству, или по крайней мере считаться с ним.

В высшей степени замечательно, что Конт был на правильной дороге,—по той же дороге шел впоследствии Дарвин, когда этот великий английский натуралист пытался об'яснить в своем труде: „Происхождение Человека“—происхождение нравственного чувства. Действительно, Конт написал в „Позитивной Политике“ много замечательных страниц, показывающих общение и взаимопомощь у животных, и этическая важность этого явления не ускользнула от его внимания [1]).

Но, чтобы извлечь из этих фактов надлежащие *позитивные* заключения, знания по биологии в то время были еще недостаточны, и Конту не хватало смелости. Тогда он отвергнул *Бога*, божество позитивных религий, которому человек должен был поклоняться и молиться, чтобы быть нравственным, и на его место поставил *Человечество* с прописной буквой. Перед этим новым идолом он нам велел поклоняться и обращать к нему наши молитвы, чтобы развить в нас нравственное чувство.

Но раз этот шаг был сделан, раз было признано необходимым поклоняться чему-то, стоящему вне и выше личности, чтобы удержать зверя в человеке на пути добродетели, то все остальное вытекло само собою. Даже обрядность религии Конта сложилась вполне естественно по образцу старых религий, пришедших с востока.

В самом деле Конт был приведен к этому невольно, раз он не признал, что нравственное чувство в человеке, так же, как общительность и даже само общество, были явлениями *до-человеческого происхождения*; раз он не усмотрел в этом дальнейшего развития той же общительности, которая наблюдается у животных и которая укрепилась в человеке, благодаря его наблюдению природы и жизни человеческих обществ.

Конт не понял, что нравственное чувство человека зависит от *его природы*, в той же степени, как и его физический организм: что и то, и другое являются наследством от весьма долгого процесса развития, эволюции, которая длилась десятки тысяч лет. Конт прекрасно заметил чувства общительности и взаимной симпатии у животных; но, находясь под влиянием крупного зоолога, Кювье, который в то время считался высшим авто-

1) Я не принял во внимание этих мест Конта, когда писал настоящую работу для первого издания. Я обязан одному другу-позитивисту из Бразилии — тем, что он обратил на это мое внимание и в то же время прислал мне прекрасное издание „Позитивной Политики“ Конта. Пользуюсь случаем выразить ему за это мою самую глубокую благодарность. В этом произведении Конта, также, как и в его „Позитивной Философии“, есть много страниц, написанных гениально. И перечитывать его при свете всех знаний, накопленных в жизни, — по приглашению друга — было большим наслаждением.

ритетом, он не признал того, на что Бюффон и Ламарк уже пролили свет — именно *изменяемость видов*. Он не признал эволюции, переходящей от животного к человеку. Поэтому он не видел того, что понял Дарвин, — что нравственное чувство человека есть ничто иное, как развитие инстинктов, привычек взаимопомощи, существовавших во всех животных обществах задолго до появления на земле первых человеко-подобных существ.

В результате, Конт не видел, как мы это видим теперь, что, каковы бы ни были безнравственные поступки отдельных личностей, нравственное начало необходимо будет жить в человечестве, как инстинкт, — пока род человеческий не начнет склоняться к упадку; что поступки, противные происходящему отсюда нравственному чувству, должны *неизбежно* вызывать реакцию со стороны других людей, — точно так же, как механическое действие вызывает реакцию в физическом мире. И он не заметил, что в этой способности реагировать на противообщественные поступки отдельных лиц коренится *естественная* сила, которая неизбежно поддерживает нравственное чувство и привычки общительности в человеческих обществах, — точно так же, как она поддерживает их в животных обществах без всякого вмешательства извне; причем эта сила бесконечно более могуча, чем повеления какой бы то ни было религии, или каких бы то ни было законодателей. Но раз Конт этого не признал, он должен был невольно изобрести новое божество — Человечество и новый культ, новое поклонение, для того, чтобы эта религия приводила человека на путь нравственной жизни.

Как Сен-Симон, как Фурье, он таким образом заплатил также дань своему христианскому воспитанию. Если не допустить борьбу между началом Зла и началом Добра, которые по силе равны друг другу; и если не допускать, что человек обращается к представителю начала Добра, чтобы укрепить себя в борьбе против представителя Зла, то без *этого христианство не может существовать*. И Конт, проникнутый этой христианской идеей, вернулся к ней, как только он встретился на своем пути с вопросом о нравственности и о средствах укрепления нравственного в наших чувствах и понятиях. Поклонение человечеству должно было служить ему орудием для избавления человека от губительного влияния Зла.

V.

ПРОБУЖДЕНИЕ В 1856—1862 ГОДАХ.

Развитие точных наук в 1856—62 годах. — Выработка механического миросозерцания, охватывающего также развитие человеческих понятий и учреждений.

Если Огюсту Конту не удались его исследования человеческих учреждений,—и в особенности нравственных понятий,—то не следует забывать, что он написал свою „Философию“ и „Политику“ задолго до упомянутых уже нами 1856—1862 годов, которые так внезапно расширили горизонт науки и подняли уровень миросозерцания каждого образованного человека.

Появившиеся за эти пять-шесть лет работы в различных отраслях науки произвели такой полный переворот в наших взглядах на природу, на жизнь вообще и в частности на жизнь человеческих обществ, что подобную ей нельзя найти во всей истории наук за время свыше 20 столетий.

То, что энциклопедисты только предвидели, или скорее предчувствовали, то, что лучшие умы XIX столетия выясняли с таким трудом до тех пор,—выявилось теперь внезапно во всеоружии знания. И все это было разработано так полно и так всесторонне, благодаря индуктивно-дедуктивному методу естественных наук, что всякий другой метод исследования сразу оказался несовершенным, ложным и бесполезным.

Остановимся однако на одно мгновенье на результатах, достигнутых наукой за это время, чтобы быть в состоянии лучше оценить последующую попытку построения синтетической философии, сделанную Гербертом Спенсером.

Втечение этих шести лет Гров, Клаузиус, Гельмгольц, Джоуль и целый ряд физиков и астрономов (включая сюда Кирхгофа, который, благодаря своему открытию химического спектрального анализа, дал нам возможность узнать химический состав звезд, то есть самых отдаленных от нас солнц), совершенно разбили те рамки, которые не позволяли ученым втечение более половины 19-го века пускаться в смелые и широкие обобщения в области физики. Втечение нескольких лет они доказали и установили *единство природы во всем неорганическом мире*. С тех пор говорить о каких-то таинственных „жидкостях“,—теплородных, магнетических, электрических или других, к которым физики прибегали раньше для об‘яснения различных физических сил, стало совершенно невозможным.

Было доказано, что механические движения частиц,—вроде тех движений, которые дают нам волны в морях, или которые

мы открываем в дрожании колокола или металлической пластинки, вполне достаточны для об'яснения всех физических явлений: теплоты, света, звука, электричества, магнетизма.

Более того. Мы научились *измерять* эти невидимые движения, эти дрожания частиц — взвешивать, так сказать, их энергию — таким же образом, как мы измеряем энергию падающего камня или двигающегося поезда. Физика, таким образом, стала отраслью механики.

Кроме того, втечение все тех же нескольких лет было доказано, что в самых отдаленных от нас небесных телах, включая безчисленные солнца, которые мы видим в неизмеримом количестве в млечном пути, наблюдаются абсолютно те же простые химические тела или элементы, которые известны нам на нашей земле, и что абсолютно те же дрожания частиц происходят там, с теми же физическими и химическими результатами, что и на нашей планете. Даже массовые движения небесных тел—звезд, несущихся в пространстве по закону всемирного тяготения, являются по всему вероятию ничем иным, как результатом всех этих колебаний, передающихся на биллионы и триллионы верст в междузвездном пространстве вселенной.

Те же тепловые и электрические колебания достаточны для об'яснения химических явлений. Химия—есть лишь глава молекулярной механики. И даже жизнь растений и животных, во всех ее безчисленных проявлениях, есть ничто иное, как обмен частиц, или скорее атомов, во всем этом обширном ряду очень сложных и поэтому очень неустойчивых химических тел, из которых слагаются живые ткани всех живых существ. Жизнь есть ничто иное, как ряд химических разложений и вновь возникающих соединений из очень сложных молекул,—ряд „брожений", возникающих под влиянием ферментов (бродил) химических, неорганических.

Кроме того, в то же время было понято, а втечение 1890—1900 годов признано и доказано, как жизнь клеточек нервной системы и способность их передавать каждое раздражение от одной к другой дают *механическое* об'яснение передачи раздражения в растениях и в нервной жизни животных. В результате этих исследований мы можем теперь, не выходя из области чисто физических наблюдений, понять, как образы и вообще впечатления запечатливаются в нашем мозгу, как они действуют одно на другое, и как от них происходят понятия, идеи.

Мы также можем теперь понять „ассоциацию идей — то есть, каким образом каждое впечатление вызывает накопленные раньше впечатления. Мы схватываем, следовательно, самый механизм мышления.

Конечно, мы остаемся еще безконечно далеко от открытия

„всего“ в этом направлении; мы сделали только первые шаги, и нам остается открывать безконечно многое. Наука, едва освободившаяся от душившей ее метафизики, только приступает к исследованию этой громадной области – физической психологии. Но солидная база уже заложена для дальнейших исследований. Старое деление на две совершенно отдельные области, которые пытался установить немецкий философ Кант: — область явлений, которую мы исследуем, по его словам, „во времени и пространстве“ (физическая область), и другая, которая может быть исследована только „во времени“ (область явлений духа) — это деление ныне отпадает. И на вопрос, который однажды был поставлен русским профессором материалистом Сеченовым; „куда отнести и как изучать психологию?“, ответ уже дан: — „к физиологии, физиологическим методом“. В самом деле новейшие изследования физиологов уже пролили более света относительно механизма мышления, происхождения впечатлений, их закрепления в памяти и передачи, чем все изящные рассуждения, которые подносили нам до сих пор метафизики.

Таким образом даже в этой крепости, которая принадлежала без всяких споров метафизике, она теперь побеждена. Область психологии захвачена естественными науками и материалистической философией, которые двигают наши знания относительно механизма мышления в этой области с невиданной дотоле быстротой.

Однако, среди работ, которые появились в продолжение этих последних пяти - шести лет, есть одна, затмившая собой все остальные. Это книга Чарльза Дарвина: *„Происхождение видов“*.

Уже в прошлом столетии Бюффон, и на рубеже двух столетий Ламарк решились утверждать, что различные виды растений и животных, которые мы встречаем на земле, не представляют собою неподвижных форм: они изменчивы и постоянно изменяются под влиянием среды. Разве самое семейное сходство, наблюдаемое нами между различными видами, принадлежащими к той или иной группе, не доказывает, говорили они, что эти виды происходят от общих предков? Так, различные виды лютиков, которые мы находим в наших лугах и в болотах, должны быть потомками одного вида общих предков, — потомками, которые видоизменились в зависимости от изменений и приспособлений, которым они подвергались в различных условиях существования. Точно также теперешние породы волка, собаки, шакала, лисицы не существовали раньше; но вместо них существовала порода животных, которая втечение столетий постепенно дала происхождение волкам и собакам, шакалам и лисицам. Относительно лошади, осла, зебры, и т. п. уже доподлинно известно, что у них

существовал общий предок, скелет которого открыт в древних геологических пластах.

Но в восемнадцатом веке рискованно было высказывать такие ереси. За гораздо меньшее, чем это, Бюффону даже угрожало преследование пред церковным трибуналом, и он был принужден напечатать в своей „Естественной Истории“ отречение от своих слов. Церковь, в это время, была еще очень сильна, и натуралисту, осмеливавшемуся поддерживать такие неприятные для епископов ереси, грозила тюрьма, пытка или сумасшедший дом. Вот почему „еретики“ высказывались тогда очень осторожно.

Но теперь, после революций 1848 года, Дарвин и Уоллес осмелились утверждать ту же ересь, а Дарвин даже имел мужество прибавить, что человек также развивался путем медленной физиологической эволюции; что он произошел от породы обезьяно-подобных животных; что „бессмертный дух“ и „нравственная душа“ человека развивалась тем же путем, как ум и общественные привычки у обезьяны, или у муравья.

Известно, какие громы были обрушены тогда стариками на голову Дарвина и в особенности на голову его смелого, ученого и интеллигентного апостола Гексли за то, что он резко подчеркивал те из заключений дарвинизма, которые более всего приводили в ужас духовенство всех религий.

Борьба была жестокая, но дарвинисты вышли и победителями. И с тех пор перед нашими глазами выросла совершенно новая наука, биология, — *наука о жизни* во всех ее проявлениях.

Работа Дарвина дала в то же время новый метод исследования для понимания явлений всякого рода: в жизни физической материи, в жизни организмов и в жизни обществ. Идея „*непрерывного развития*“, то есть *эволюции* и постепенного приспособления особей и обществ к новым условиям, по мере того, как изменяются эти условия, — эта мысль нашла себе гораздо более широкое приложение, чем одно об‘яснение происхождения новых видов, Когда она была введена в изучение природы вообще, а также людей, их способностей и их общественных учреждений, она открыла новые горизонты и дала возможность об‘яснять самые непонятные факты в области всех отраслей знания. Основываясь на этом начале, столь богатом последствиями, возможно было перестроить не только историю организмов, но также историю человеческих учреждений.

В руках Спенсера биология показала нам, как все виды растений и животных, обитающих на земном шаре, могли развиваться, происходя от нескольких простейших организмов, населявших землю в начале; и Геккель мог начертить правдоподоб-

ный набросок родословного дерева различных видов животных, включая самого человека. Это было уже огромно. Но стало также возможно заложить некоторые первые научные основания для истории нравов, обычаев, верований и человеческих учреждений,— чего совершенно не хватало восемьнадцатому веку и Огюсту Конту. Эту историю мы можем писать теперь, не прибегая к метафизическим формулам Гегеля, и не останавливаясь ни на „врожденных идеях“, ни на „субстанциях“ Канта, ни на вдохновении свыше. Вообще, мы можем проследить ее, не имея нужды в формулах, которые убивали дух исследования, и за которыми, как за облаками, скрывалось всегда все тоже невежество, тоже старое суеверие, таже слепая вера.

Благодаря, с одной стороны, трудам натуралистов, и с другой стороны работе Генри Мэна и его последователей, в том числе М. М. Ковалевского, которые приложили тот же индуктивный метод к изучению первобытных учреждений и вытекавших из них законов, история развития человеческих учреждений могла быть поставлена, втечение этих последних пятидесяти лет, на столь же твердое основание, как и история развития любого вида растений или животных.

Без сомнения было бы несправедливо забывать о работе, проделанной уже в 30-ых годах девятнадцатого столетия школой Огюстена Тьерри во Франции и школой Маурера и „германистов“ в Германии, продолжателями которых в России были Костомаров, Беляев и многие другие. Метод эволюции прилагался, конечно, уже раньше, со времени энциклопедистов, к изучению нравов и учреждений, а также языков. Но получить правильные *научные* результаты стало возможно лишь после того, как научились смотреть на собранные исторические факты так же, как натуралист смотрит на постепенное развитие органов растения или нового вида.

Метафизические формулы помогали, конечно, в свое время делать некоторые приблизительные обобщения. Они будили сонную мысль, они волновали ее своим неопределенными намеками на единство и вечную жизнь природы. В эпоху реакции, подобной той, которая царила в первые десятилетия 19-го века, когда индуктивные обобщения энциклопедистов и их английских и шотландских предшественников стали забываться, особенно в эпоху, когда требовалось нравственное мужество, чтобы осмелиться говорить перед лицом торжествующего мистицизма о единстве физической и „духовной“ природы (а этого мужества не хватало философам), туманная метафизика немцев без сомненья поддерживала вкус к обобщениям.

Но обобщения того времени, установленные либо диалекти-

ческим методом, либо полу-сознательною индукциею, отличались поэтому отчаянною неопределенностью. Первые из них основывались, в сущности, на весьма наивных умозаключениях, подобно тому, как некоторые греки древности доказывали, что планеты должны двигаться в пространстве по кругам, так как круг — самая совершенная кривая. Только наивность этих утверждений и отсутствие доказательств прикрывались неопределенными рассуждениями, туманными словами, а также неясным и до смешного тяжелым стилем. Что же касается до обобщений, вытекавших из полусознательной индукции, то они всегда основывались на крайне ограниченном количестве наблюдений, — как например, весьма широкие и мало обоснованые обобщения Вейсмана, которые недавно наделали столько шума. Так как индукция была в этом случае несознательная, то ценность ее догадочных заключений легко преувеличивалась и их выставляли, как бесспорные *законы*, между тем как они в сущности были лишь предположениями, гипотезами, зачатками обобщений, которые нужно было еще подвергнуть элементарной проверке, сравнив полученные результаты с фактами, наблюдаемыми в действительности.

Наконец, все эти обобщения были выражены в столь отвлеченной и столь туманной форме, — как например, „тезис, антитезис и синтезис“ Гегеля, — что они давали полный произвол мыслителям, когда они желали вывести практические заключения. Таким образом из них можно было выводить (и это делалось на самом деле) и революционный дух Бакунина вместе с Дрезденской революцией, и революционный якобинизм Маркса и „разумность существующего“ Гегеля, которая привела многих к „примирению с действительностью“, то есть с самодержавием. Даже в наши дни достаточно вспомнить о многочисленных экономических ошибках, в которые на наших глазах впали недавно социалисты вследствие их пристрастной склонности к диалектическому методу и метафизике в экономической науке, к которым они прибегли, вместо того, чтобы обратиться к изучению реальных фактов экономической жизни народов.

VI.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СПЕНСЕРА.

Возможность новой синтетической философии. — Попытка Спенсера. — Почему она не вполне удалась. — Метод не выдержан. — Неверное понимание „борьбы за существование“.

С тех пор, как антропологию, — то есть физиологическое

развитие человека и историю его религий и его учреждений,— стали изучать таким же путем, как изучают и все другие естественные науки, стало, наконец, возможным, понять главные существенные черты истории человечества. Также стало возможно отделаться навсегда от метафизики, мешавшей изучению истории, как библейские предания мешали когда-то изучению геологии.

Казалось бы поэтому, что, когда Герберт Спенсер, в свою очередь, принялся за построение „Синтетической философии“ во второй половине девятнадцатого века, он мог бы сделать это, не впадая в ошибки, которые встречаешь в „Позитивной Политике“ Конта. И однако „Синтетическая философия“ Спенсера, представляя собой шаг вперед (в этой философии нет места для религии и религиозных обрядов), содержит еще в своей социологической части столь же крупные ошибки, как и работа Конта.

Дело в том, что, дойдя до психологии обществ, Спенсер не сумел остаться верным своему строго научному методу при изучении этой отрасли знания и не решился признать всех выводов, к которым его приводил этот метод. Так, например, Спенсер признавал, что земля не должна быть частною собственностью. Землевладелец, пользуясь своим правом повышать по своему усмотрению арендную плату за землю, может мешать тем, кто работает на земле, извлекать из нее все то, что они могли бы извлечь посредством усиленной обработки; или даже он может оставить землю без всякой обработки, ожидая того времени, когда цена за десятину его земли поднимется достаточно высоко, вследствие того только, что другие земледельцы будут трудиться вокруг на своей земле. Подобная система, — Спенсер поспешил признать это, — вредна для общества и полна опасностей. Но, признавая это зло относительно земли, он не решился сделать то же заключение относительно других накопленных богатств, — или даже относительно рудников и доков, не говоря уже о фабриках и заводах.

Или—также он поднял голос против вмешательства государства в жизнь общества и даже придал одной из своих книг заглавие, представлявшее целую революционную программу: „Личность против государства“. Но мало по малу, под предлогом сохранения *охранительной* деятельности государства, он кончил тем, что восстановил государство полностью, как оно есть теперь, поставив ему только несколько робких ограничений.

Можно об‘яснить без сомнения эти и другие противоречия того же рода тем, что Спенсер построил социологическую часть своей философии под влиянием английского радикального движения, гораздо раньше, чем он написал естественно-научную часть. Действительно, он напечатал свою „*Статику*“ в 1851 году, то есть в эпоху, когда антропологическое изучение человеческих

учреждений было еще в зародыше. Но во всяком случае результат был тот, что также как Конт, Спенсер не изучал человеческие учреждения самих по себе, без предвзятых идей, заимствованных из чуждой науке области. Кроме того, как только Спенсер дошел до философии общественной, он начал пользоваться новым, самым обманчивым методом, — именно методом сходств (аналогий), которым он, конечно, не пользовался при изучении физических фактов. Этот метод позволил ему оправдать целую массу предвзятых идей. В результате мы до сих пор не имеем еще настоящей синтетической философии, построенной по одному и тому же методу в обеих своих частях: естественно-научной и социологической.

Нужно сказать, что Спенсер был наименее подходящим человеком для изучения первобытных учреждений дикарей В этом отношении он даже преувеличивал обычную для большинства англичан ошибку — именно неспособность понимать нравы и обычаи других народов. „Мы—люди римского права, а ирландцы—люди обычного права; вот, почему мы не понимаем друг друга“, сказал мне однажды Джемс Ноульз, очень умный и очень проницательный англичанин. Но эта неспособность понимать другую цивилизацию становится еще более очевидной, когда дело идет о тех, кого англичане называют „нисшими расами“. Так было со Спенсером. Он был совершенно неспособен понять дикаря с его почитанием своего племени, „с его кровною местью“, которая считалась долгом у героев исландских саг, и он также был неспособен понять бурную, полную борьбы и гораздо более близкую нам жизнь средневековых городов. Понятия права, встречающиеся в эти эпохи, были совершенно чужды Спенсеру. Он видел в них только дикость, варварство, жестокость, и в этом отношении он делал решительно шаг назад по сравнению с Огюстом Контом, который понимал важную роль средних веков в прогрессивном развитии учреждений — идея с тех пор слишком забываемая во Франции.

Мало того, — и это была самая важная ошибка, — Спенсер, подобно Гексли и многим другим, понял идею „борьбы за существование“ совершенно неправильным образом. Он представлял ее себе не только, как борьбу между различными, видами животных (волки поедают зайцев, многие птицы питаются насекомыми и так далее), но и как ожесточенную борьбу за средства существования и место на земле *внутри каждого вида*, между особями одного и того же вида. Между тем, подобная борьба не существует, конечно, в тех размерах, в каких воображали ее себе Спенсер и другие дарвинисты.

Насколько сам Дарвин виноват в таком неправильном по-

понимании борьбы за существование, мы не будем разбирать здесь. [1]) Но достоверно, что, когда двенадцать лет спустя после появления „Происхождения Видов“, Дарвин напечатал „Происхождение Человека“, он понимал уже борьбу за существование в гораздо более широком и метафоричном смысле, чем как отчаянную борьбу внутри каждого вида. Так, в своем втором сочинении он писал, что „те животные виды, в которых наиболее развиты чувства взаимной симпатии и общественности, имеют более шансов сохранить свое существование и оставить после себя многочисленное потомство“. И он развивал даже ту идею, что социальный инстинкт у каждой особы более силен и более постоянен и активен, чем инстинкт самосохранения. А это уже совсем не то, что говорят нам некоторые „дарвинисты“.

Вообще, главы, посвященные Дарвином этому вопросу в „Происхождении Человека“, могли бы стать основанием для разработки чрезвычайно богатого выводами представления о природе и развитии человеческих обществ (Гете уже догадывался об этом на основании одного или двух фактов). Но эти главы прошли незамеченными. И только в 1879 году в речи русского зоолога Кесслера мы находим ясное понимание существующих в природе отношений между борьбой за существование и взаимной помощью. „Для *прогрессивного* развития вида“, сказал он приводя несколько примеров, „закон взаимной помощи имеет гораздо большее значение, чем закон взаимной борьбы“.

Год спустя, Ланессан выступил с своей лекцией: „Борьба за существование и ассоциация в борьбе“, и в тоже время Бюхнер напечатал свой труд: „Любовь“, в котором он показал важность *симпатии* между животными для развития первых нравственных понятий; но только, опираясь главным образом на семейную любовь и взаимное сочувствие он напрасно ограничил круг своих исследований.

Мне легко было доказать и развить, в 1890 году, в моей работе „Взаимная помощь“ идею Кесслера и распространить ее на человека, опираясь на точные наблюдения природы и на последние исследования по истории человеческих учреждений. Взаимная помощь действительно есть не только самое могучее орудие для каждого животного вида в его борьбе за существование против враждебных сил природы и других враждующих видов, но она есть также *главное орудие прогрессивного развития*. Даже самым слабым животным она дает долголетие (и следовательно

[1]) Смотри мою работу: „Взаимопомощь, как фактор эволюции“. Относительно того, как Дарвин пришел к перемене своих взглядов на этот вопрос и стал все более и более допускать *прямое воздействие среды* на развитие новых видов, смотри мои статьи о естественном подборе и прямом воздействии в журнал „Nineteenth Century“, июль, ноябрь и декабрь, 1910 года и март 1912 года.

накопление опыта), обеспечивает их потомство и умственное развитие. В результате, те животные виды, которые больше практикуют взаимопомощь, не только выживают лучше других, но они занимают первое место каждый во главе своего класса (насекомые, птицы, млекопитающие), благодаря превосходству своего физического строения и умственного развития.

Этого основного факта природы Спенсер не замечал. Борьбу за существование внутри каждого вида, борьбу отчаянную „клювом и когтями“ из-за каждого куска пищи он принял, как принцип, не требующий доказательств, как аксиому. Природа, „обагренная кровью гладиаторов“, как ее рисует английский поэт Теннисон,—таково было его представление животного мира. И только в 1890 году в статье в журнале: „Nineteenth Century“ он начал понимать до некоторой степени важность взаимной помощи (или скорее чувства симпатии) в животном мире, и начал собирать факты и производить наблюдения в этом направлении. Но до самой его смерти первобытный человек остался для него воображаемым диким зверем, который только и выжил благодаря тому, что рвал „зубами и когтями“ последний кусок у своего ближнего.

Очевидно, что усвоив в качестве основания для своих выводов такую ложную посылку, Спенсер не мог построить своей синтетической философии без того, чтобы не впасть в целый ряд ошибок и заблуждений.

VII.

О РОЛИ ЗАКОНА В ОБЩЕСТВЕ.

Ложное учение: „Мир во зле лежит“. — Государственное насаждение того же взгляда на „коренную испорченность человека“. — Взгляды современной науки. — Выработка форм общественной жизни „массами“ и закон. — Его двойственный характер.

Спенсер, впадая в эти ошибки, был однако не один. Верная Гоббсу вся философия девятнадцатого века продолжала рассматривать первобытных людей, как стадо диких зверей, которые жили отдельными маленькими семьями и дрались между собой из-за пищи и из-за своих жен до тех пор, пока не появилось благодетельное начальство, которое водворило среди них мир. Даже такой натуралист, как Гексли, продолжал повторять все тоже фантастическое утверждение Гоббса и заявил (в 1885 г.),

что вначале люди жили, борясь „каждый против всех“ до тех пор, пока, благодаря нескольким передовым людям эпохи, не было основано первое общество“ (См. его статью: „Борьба за существование — закон природы“[1]). Таким образом даже ученый дарвинист, как Гексли, не догадывался, что общество, вместо того, чтобы быть созданным человеком, существовало задолго до появления человека среди животных. Такова сила укоренившегося предрассудка.

Если проследить историю этого предрассудка, то легко можно заметить, что он черпает свое происхождение в религиях, в церквах. Тайные общества колдунов, вызывателей дождя, шаманов, а позднее ассирийских и египетских жрецов, а еще позднее христианских священников всегда стремились убедить людей, что „мир погряз в грехе“; что только благодетельное вмешательство шамана, колдуна, святого, или священника мешает силе зла овладеть человеком; что только они могут умолить злое божество, чтобы оно не насылало на человека всякие несчастия в наказание за его грехи.

Первобытное христианство несомненно стремилось ослабить этот предрассудок относительно священника; но христианская церковь, опираясь на слова самих евангелий о „вечном огне“, только усилила его. Самая идея о боге-сыне, пришедшем умереть на земле, чтобы *искупить* грехи мира, также подтверждала этот взгляд. Именно это-то и позволило впоследствии „святой инквизиции“ предавать свои жертвы самым жестоким пыткам и сжиганию на медленном огне, — этим она давала им возможность раскаяться, чтобы спастись от вечных мук на том свете. Кроме того, не одна католическая церковь действовала таким образом: все христианские церкви, верные тому же принципу, соперничали между собой в изобретении новых мук или ужасов, чтобы исправить людей, погрязших в „пороке“. До сих пор 999 человек из тысячи еще верят, что разные естественные невзгоды — засухи, землетрясения, и заразные болезни, — посылаются свыше гневным божеством, чтобы привести грешное человечество на стезю добродетели.

В то же время государство, в своих школах и своих университетах поддерживало — и продолжает поддерживать ту же веру в естественную испорченность человека. Доказать необходимость какой-то силы находящейся выше общества и работающей над тем, чтобы вдохнуть нравственный элемент в общество посредством наказаний, налагаемых за нарушение „нравственного закона“ который посредством ловкой передержки отождествляется с пи-

[1] „Nineteenth Century“ 1885 г.; перепечатано в „Essays and Addresses“, — т. е. „Очерки и Лекции“.

санным законом); убедить людей, что эта власть необходима, — все это вопрос жизни или смерти для государства. Потому что, если люди начнут сомневаться в необходимости насаждения нравственных начал силою власти, они скоро потеряют веру в высокую миссию своих правителей.

Таким образом все наше воспитание — религиозное, историческое, юридическое и социальное проникнуто мыслю, что человек, предоставленный самому себе, становится диким зверем. При отсутствии власти люди грызлись бы между собой; от „толпы" нельзя ожидать ничего другого, кроме животности и войны каждого против всех. Эта человеческая толпа погибла бы, если бы над ней не были избранники, — священник, законодатель и судья с своими помощниками: полицейским и палачом. Именно они не допускают всеобщей драки всех против всех; это именно они воспитывают людей в уважении к закону, учат их дисциплине и ведут их твердой рукой к тем грядущим дням, когда лучшие понятия созреют в „ожесточенных сердцах" людей и сделают кнут, тюрьму и виселицу менее необходимыми, чем теперь.

Мы смеемся над тем королем, который, уезжая в изгнание в 1848 году, говорил: „Бедные мой подданные! они погибнут без меня!" Мы потешаемся над английским купцом, который убежден, что его соотечественники происходят от потерявшегося колена Израилева, и что на основании этого судьба предназначила им дать хорошее правительство „нисшим расам".

Но разве не то же преувеличенное мнение о себе мы находим в любом другом народе у громадного большинства людей, которые учились „чему-нибудь и как-нибудь"?

Между тем *научное* изучение развития человеческих обществ и учреждений приводит нас к совершенно другим выводам. Оно нам показывает, что обычаи и приемы, созданные человечеством в целях взаимной помощи, защиты и мира вообще, были выработаны именно „толпой" без имени. И именно эти обычаи позволили человеку, как и существующим в наше время животным видам, выжить в борьбе за существование. Наука показывает нам, что так-называемые руководители, герои и законодатели человества ничего не внесли втечение истории кроме того, что было уже выработано в обществе обычным правом. Лучшие среди них только дали форму и санкцию этим учреждениям. Но очень многие из этих мнимых благодетелей человечества стремились все время, либо уничтожить те из учреждений обычного нрава, которые мешали образованию личной власти, либо преобразовать их в своих личных интересах или в интересах своей касты.

Уже в самой глубокой древности, теряющейся во мраке Лед-

родового периода, люди жили обществами. И в этих обществах был выработан целый ряд свято соблюдавшихся обычаев и учреждений, чтобы сделать возможной жизнь сообща. Позднее, втечение дальнейшего развития человечества, та же творческая сила безымянной толпы всегда помогала вырабатывать новые формы общественной жизни, взаимной помощи и охраны мира, по мере того, как создавались новые условия.

С другой стороны, современная наука показывает с полной очевидностью, что всякий закон каково бы ни было его предполагаемое происхождение,—говорят-ли нам, что он исходит от бога или от мудрого законодателя, — никогда не делал ничего иного, как только закреплял, кристаллизовывал в постоянную форму, или распространял обычаи, уже существовавшие раньше. Все своды законов древности были только собранием обычаев и преданий, записанных или нацарапанных на камне, чтобы сохранить их для следующих поколений. Только, делая это, свод законов прибавлял всегда к обычаям, уже принятым всеми, несколько новых правил, сделанных в интересах богатых, вооруженных и воинов,— и этими правилами закреплялись нарождавщиеся обычаи неравенства и порабощения, выгодные для меньшинства.

„Не убий“, гласил, например, закон Моисеев, „не укради, не лжесвидетельствуй“. Но к этим прекрасным правилам поведения он прибавлял также: „не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни осла его“, и этим самым узаконял надолго рабство и ставил женщину на один уровень с рабом или вьючным животным. „Люби ближнего твоего“, говорило позднее христианство и тут же спешило прибавить устами апостола Павла: „рабы да повинуются господам своим“ и „несть власти аще не от Бога“, — закрепляя таким образом, *обожествляя* разделение на господ и рабов, и освящая власть негодяев, царивших тогда в Риме.

Самые евангелия, проповедуя высшую идею прощения, которая является главною сутью христианства, говорят однако все время о боге-мстителе и проповедуют этим месть.

То же самое было в сводах законов так-называемых варваров, — Галлов, Лонгобардов, Германцев, Саксонцев, Славян, — после падения римской империи. Они узаконяли несомненно хороший обычай, распространившийся в это время: обычай платить *вознаграждение* за нанесение раны и убийство, вместо того, чтобы практиковать бывший раньше в ходу закон возмездия (око за око, зуб за зуб, рана за рану, смерть за смерть). Таким образом варварские законы представляли собой прогресс по сравнению с законом возмездия, господствовавшим в родовом быту. Но в то же время они установили также деление свободных людей на классы, которое в эту эпоху намечалось.

Такое-то вознаграждение, говорили эти своды законов, сле-

дует платить за раба (оно платилось его господину), такое-то за свободного человека, и такое-то за начальника, — в этом случае вознаграждение было так велико, что для убийцы обозначало рабство до самой смерти. Первоначальной мыслью этих различий было, без сомненья, то, что семья князя, убитого в драке, теряла в нем гораздо больше, чем семья простого свободного человека в случае смерти своего главы; поэтому она имела право по тогдашним взглядам на большее вознаграждение, чем последняя. Но, обращая этот обычай в *закон*, узаконялось этим навсегда деление людей на классы и узаконялось так прочно, что до сих пор мы не можем отделаться от этого.

То же самое мы встречаем в законодательствах всех времен, вплоть до наших дней: притеснение предыдущей эпохи всегда переносится посредством закона на последующие эпохи. Несправедливость персидской империи передалась Греции; несправедливость Македонии перешла к Риму; насилие и жестокость римской империи и восточных тиранний передались молодым зарождавшимся варварским государствам и христианской церкви. Так налагает прошедшее, посредством закона, свои цепи на будущее.

Все необходимые гарантии для жизни в обществах, все формы общественой жизни в родовом быту, в сельской общине и средневековом городе, все формы отношений между отдельными племенами и позднее между республиками - городами, послужившие впоследствие основанием для международного права,—одним словом, все формы взаимной поддержки и защиты мира, включая сюда суд присяжных, были созданы творческим гением безыменной народной толпы. — Между тем как все *законы*, от самых древних и до наших дней, состояли всегда из следующих двух элементов: первый утверждал и закреплял известные обычные формы жизни, признанные всеми полезными, а второй являлся приставкой — часто даже простой, но хитрой манерой выразить словами существующий уже обычай; но эта приставка всегда имела целью насадить или укрепить зарождающуюся власть господина, воина, царька и священника,—укрепить и освятить их власть, их авторитет.

Именно к этому нас приводит научное изучение развития обществ, — изучение, проделанное втечение последних сорока лет многими добросовестными учеными. Правда, очень часто ученые сами не осмеливались формулировать столь еретические заключения, как приведенные выше. Но вдумчивый читатель придет неизбежно к тому же, читая их работы.

VIII.

ПОЛОЖЕНИЕ УЧЕНИЯ ОБ АНАРХИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ.

Его стремление выработать синтетическое (об'емлющее) понимание всего мира. — Его цель.

Какое положение занимает анархия в великом умственном движении 19-го века?

Ответ на этот вопрос намечается уже тем, что было сказано в предыдущих главах. Анархия есть миросозерцание, основанное на *механическом* понимании явлений [1]), охватывающее всю природу, включая сюда и жизнь человеческих обществ. Ее метод исследования — метод естественных наук; этим методом должно быть проверено каждое научное положение. Ее тенденция — основать синтетическую философию, т. е. философию, которая охватывала бы все явления природы, — включая сюда и жизнь человеческих обществ и их экономические, политические и нравственные вопросы, — но не впадая однако в ошибки, сделанные Контом и Спенсером вследствие вышеуказанных причин.

Очевидно, что анархия поэтому необходимо должна дать на все вопросы, поставленные современной жизнью, другие ответы и занять иную позицию, чем все политические, а также, до известной степени, и социалистические партии, которые еще не отделались от старых метафизических верований.

Конечно, выработка полного механического понятия природы и человеческих обществ едва началась в его социологической части, изучающей жизнь и развитие обществ. Однако то немногое, что было сделано, носит уже — иногда впрочем бессознательно — характер, который мы только что указали. В философии права, в теории нравственности, в политической экономии и в изучении истории народов и учреждений анархисты уже доказали, что они не будут довольствоваться метафизическими заключениями, а будут искать естественно-научное обоснование для своих заключений.

Они отказываются подчиняться метафизике Гегеля, Шеллинга или Канта, считаться с комментаторами римского права и церковного права, с учеными профессорами государственного права и с политической экономией метафизиков, — и они стараются отдать себе ясный отчет во всех вопросах, поднятых в этих областях

1) Лучше было бы сказать *кинетическом*, так как этим выразилось бы [illegible] *движение* частиц вещества; но это выражение менее известно.

знания, основываясь на массе работ, сделанных втечение этих последних сорока или пятидесяти лет, с точки зрения натуралиста.

Подобно тому, как метафизические понятия о „Всемирном Духе“, „Созидательной Силе Природы“, „Любовном притяжении Материи“, „Воплощении Идеи“, „Цели природы и смысле ее существования“, о „Непознаваемом“, „Человечестве“, понимаемом в смысле существа, одухотворенного „Дуновением Духа“, и тому подобные понятия отброшены ныне философией материалистической (механической или скорее кинетической), а зачатки обобщений, скрывавшихся позади этих слов, переводятся на конкретный язык фактов, — так точно мы пробуем поступать, когда обращаемся к фактам общественной жизни.

Когда метафизики желают убедить натуралиста, что умственная и чувственная жизнь человека развивается согласно „имманентным законам Духа“, натуралист пожимает плечами и продолжает терпеливо заниматься своим изучением жизненных, умственных и чувственных явлений, чтобы доказать, что все они могут быть сведены к физическим и химическим явлениям. Он старается открыть их естественные законы.

Точно также, когда анархисту говорят, что согласно Гегелю всякая эволюция представляет собой „тезис, антитезис и синтезис“, или что „право имеет целью водворение справедливости, которая является материальным овеществлением высшей идеи“, или когда у него спрашивают, какова, по его мнению, „цель жизни“, анархист тоже пожимает плечами и спрашивает себя: „как это возможно, что несмотря на современное развитие естественных наук находятся еще старики, продолжающие верить в эти “жупелы“, и отсталые люди, говорящие языком примитивного дикаря, который, „очеловечивал“ природу и представлял ее себе, как нечто, управляемое существами человеческого вида?“.

Анархисты не поддаются таким „звучным словам“, потому что знают, что эти слова служат всегда прикрытием, или незнания — то есть незаконченного исследования, — или, что еще хуже, суеверия. Поэтому, когда им говорят такие слова, они проходят мимо, не останавливаясь; они продолжают свое изучение общественных понятий и учреждений прошлого и настоящего, следуя естественно-научному методу. И они находят, очевидно. что развитие жизни человеческих обществ в действительности безконечно сложнее (и интереснее для практических целей), чем можно было бы думать, если судить по этим формулам.

Мы много слышали за последнее время о диалектическом методе, который рекомендуют нам социал-демократы для выработки социалистического идеала. Мы совершенно не признаем этого метода, который также не признается ни одной из

естественных наук. Для современного натуралиста этот „диалектический метод“ напоминает что-то давно прошедшее, пережитое и к счастью давно уже забытое наукой. Ни одно из открытий девятнадцатого века — в механике, астрономии, физике, химии биологии, психологии, антропологии — не было сделано диалектическим методом. Все они были сделаны единственно научным индуктивным методом. И так как человек есть часть природы, а его личная и общественная жизнь есть также явление природы, как и рост цветка или развитие общественной жизни у муравьев и пчел, то нет основания, переходя от цветка к человеку, или от поселения бобров к человеческому городу, оставлять метод, который до сих пор так хорошо служил нам, и искать другой в арсенале метафизики.

Индуктивный метод, употребляемый нами в естественных науках, так хорошо доказал свою силу, что девятнадцатый век мог двинуть науки, втечении ста лет больше, чем они подвинулись втечении двух предыдущих тысячелетий. И когда, во второй половине 19-го века его начали прилагать к изучению человеческих обществ, то нигде не встретилось ни одного пункта, где было бы необходимо отбросить его и вернуться к средневековой схоластике, возрожденной Гегелем. Более того. Когда натуралисты, платя дань своему буржуазному воспитанию, желали учить нас, основываясь якобы на научном методе дарвинизма, и говорили: „дави всякого, кто слабее тебя: таков закон природы“, то нам было легко доказать при помощи того же научного метода, что эти ученые шли по ложному пути; что такого закона не существует; что природа учит нас совершенно другому, и что подобные заключения ни с какой стороны не научны. То же самое можно сказать про утверждение, которое желало бы заставить нас поверить, что неравенство имуществ есть „закон природы“, и что капиталистическая эксплоатация представляет собой самую выгодную форму общественной организации. Именно, применение метода естественных наук к экономическим фактам и позволяет нам доказать, что так-называемые „законы“ буржуазных общественных наук — включая сюда и политическую экономию — вовсе не законы, а простые утверждения, или даже предположения, которые никогда не проверялись на практике.

Прибавим еще несколько слов. Научное исследование бывает плодотворно только при условии, что оно имеет определенную *цель*, и только тогда, когда оно предпринято с намерением найти ответ на определенный, точно поставленный вопрос. Каждое исследование тем более плодотворно, чем яснее понимаются отношения, существующие между поставленным к разрешению вопросом и основными линиями нашего миросозерцания. Чем лучше этот вопрос входит в наше миросозерцание, тем легче его разрешить.

И вот, вопрос, который ставит себе Анархия, мог бы быть выражен следующими словами: „*какие общественные формы лучше обеспечивают в данном обществе, и следовательно в человечестве вообще, наибольшую сумму счастья, а потому и наибольшую сумму жизненности*“? — „Какие формы общества позволяют лучше этой сумме счастья рости и развиваться качественно и количественно; то есть, позволяют счастью стать более полным и более общим“? Это, между прочим, дает нам и формулу *прогресса*. Желание помочь эволюции в этом направлении определяет характер общественной, научной, артистической и т. д. деятельности анархиста.

IX.

АНАРХИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ.

Его происхождение.—Предшествующие революции.—Как он вырабатывается естественно-научным методом.

Анархия, как мы уже сказали, родилась из указаний практической жизни.

Годвин, современник Великой Революции 1789—93 г. г., видел своими собственными глазами, как правительственная власть, созданная во время Революции и силами Революции, сделалась в свою очередь препятствием к развитию революционного движения. Он знал также то, что происходило в Англии под прикрытием Парламента: грабеж общинных земель, продажа выгодных правительственных должностей, охота на детей бедняков, которые отнимались специальными агентами, раз‘езжавшими для этого по Англии, и посылались на фабрики в Ланкашир, где они гибли массами; и так далее. Годвин понял, что правительство, будь это даже правительство „Единой и Неразделной Республики“ якобинцев, никогда не сможет совершить необходимую революцию,—социальную, коммунистическую революцию; что даже революционное правительство уже по одному тому, что оно является охранителем государства и привилегий, которое всякое правительство должно защищать, само становится скоро препятствием для революции. Он понял и высказал основную анархическую мысль, что для торжества революции люди должны, прежде всего, отделаться от своих верований в закон, власть, порядок, собственность и другие суеверия, унаследованные ими от рабского прошлого.

Второй теоретик Анархии, пришедший после Годвина,— *Прудон*, пережил неудавшуюся революцию 1848 года. Он также

видел своими глазами преступления, совершенные республиканским правительством, и в то же время он мог убедиться в бессилии государственного социализма Луи Блана. Под свежим еще впечатлением того, что он пережил во время движения 1848 года, он написал свою: „Общую Идею Революции“, где смело провозгласил уничтожение государства и анархию.

Наконец, в *Интернационале* анархическая идея созрела также после революции, то есть после Парижской Коммуны 1871 года. Полное революционное бессилие Совета Коммуны, который имел, однако, в своей среде в справедливой пропорции представителей всех революционных фракций того времени (якобинцев, бланкистов и интернационалистов), а также неспособность Генерального Совета Интернационала, заседавшего в Лондоне, и его столь же нелепые, сколько вредные претензии управлять парижским движением посредством приказов, посылаемых из Англии,—эти два урока открыли глаза многим. Они заставили многих членов Интернационала, считая в том числе *Бакунина*, задуматься над злом всякой власти,—даже если она избрана свободно, как это было в Коммуне и в рабочем Интернационале.

Несколько месяцев спустя, решение Генерального Совета Интернационала, принятое на тайной конференции, созванной в Лондоне в 1871 году, вместо ежегодного конгресса, сделало еще более очевидным неудобство правительства в Международном Союзе рабочих. После этой несчастной резолюции силы рабочего Союза, до сих пор направлявшиеся на экономически-революционную борьбу, на прямую, открытую борьбу рабочих союзов против капитализма хозяев, были брошены в политическое, избирательное и парламентарное движение, где они могли только обесцветиться, распылиться и погибнуть.

Это решение вызвало открытое восстание латинских федераций: испанской, итальянской, юрской, и отчасти бельгийской,—против Генерального Лондонского Совета (во Франции Интернационал был строго запрещен); и с этого восстания начинается анархическое движение, которое продолжается до наших дней.

Таким образом анархическое движение начиналось каждый раз под впечатлением какого-нибудь большого практического урока. Оно зарождалось из уроков самой жизни. Но, раз начавшись, оно стремилось также немедленно найти свое теоретическое, научное выражение и обоснование, — научное не в том смысле чтобы усвоить себе непонятный большинству язык, и не в смысле обращения к отвлеченной метафизике, а в том смысле, что оно находило свое обоснование в естественных науках данного времени и само становилось одной из отраслей естественных наук.

В то же время анархисты работали над развитием своего идеала: своего понимания будущего строя жизни.

Никакая борьба не может иметь успеха если она остается бессознательной,—если она не отдает себе конкретного, реального отчета в своих целях. Никакое разрушение существующего невозможно без того, чтобы, уже в момент разрушения и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что займет место того, что желают разрушить. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя уже себе в уме более или менее определенный образ того, что желают видеть на месте существующего. Сознательно или бессознательно *идеал*—понятие о лучшем—рисуется в уме каждого, кто критикует существующие учреждения.

Это особенно относится к человеку действия. Сказать людям: „Давайте сначала разрушим капитализм, или самодержавие, а потом мы увидим, что поставить на их место“ значило бы просто обманывать себя и других. Но силы нельзя создать обманом. И действительно, даже тот, кто говорит таким образом, имеет какое-нибудь представление о том, что он желал бы увидеть на месте того, на что он нападает. Так, например, работая над разрушением в России самодержавия, одни рисуют себе в близком будущем конституцию на английский, или на немецкий лад. Другие мечтают о республике, подчиненной, может быть, могучей диктатуре их партии, о монархической республике, как во Франции, или о федеративной республике, как в Соединенных Штатах Америки. Наконец, другие думают об еще большем ограничении власти государства,—о еще большей свободе городов, коммун, рабочих союзов и всяких групп, соединившихся между собой федеральными узами.

Точно также каждый, кто нападает на капитализм, имеет какое-нибудь определенное, или неясное представление о том, что он желал бы видеть на месте существующего буржуазного капитализма: государственный капитализм, или какой-нибудь род государственного коммунизма по плану Бабефа, или, наконец, федерацию более или менее коммунистических ассоциаций для производства, обмена и потребления того, что они доставляют из земли, или того, что они производят в промышленности.

Каждая партия имеет, таким образом, *свое* представление о будущем: свой идеал, который помогает ей судить обо всех фактах политической и экономической жизни народов, а также и находить способы действия, которые подходят к ее идеалу и позволят ей лучше идти к своей цели.

Вполне естественно, что, хотя Анархия родилась среди каждодневной борьбы, она также работала над выработкой своего идеала; и этот идеал, эта цель, эти стремления скоро отде-

анархистов в их способах действия от всех других политических партий, а также, в большинстве случаев, от социалистических партий, которые верили в возможность удержать старинный римско-церковный идеал государства, и перенести его в будущее общество своих мечтаний.

X.

АНАРХИЯ.

Краткий обзор ее основных начал: — Закон. — Нравственность. Экономические понятия. — Государство.

В силу различных исторических, политических и экономических данных, а также в силу уроков новейшей истории, у анархистов сложился, как мы уже сказали, свой взгляд на общество, совершенно иной, чем у всех политических партий, стремящихся к захвату государственной власти в свои руки.

Мы представляем себе общество в виде организма, в котором отношения между отдельными его членами определяются, не законами — наследием исторического гнета и прошлого варварства, не какими бы то ни было властителями, избранными, или же получившими власть по наследию, — а взаимными соглашениями, свободно состоявшимися, равно как и привычками и обычаями, так же свободно признанными. Эти обычаи, однако, не должны застывать в своих формах и превращаться в нечто неизменное, под влиянием законов или суеверий. Они должны постоянно развиваться, применяясь к новым требованиям жизни, к прогрессу науки и изобретений и к развитию общественного идеала, все более разумного, все более возвышенного.

Таким образом — никаких властей, которые навязывают другим свою волю; никакого владычества человека над человеком; никакой неподвижности в жизни; а вместо того — постоянное движение вперед, то более скорое, то замедленное, как бывает в жизни самой природы. Каждому отдельному лицу предоставляется, таким образом, свобода действий, чтобы оно могло развить все свои естественные способности, свою *индивидуальность*, т. е. все то, что в нем может быть *своего*, личного, особенного. Другими словами — никакого *навязывания* отдельному лицу каких бы то ни было действий под угрозой общественного наказания или же сверхестественного мистического возмездия: общество ничего не требует от отдельного лица, чего это лицо само

не согласно добровольно, в данное время исполнить. Наряду с этим, — полнейшее равенство в правах для всех.

Мы представляем себе общество равных, не допускающих в своей среде никакого принуждения; и, несмотря на такое отсутствие принуждения, мы нисколько не боимся, чтобы в обществе равных вредные обществу поступки отдельных его членов могли бы принять угрожающие размеры. Общество людей свободных и равных сумеет лучше защитить себя от таких поступков, чем наши современные государства, которые поручают защиту общественной нравственности полиции, сыщикам, тюрьмам — т. е. университетам преступности, — тюремщикам, палачам и судам. В особенности сумеет оно *предупреждать* самую возможность противо-общественных поступков, путем воспитания и более тесного общения между людьми.

Ясно, что до сих пор нигде еще не существовало общества, которое применяло бы на деле эти основные положения. Но во все времена в человечестве было стремление к их осуществлению. Каждый раз, когда некоторой части человечества удавалось хоть на время, свергнуть угнетавшую его власть, или же уничтожить укоренившиеся неравенства (рабство, крепостное право, самодержавие, владычество известных каст или классов); всякий раз, когда новый луч свободы и равенства проникал в общество, всегда народ, всегда угнетенные старались, хотя бы отчасти, провести в жизнь только-что указанные основные положения.

Поэтому мы вправе сказать, что Анархия представляет собой известный общественный идеал, существенно отличающийся от всего того, что до сих пор восхвалялось большинством философов, ученых и политиков, которые все хотели управлять людьми и давать им законы. Идеалом господствующих классов Анархия никогда не была. Но за то она, часто являлась более или менее сознанным *идеалом масс*.

Однако было бы ошибочно сказать, что анархический идеал общества представляет собою *утопию*. Всякий идеал представляет стремление к тому, что еще *не осуществлено*, тогда как слову „утопия" в обыденной речи придается значение чего-то *неосуществимого*.

В сущности слово „утопия" должно было бы применяться только к таким представлениям об обществе, которые основаны лишь на том, что писателю представляется *теоретически желательным*, и никогда не должно прилагаться к представлениям основанным на *наблюдении* того, что уже совершается в обществе. Таким образом в число утопий должны быть включены: Республика Платона, Всемирная Церковь, о которой мечтали папы, Наполеоновская Империя, мечтания Бисмарка, Мессианизм поэтов

ожидающих появления спасителя, который возвестит миру великие идеи обновления. Но совершенно ошибочно применять слово „утопия" к предвидениям, которые, подобно Анархии, основаны *на изучении направлений, уже обозначающихся в обществе в его теперешнем развитии.* Здесь мы выходим из области утопических мечтаний и вступаем в область положительного знания,— научного предвидения.

В данном случае, тем более ошибочно говорить об утопии, что отмеченные нами стремления играли уже не раз чрезвычайно важную роль в истории человечества, потому что именно *они послужили основанием для так-называемого Обычного Права — Права, господствовавшего в Европе среди миллионов людей с пятого по шестнадцатое столетие.* Эти стремления стали теперь вновь проявляться в образованных обществах, после того, как в течении трех столетий Европа производила у себя опыты с государственною формою общежития. И на этом наблюдении, важность которого не ускользнет от внимания всякого, кто изучал историю цивилизации, основывается наша уверенность в том, что Анархия представляет собою идеал возможный, осуществимый.

Нам, конечно, говорят, что от идеала далеко до его осуществления. Несомненно так. Но не мешает помнить, что в конце 18-го столетия, — в то самое время, когда созидались Соединенные Штаты Северной Америки, среди очень умных людей в Европе желание создать известной величины общество с республиканским строем правления считалось бессмыслицей: республика, говорили тогда, может существовать только маленькая, как Швейцария или Штаты Голландии [1]). А между тем республики Северной и Южной Америки, а затем и Франция, доказали, что „утописты" были не со стороны республиканцев, а со стороны монархистов.

„Утопистами" были всегда те, кто в силу своих личных *желаний*, не хотел принимать во внимание *новые, уже намечавшиеся тенденции, новые направления*; те, кто приписывал слишком большую устойчивость тому, что уже стало достоянием прошлого, не замечая, что это прошлое было последствием преходящих исторических условий, заменившихся новыми условиями жизни.

Мы уже сказали в начале настоящего очерка, что, изучая происхождение анархического течения мысли, мы всегда наталкиваемся на два главных его источника: с одной стороны, критика государственных, иерархических организаций и представлений о власти вообще, а с другой стороны — разбор тех направлений,

---

[1]) Это мнение было распространено, даже среди французских республиканцев, в 1792 году, во время Великой Революции.

которые постоянно намечались и намечаются в поступательном движении человечества в прошлом и особенно в настоящее время.

С самых отдаленных времен каменного века дикари должны были видеть, какие происходят плачевные последствия, как только люди позволяют завладеть властью кому-нибудь из своей среды, хотя бы то был самый умный, самый храбрый, самый мудрый из них. Вот почему наши предки, уже в самые отдаленные времена старались выработать такие учреждниия, которые мешали бы отдельным лицам захватывать власть. Их племена, их роды, а в более поздний период — деревенская община, средневековые цехи (цехи доброго соседства, цехи ремесл и искусств, купцов, охотников и т. п.) и, наконец, вольные города или „народоправства“ (как их совершенно верно называл Костомаров) с двенадцатого по шестнадцатый век, — все это были учреждения, возникшие среди *народа*. Они установлены были не предводителями и не вожаками, а самим народом, чтобы противодействовать захвату власти иноземными завоевателями, или отдельными членами своего же рода, племени, или города.

То-же направление народной мысли проявилось в религиозных движениях народных масс, во всей Европе, во время движения Гусситов в Богемии и Анабаптистов в западной части Европы. Эти движения, носившие в себе зачатки анархической противу-государственной мысли, послужили, как известно, предтечами, подготовлёнием протестантской Реформации и крестьянских восстаний шестнадцатого века.

Гораздо позже, в 1793 — 1794 годах, во Франции, мы снова видим проявление такого-же *народного* творчества и такой же независимо-народный образ действий в удивительно плодотворной деятельности „секций“, т. е. „отделов“ города Парижа и других больших городов, равно как и целого ряда маленьких общин во время Великой Революции (См. подробно об этом в моей книге о Французской Революции).

И, наконец, еще позже мы встречаем тот же дух в рабочих союзах, образовавшихся в Англии и Франции, как только стала развиваться в этих странах современная промышленность, причем эти союзы слагались и действовали, несмотря на драконовские законы, направленные против них. И здесь мы снова наталкиваемся на тот же народный дух, который старается защитить себя— на этот раз от насилия капиталистов и их пособников — Церкви и Государства.

Понятия Анархизма у Древних; — в средние века; — в конце 18-го и в середине 19-го века; Годвин. — Прудон. — Штирнер.

Народные движения — плод народного творчества — не могли не отразиться в литературе. Действительно, мы встречаем анархические мысли уже у древних философов, а именно у Лао-Тзе в Китае и у некоторых древнейших греческих философов, каковы Аристипп и циники, а также у Зенона и некоторых стоиков. Впрочем, так как анархическая мысль рождалась главным образом среди масс, а не среди немногочисленной аристократии ученых, и эти последние чувствовали мало симпатии к народным движениям, то мыслители обыкновенно и не старались выяснить ту глубокую мысль, которой всегда вдохновлялись народные движения. Во все времена философы и ученые предпочитали покровительствовать государственному направлению мысли и духу иерархической подчиненности. Еще в те времена, когда только занималась заря науки, их любимым предметом изучения было искусство управления людьми, а потому нечего удивляться, что так редки были философы с анархическим направлением мысли.

Однако одним из таковых был греческий стоик Зенон. Он проповедывал свободную общину, без правительства, и противопоставлял ее утопии государственного направления — *Республике* Платона. Зенон уже указывал на инстинкт общественности в человеке, который, по его словам, природа развила, как противовес эгоистическому инстинкту самосохранения. Он предвидел то время, когда люди соединятся, не взирая на границы, и составят „Космос“, Вселенную, — не нуждаясь больше ни в законах, ни в судах, ни в храмах, ни в деньгах, чтобы обмениваться взаимными услугами. Даже его выражения, повидимому, поразительно сходны с выражениями, употребляемыми теперь анархистами [1]).

Епископ, Альбский Марк Джироламо Вида, исповедывал в 1553 году подобные же взгляды против государства, против его законов и его „высшей несправедливости“ [2]). Те же мысли мы встречаем также у Гусситов (особенно у Хоецкого в пятнадцатом столетии), и у первых Анабаптистов, также как и у их предшественников девятого века, — армянских рационалистов.

---

[1]) См. о Зеноне в труде профессора Адлера о Социализме: Geschichte des Socialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart t. I, 1899. По истории анархии, см. мою статью: „Анархия“, в Британской Энциклопедии, одиннадцатое издание.

[2]) Dr. Nys, Recherches sur l'histoire de l'économie politique, Paris (Fontemoing), 1898. (Исследование по истории Политической Экономии).

Раблэ, в первой половине шестнадцатого века, Фенелон к концу семнадцатого столетия и, главным образом, энциклопедист Дидро во второй половине восемнадцатого века развивали те же мысли, которые, как мы уже сказали, начали применяться до некоторой степени в независимой деятельности „Отделов“ („Секций“) и Коммун (общин) во время Великой Французской Революции.

Но первым изложил политические и экономические положения Анархизма англичанин Уильям Годвин, в 1793 г., в своем *Исследовании относительно Политической Правды и ее влияния на общую нравственность и счастье.* Он не употреблял слова *Анархия*, но очень хорошо излагал ее основные положения, нападая на законы, доказывая ненужность Государства и говоря, что только с уничтожением судов будет достигнуто настоящее *правосудие*, — единственное настоящее основание всякого общества. Что касается собственности, то он прямо требовал коммунизма [1]).

Прудон первый употребил слово „Анархия“ в смысле общественного строя без правительства и первый подверг строгой критике тщетные усилия людей дать себе правительство, которое мешало бы богатым угнетать бедных и вместе с тем оставалось бы под контролем управляемых. Тщетные попытки, делавшиеся во Франции, начиная с 1793-го года, чтобы дать себе конституцию, которая отвечала бы этой двойственной цели, и неудача революции 1848-го года доставили ему, конечно, богатый материал для такой критики.

Прудон был врагом всяких форм государственного социализма; коммунисты же того времени (тридцатые и сороковые годы девятнадцатого века) являлись одною из разновидностей государственного социализма; а потому Прудон беспощадно разбирал и и отрицал все планы подобной революции. Принимая за основание „чеки труда“ [2]), предложенные Робертом Оуэном, он развивал понятие о Взаимности (Мютюализме), которое сделало бы излишним всякое политическое правительство.

---

1) Это место находится в первом издании 1793-го года, в двух томах in 4-о. Во втором издании, сделанном в 1796 году в двух томах. in 8-о, после тех преследований, которые английское правительство направило против друзей и республиканских единомышленников Годвина, он выкинул из своей книги свои коммунистические взгляды и смягчил то, что писал в первом издании против Государства и против правительства.

2) Чеки труда — по английски labour cheques, по французски bons du travail — это чеки, или ассигнации, обозначающие один, два, три, десять и т. д. часов труда (с их подразделением на минуты), которые выдавались бы рабочему в уплату за его труд. Банк мог бы принимать их совершенно также, как теперь принимаются чеки, или денежные знаки (звонкая монета или ассигнации).

Так как, говорил Прудон, *меновая ценность всех товаров может быть измеряема только количеством труда, необходимого в данное время в обществе для производства каждого товара*, то весь обмен товаров в обществе может производиться при посредстве Национального Банка, который принимал бы в уплату за товары „чеки труда“. Clearing House, т. е. особая Счетная контора, как это теперь делается банками, определял бы каждый день разницу между приходом и следуемыми платежами всех отделений Национального Банка[1]).

Услуги, которыми таким образом обменивались бы различные лица, были бы равно-значущими, т. е. представляли бы одинаковые *ценности*. Кроме того, Национальный Банк был бы в состоянии давать взаймы производителям, об'единенным в производительные союзы, суммы необходимые для их производства, — но не деньгами, а чеками труда. В результате, по этим займам не приходилось бы платить процентов, так как вместо частного капиталиста заимодателем являлась бы нация, — весь народ, оказывающий друг-другу кредит при посредстве Национального Банка. А чтобы покрыть издержки по управлению Банком, достаточно было бы платить *один* процент в год с одолженной суммы, или даже меньше пол-процента. При таким условиях *беспроцентных займов* капитал потерял бы свой вредный характер; он перестал бы быть средством эксплоатации. Прибавим, что Прудон подробно развил свою систему взаимности, доказывая фактами свои мысли о ненужности и вреде государства и правительства. Вероятно, он не знал своих английских предшественников, но факт тот, что экономическая часть его программы была еще раньше, в 1829 году, развита в Англии Уильямом Томсоном, очень известным экономистом, который проповедывал взаимность раньше, чем сделался коммунистом. Ту-же мысль развивали потом английские продолжатели Томсона — Джон Грэй (John Gray, 1825 -1831) Ходжскин (Hodgskin 1825—1832) и И. Т. Брэй (J. T. Bray, 1839). Хотя названные авторы не формулировали Анархии, как это сделал Прудон и его продолжатели, тем не менее верно, — как заметил английский профессор Фоксвелл (Foxwell) в своем введении к английскому переводу замечательной книги А. Менгера „Право на цельный продукт труда“ (Droit au produit intégral du travail, Vienne 1886), — что течение анархической мысли дает себя чувствовать во всем английском социализме этих годов.

---

[1]) В Англии, и вообще в странах с развитою торговлею, уплаты производятся чеками в частной жизни, как и в торговле. Вместо того, чтобы платить деньгами, платят чеком на свой банк. Банки же и их отделения пересылают каждый день список всех полученных за день чеков на разные другие банки, и Clearing House подводит ежедневно баланс задолженности каждого банка, вместо того, чтобы пересылать друг другу чеки и по каждому чеку получать платежи.

В Соединенных Штатах то же направление было представлено Джошуа Уорреном (Joshua Warren), который, бывши сначала членом колонии Оуена, „Новая Гармония“, сделался противником коммунизма и основал в 1826 году в Цинциннати „Склад“, где продукты обменивались на основании ценности, измеряемой часами труда и „чеками труда“ (трудовыми марками). Подобные учреждения существовали еще в 1865 году, под названием *Справедливых Складов, Справедливых Домов и Справедливых Деревень* [1]).

Ту-же мысль об обмене произведенных полезностей, измеряя ценность каждой из них количеством труда, потребного для ее производства, проповедывали в Германии, в 1843—1845 году, Моисей Гесс и Карл Грюн, а в Швейцарии — Вильгельм Марр. Они, таким образом, боролись против учения о государственном коммунизме, которое проповедывал Вейтлинг, в своих кружках,— очевидно являвшихся преемниками французских последователей Бабефа (бабувистов).

С другой стороны, в Германии, в противовес государственному коммунизму Вейтлинга, находившему довольно многочисленных сторонников среди рабочих, один немецкий гегелианец, Макс Штирнер (его настоящее имя было Иоанн Каспар Шмидт), опубликовал в 1845 году свою работу: „Единственный и его достояние“ которая несколько лет тому назад была, так сказать, вновь открыта Макаем (Mackay) и произвела большой шум в наших анархических кругах, где некоторые смотрели на нее, как на своего рода манифест анархистов-индивидуалистов [2]).

Работа Штирнера представляет собой возмущение против государства и новой тирании, которая установились бы, если бы государственному коммунизму удалось восторжествовать. Рассуждая, как истый метафизик-гегельянец, Штирнер проповедывал возрождение человеческого „Я“ и „Главенство“ отдельной личности. Таким образом он приходил к проповеди „а-морали“. т. е. отсутствия нравственности и „Сообщества эгоистов“.

Ясно, однако, как на это уже указывали писатели анархисты и еще недавно французский профессор В. Баш (Basch) в своем интересном труде: *Анархический индивидуализм: Макс Штирнер* (Париж 1904 г.), что этот род индивидуализма, требуя „полного развития“ — не для всех членов общества, но только для тех, которые будет признаны самыми способными, не заботясь о развитии *всех*,—является скрытым возвратом к существующей теперь монополии досуга, обеспеченности и образования в пользу неболь-

---

[1]) Equity Stores, Equity Villages and Equity Houses. Английское слово Equity содержит, кроме понятия „справедливость“, также и понятие „равенство“.

[2]) Она переведена на русский язык под заглавием „Единственный и его собственность“ и издана в 1907-го году издателством „Светоч“.

шого количества людей под покровительством государства. Это ничто иное, как „право на полное развитие“ для привилегированного меньшинства, — т. е. право, которое только и может существовать при условии обеспечения этого права государством.

Действительно, допустивши даже, что подобная монополия желательна, — что было бы совершенно нелепо, — она не могла бы существовать без покровительства подобающего законодательства, без власти, организованной в государстве. Таким образом требования индивидуалистов в роде Штирнера обязательно приводят их обратно к идее государства и власти, которую они сами так хорошо критикуют. Их положение — подобно положению Спенсера, или школы буржуазных экономистов, известной под именем манчестерской, которые также начинают с суровой критики государства, но кончают признанием его отправлений для поддержания монополии собственности, которой лучшим покровителем всегда было государство. Без государства, монополия личной собственности и всяких „Я“, воображающих себя „сверхчеловеками“, — невозможна.

XI.

АНАРХИЯ (продолжение).

Дальнейшее ее развитие: — Способы действия. — Международный Союз Рабочих (Интернационал). — Коммунисты-государственники и мютюэлисты (прудонианцы).— Сент — симонизм.

Мы вкратце познакомились с развитием анархической мысли, начиная с французской революции и Годвина до Прудона. Ее *дальнейшее развитие происходило в Международном Союзе* Рабочих, — союзе, внушившем столько надежд рабочим и столько страха буржуазии в 1868 — 1870 годах, как раз перед началом *франко-немецкой войны.*

Что этот союз не был основан Марксом, как это любят утверждать марксисты, — это ясно. Известно, что он был следствием встречи делегации французских рабочих, приехавших в 1862 году в Лондон для осмотра второй всемирной выставки, с представителями английских профессиональных союзов (трэд-юнионов), которые, вместе с присоединившимися к ним несколькими английскими радикалами, встречали эту делегацию. Связь, установившаяся с этого посещения, еще больше окрепла по случаю митинга сочувствия Польше в 1863 году, и в сентябре сле-

дующего 1864-го года на митинге в Сент-Мартинс Холле Союз был основан окончательно[1]). Марксу поручили составить воззвание Союза, которое было напечатано в конце года особою брошюрою, вместе с Временным Уставом Интернационала, выработанным особым комитетом.

Уже в 1830 году, в то время, когда основывался в Англии Великий Национальный Союз всех Ремесл (The Great National Trades' Union), Роберт Оуэн пытался устроить „Международный Союз всех Ремесл".

Но скоро эту мысль пришлось оставить, так как английское правительство стало яростно преследовать Национальный Союз. Однако мысль Интернационала не была потеряна; она тлела под пеплом в Англии, нашла сторонников во Франции, и после поражения, которое потерпела революция 1848 года, та же мысль была перенесена французскими изгнанниками в Соединенные Штаты и распространялась там французскою газетою „Интернационал".

Французские рабочие, посетившие Лондон в 1862 году, были большею частью прудонисты, т. е. мютюэлисты; английские же члены рабочих союзов принадлежали, главным образом, к школе

---

[1]) Я нахожу в протоколах заседаний Совета „Международного Рабочего Союза" в Лондоне от 13-го и 20-го Марта 1878 года следы интересных дебатов. Один из основателей Интернационала, Эккариус, желал, чтобы в воззвании Совета вычеркнули фразу о том, что Интернационал возник со времени Всемирной Выставки 1862 года, и чтобы заменили ее следующими словами: „под влиянием этой необходимости французские и английские рабочие, об'единенные их симпатиями к Польше в 1863 году заключили соглашение в целях общественных и политических, и результатом этого соглашения было основание Международного Союза Рабочих в сентябре 1864 года". Это дало повод на следующей неделе, 20-го Марта, к очень оживленным спорам, в течении которых Юнг, который помогал основанию Интернационала и был деятельным членом и секретарем его Генерального Совета, подтвердил, что в действительности Международный Союз Рабочих возник со времени Выставки 1862 года. Что затем, в 1864-м году. *основание* Интернационала совершилось в Лондоне *без участия Маркса*, — путем прямого соглашения между французскими рабочими делегатами, в том числе **Толэном** (рабочим кандидатом в Париже при выборах в Палату), и англискими рабочими представленными сапожником **Оджером**, председателем Совета английских Рабочих Союзов (Трэд-юньонов) и каменьщиком **Кремером**, секретарем Союза Каменьщиков, —причем переговоры начались уже со Всемирной выставки 1860-гогода,—это видно из очень интересного письма Маркса Энгельсу от 4 ноября 1864-го года. Из англичан. душою этого соглашения был повидимому портной **Эккариус**. Маркс был приглашен на один митинг, где я „присутствовал," писал он, „как немая фигура на платформе" Устав Интернационала был составлен на заседаниях, о которых Маркс писал, что он в них не участвовал. Когда-же это было сделано. Маркс, как видно из его письма Энгельсу „написал Обращение к Рабочему Классу (чего не было в первоначальном плане): род обозрения пережитого рабочими массами с 1845 года: переделав „Вступительное Слово" (Préamble) и, сократив устав, сделал в нем „10 параграфов из сорока" См. Переписку между А. Энгельсом и Карлом Марксом, 1844—1883 г. изданную А. Бебелем и Эд. Бернштейном", немецкий подлинник, издание 1913 г.; письмо Маркса от 4 ноября 1864 года т. III, стр. 188—191).

Работа Оуэна. Английский оуэнизм таким образом соединился с французским мютюэллизмом, вне влияния политической буржуазии: следствием этого союза было основание сильной международной организации *рабочих*, — с целью вести борьбу, главным образом, на *экономической почве* и раз навсегда порвать со всякими радикальными, чисто политическими партиями[1]).

Этот союз двух главных направлений среди рабочих-социалистов того времени нашел поддержку в лице Маркса и других — у остатков тайной политической организации коммунистов; в нее входило тогда все, что еще оставалось от тайных обществ Барбеса и Бланки, которые, подобно немецким тайным коммунистическим обществам Вейтлинга, вели свое начало из заговора государственных коммунистов, организованного Бабефом в 1794 — 1795 годах.

В одной из предыдущих глав (гл. V) читатель видел, что 1856 — 1862 годы были отмечены необыкновенным под'емом естественных наук и философии. Это были также годы почти всеобщего политического пробуждения радикальных идей в Европе и Америке. Оба эти движения пробуждали и рабочие массы, которые начали понимать, что им самим предстоит задача подготовить народную пролетарскую революцию. После поражения политической революции 1848 года, выступила мысль о необходимости подготовления экономической революции в среде самих рабочих. На Международную выставку 1862 года смотрели как на великий праздник мировой промышленности, и она сделалась отправным пунктом развития в борьбе труда за свое освобождение; и когда Международный Союз Рабочих, громко заявил о своем разрыве со всеми старыми политическими партиями и о решении рабочих взять в свои руки дело своего освобождения, он повсеместно произвел глубокое впечатление.

Действительно Интернационал начал быстро распространяться в латинских странах. Его боевая сила скоро достигла угрожающих размеров, тогда как конгрессы его федераций и ежегодные конгрессы всего Интернационала давали рабочим возможность *самим обсуждать,— в чем должна состоять социальная революция, и как могла бы она совершиться* Они, таким образом, побуждали созидательные силы рабочих масс изыскивать новые формы об'единения для производства, потребления и обмена.

В ту пору повсеместно думали, что в Европе скоро разразится великая революция; а между тем представления, более или менее ясного, относительно *политических* форм, которые

---

[1]) См. Черкезов: „Предтечи Интернационала".

могла бы принять революция, и относительно ее первых шагов — не существовало. Напротив того, в самом Интернационале встречались и сталкивались несколько совершенно противоположных течений социализма.

Господствующей мыслью в Союзе Рабочих была *мысль о прямой, непосредственной борьбе Труда против Капитала на экономической почве,* — т. е. освобождение Труда не при помощи законодательства, на которое согласилась бы буржуазия, а самими рабочими, которые силою будут вырывать уступки у капиталистов и в конце концов заставят их сдаться вполне. „Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих!" — гласило основное правило Интернационала; и теперь это основное начало снова возродилось в синдикалистском движении, которое тоже принимает интернациональный характер.

Но *как*, в какой форме совершится освобождение труда из под ига капиталистов? Какую новую форму могло бы принять устройство производства и обмена? По этому вопросу социалисты 1864—1870 годов были так же несогласны между собой, как и в 1848 году, когда представители различных социалистических учений встретились в Париже, в Учредительном Собрании провозглашенной в Феврале 1848 года Республики.

Подобно своим французским предшественникам 1848 года, которых стремления так хорошо изложил Консидеран в своей книге: „*Социализм перед лицом Старого Света*", социалисты Интернационала точно также не могли сойтись под одним знаменем Они колебались в выборе между различными решениями, и ни одно из них не было ни достаточно правильно, ни достаточно очевидно, чтобы об'единить умы; причем об'единение было тем более трудно, что сами социалисты еще не расстались со своим уважением к Капиталу и Государственной Власти.

Бросим же беглый взгляд на эти различные течения.

В Интернационале встречались, во-первых, прямые наследники якобинства Великой Французской Революции — т. е. заговора Бабефа, — в лице тайных обществ французских „коммунистов" (бланкистов) и немецкого Коммунистического Союза, основанного Вейтлингом, И те и другие жили традициями ярого якобинства 1793 года. Известно, что в 1848 году они все еще мечтали завладеть в один прекрасный день политическою властью в государстве посредством заговора, — *может быть также при помощи диктатора,* — и установить „Диктатуру пролетариата", по образцу якобинских обществ 1793 года, — но на этот раз в пользу рабочих. Эта диктатура, думали они, установит коммунизм посредством законодательства.

Правительству, говорили они, достаточно будет провести законодательством всевозможные стеснительные законы и налоги,

которые сделают существование собственников настолько затруднительным, что они сами скоро будут счастливы избавиться от собственности и передать ее государству. Тогда государство будет посылать „армии земледельцев“, чтобы обрабатывать поля. Промышленные заведения, устроенные по тому же полувоенному образцу, будут тоже вестись государством [1]).

Такие же взгляды были распространены среди социалистов и во время основания Интернационала, и они продолжали находить сторонников позднее: во Франции среди бланкистов, и в Германии — у лассальянцев и у социальдемократов.

С другой стороны, английские рабочие школы Роберта Оуэна держались взглядов, прямо противоположных этим якобинским воззрениям. Они положительно отказывались рассчитывать на силу государства, как для совершения революции, так и в деле созидания социалистического строя. Они рассчитывали, главным образом, на деятельность об'единенных Рабочих Союзов (трэдюнионов). При этом английские последователи Оуэна не стремились к государственному коммунизму. Подобно французским последователям Фурье, они придавали большое значение свободно составленным и об'единенным между собой общинам и группам, которые сообща владели бы землей и фабриками, но сами организовали бы свое производство и сдавали бы то, что сработают, в общественные склады для продажи.

Вообще, производители могли бы работать, как большими или малыми группами, так и в одиночку, сообразно требованиям производства. Вознаграждение же за работу в общинах и группах, также как и обмен между общинами, производились бы *марками труда*. Эти марки, или чеки, означали бы количество рабочих часов, проведенных в работе на общинных полях, или на фабриках и в мастерских, и каждая община оплачивала бы такими марками продукты, произведенные индивидуально и сданные каждым производством в общинные склады для обмена.

Та же мысль вознаграждения марками труда была, как мы уже видели, принята Прудоном и мютюэллистами в их планах преобразования общества. Они также отрицали вмешательство государственной власти в обществе, которое родилось бы из революции. Они говорили, что социальная революция сделает хозяйственную деятельность государства ненужной, так как весь обмен может производиться Национальными Банками и Рассчетными

---

[1]) Интересно напомнить, что подобные же мысли, очень распространенные в то время, о государственном землепашестве при помощи „земледельческих армий“ были восхваляемы в брошюре „Уничтожение пролетариата“, Наполеоном III-м., который был тогда претендентом на пост президента республики. Ставши императором, он не прочь был применить те-же мысли к орошению и облесению некоторых частей Франции, — именно, Солоньи.

Конторами (Clearing House), а воспитание, санитарные мероприятия, пути сообщения, промышленные предприятия и т. д. были бы в руках независимых общин.

Наконец, та-же мысль о марках труда, заменяющих деньги при обмене, но уже *в Государстве, ставшем собственником всех земель, копей, железных дорог заводов*, проводилась в 1848 году двумя замечательными писаталями, Пеккером и Видалем, которые называли свою систему *коллективизмом*. Оба упорно замалчиваются теперь социалистами,—тем легче, что их труды, изданные в конце сороковых годов, сохранились лишь в весьма небольшом количестве экземпляров [1]). Видаль был секретарем Люксембургской Комиссии, а Пеккер был членом Учредительного Собрания 1848 года и написал тогда об этом предмете замечательный трактат. Он в нем подробно изложил свою систему — даже в виде законов, которые Собранию достаточно было бы, по его словам, провести, чтобы совершить социальную революцию. [2])

Во время основания Интернационала имена Пеккера и Видаля, повидимому, были совершенно забыты даже их современниками, но мысли их были очень распространены, и скоро они стали еще более распространяться в особенности в Германии под именами „Научного Социализма", „Марксизма" и „Коллективизма" [3]),

Социалистические воззрения в интернационале. — Сен-Симонизм.

Наряду с только-что упомянутыми школами социализма была также, как известно, школа Сен-Симонистов. Главной своей силы она достигла, правда, в тридцатых годах 19-го века, но и

---

[1]) Небольшое количество экземпляров Манифеста Консидерана (на который обратил внимание Черкезов, как на источник Коммунистического Манифеста) и книг Pecqueur-а и Vidal-я, одному из наших товарищей удалось разыскать в складе — в Москве! Замечательную книгу Buret о положении рабочего класса, очень широко использованную Энгельсом, как это тоже указал Черкезов, мне удалось достать также из Москвы; я купил в Париже экземпляр, некогда принадлежавший профессору Лешкову!

[2]) О том, насколько Энгельс и Маркс заимствовали у Пеккера в их „Коммунистическом Манифесте" в его построительной части, указал бельгийский профессор Андлер. см. **Шарль Андлер**, Введение и Комментарий к Коммунистическому манифесту, перев. с франц. под редакцией А. В. Киссина. Москва, 1906, изд. Петровской Библиотеки в Москве. — Там-же. стр. 43, указано на заимствования Коммунистического Манифеста у Бабефа. Немецкий Коммунизм,—прямой слепок с Коммунизма Бабефа.

[3]) Для общего ознакомления со взглядами Прудона, лучше всего брошюра Джемса Гильома, изданная бакунистами в Женеве в 1874 году, „Анархия по Прудону."

гораздо позже продолжалось ее глубокое влияние на социалистические воззрения членов Интернационала.

Многие блестящие писатели, — мыслители, политики, историки, романисты, а также промышленники, развились в тридцатых и сороковых годах под влиянием Сен-Симонизма. Достаточно назвать здесь Огюста Конта в философии, Огюстэна Тьерри между историками и Сисмонди среди экономистов. Все социальные реформаторы середины 19-го века испытали на себе влияние этой школы.

Движение человечества вперед, говорили Сен-Симонисты, до сих пор состояло в том, что рабский труд превратился в крепостной труд, а крепостной — в наемный. Но недалеко время, когда станет необходимо уничтожить и денежную зависимость труда, а с этим вместе, в свою очередь, должна будет исчезнуть и частная собственность на все необходимое для производства. В этом, прибавляли они, не надо видеть ничего невозможного, потому что Собственность и Власть уже претерпели не мало изменений в исторические времена. Новые изменения оказываются нужными, и они необходимо должны совершиться.

Уничтожение частной собственности, говорили Сен-Симонисты, могло бы произойти постепенно, при помощи ряда мероприятий (напомним, что великая Французская Революция уже положила им начало). Эти мероприятия позволили бы, например, Государству, при помощи больших налогов на наследство, брать себе все большую и большую часть собственности, передаваемой одним поколением другому. Таким образом количество собственности, переходящей в частные руки, постоянно уменьшалось бы, и постепенно частная собственность исчезла бы, так как сами богатые убедились бы, что им выгодно отказаться от преимуществ, созданных в их пользу исчезающею цивилизациею. Тогда добровольный отказ богатых от собственности и уничтожение наследования законодательным путем превратили бы Сен-Симонистское государство в единственного собственника земли и промышленности, — в высшего распорядителя работами, — никому не подчиненного начальника и направителя Искусств, Науки и Промышленности[1]).

Каждый член общества работал бы в одной из этих областей и был бы „*чиновником*“ Сен-Симонистского Государства. Управление же представляло бы из себя иерархию, т. е. лестничную организацию „лучших людей“, — лучших в науках, искусствах и промышленности.

Распределение продуктов происходило бы согласно такому положению: „*Каждому — сообразно его способностям, каждому таланту — сообразно его произведениям*“.

---

[1]) Ср. Виктор Консидеран: „Социализм перед лицом старого света“, где прекрасно изложены социалистические учения первой половины 19-го века; Французск. изд. 1848 года, стр. 35 — 36.

Кроме этих планов будущего, Сен-Симонистская школа и получившая в ней свое начало позитивная философия дали девятнадцатому веку ряд замечательнейших исторических трудов, в которых происхождение власти, частной собственности и государства рассматривались с действительно научной точки зрения. Эти работы и до сих пор сохранили все свое значение.

В то-же время Сен-Симонисты подвергли строгому разбору политическую экономию так-называемой классической школы, т. е. школы Адама Смита и Рикардо, которая позже стала известна под именем „Манчестерской Школы“ и проповедывала так-называемое „невмешательство Государства“.

Наконец, Огюст Конт, основатель „позитивной“, т. е. естественно-научной философии, охватывающей все явления, как в жизни природы, так и в постепенном развитии (Эволюции) человечества, был сперва учеником и последователем Сен-Симона.

Но, борясь против промышленного индивидуализма и конкурренции, Сен-Симонисты впадали в ту же ошибку, против которой они боролись вначале, когда выступили против военного государства и его иерархических ступеней. Они кончили признанием всемогущества Государства, и основывали свой порядок — как это уже заметил Консидеран, — на неравенстве и власти: на правительственной иерархии, которой они даже хотели придать духовный характер.

Таким образом, Сен-Симонисты сороковых годов, признавая верховную власть Государства так-же, как признавали ее якобинские коммунисты, отличались от них только той долей личного участия, которую они предоставляли производителю в общем производстве товаров. Несмотря на прекрасные работы по политической экономии, сделанные многими из них, они еще не дошли до представления, что богатства производятся *обществом*,—всеми вместе, а не отдельными лицами. Иначе они поняли бы, что нет возможности справедливо определить, какая часть из общего количества произведенных богатств должна быть предоставлена каждому отдельному производителю.

По этому пункту существовало глубокое разногласие между коммунистами и Сен-Симонистами; но за то они вполне сходились в том, что ни те, ни другие не придавали значения отдельной личности, ее правам и желаниям. Все, что предоставляли ей коммунисты, ограничивалось правом избрания своих чиновников и правителей, и Сен-Симонисты тоже нехотя признали это право после 1848 года. Раньше же они не признавали даже права выборов. Но для коммунистов, как и для Сен-Симонистов, равно как и для современных нам коллективистов и социал-демократов, всякое отдельное лицо есть только чиновник государства.

В лице Кабэ, написавшего „*Путешествие в Икарию*“, и

основавшего коммунистические колонии в Америке, якобинский коммунизм и подавление личности нашли полнейшее выражение.

Действительно, в „*Путешествии*“ Кабэ мы везде встречаем власть. государство, — вплоть до кухни в каждом хозяйстве. Не довольствуясь составлением „поваренного руководства“, которое будет получать каждая семья, Икарийская Республика утверждает список одобренных с‘естных продуктов, заставляет своих земледельцев и рабочих производить их и раздает их своим подданным. „А так как, — писал Кабэ — никто не может иметь других с‘естных припасов, кроме раздаваемых республикою, то ты понимаешь, что никто не может есть ничего, что не было бы одобрено ею“ (*Путешествие в Икарию*“, 5-ое французское издание, 1848-го года, стр. 52).

Заботливость правительства доходит до того, что комитет определяет, сколько раз в день должно есть, в какое время, и как долго, и назначает количество кушаний, их состав и порядок, в котором они должны подаваться. Что-же касается одежды, то она заказывается Комитетом по определенным образцам, причем каждый носит форму, соответствующую его общественному положению. Рабочие, всегда делающие одну и ту-же вещь, составляют полк, — „до такой степени господствуют порядок и дисциплина!“ — восклицает с восторгом Кабэ.

Нечего и говорить, что никто ничего не может печатать, не получив на это разрешение республики, и то только после сдачи соответствующего экзамена и полученного по всем правилам разрешения быть писателем.

Сомнительно, чтобы утопия Кабэ,—вся, *в целом*, имела многочисленных сторонников в Интернационале; *но дух* ее оставался. Положительно верно, — и мы сами очень хорошо это чувствовали во время споров, которые вели с государственниками, в особенности с немецкими коммунистами — что даже строгий регламент, о котором мы только что упоминали и который нам теперь кажется таким бессмысленным, был тогда принимаем (в семидесятые годы, особенно немцами) за выражение глубокой мудрости. На наши возражения нам отвечали словами Кабэ:

„Конечно, коммуна непременным образом связывает и лишает свободы действий, но это — потому, что ее главная обязанность дать богатство и счастье. Чтобы избегать двойной затраты труда и напрасных убытков, чтобы достигнуть возможно большей производительности в земледелии и в промышленности, при возможно меньшей затрате труда, необходимо, чтобы *Общество все имело в своих руках, все бы направляло и всем бы распоряжалось; надо, чтобы оно подчиняло своим правилам, своим порядкам, своей дисциплине все воли, все действия*“. Добрый гражданин должен даже „удерживаться от всего, что не предписано“. („*Путешествие в Икарию*“, 5-ое французское издание, стр. 403).

Хуже всего то, что у государственников оставалось еще убеждение, что в конце концов, как сказал Кабэ, „коммунизм также возможен при монархе, как при президенте республики“. Эта-то мысль и уготовила путь для государственного переворота Наполеона III, и затем, много позже, позволяла социалистам-государственникам относиться так легко к буржуазной реакции.

Наконец, мы должны также упомянуть о школе Луи Блана, которая во время основания Интернационала имела многочисленных сторонников во Франции и Германии, где она была представлена сплоченною массою лассальянцев. Эти социалисты, такие-же сторонники государства, как и предыдущие, считали, что переход промышленной собственности из рук Капитала в руки Труда может произойти, если правительство, порожденное революцией и вдохновляемое социалистическими воззрениями, поможет рабочим устроить обширные рабочие производительные кооперативы, которым правительство-же даст взаймы необходимые средства. Эти кооперативы были бы соединены в обширную систему национального производства. Как временная мера, могло бы быть принято денежное вознаграждение, равное для всех; но конечною целью было бы распределение продуктов согласно потребностям каждого производителя.

В сущности мы видим, что социализм Луи Блана был, как говорит совершенно верно Консидеран, „коммунистический Сен-Симонизм“, управляемый демократическим Государством.

Опираясь на обширную систему национального кредита, поддерживаемые государственными заказами, рабочие кооперативы, которые хотел основать Луи Блан, получая деньги взаймы от государства по очень низкому проценту, были бы в состоянии конкурировать с капиталистическою промышленностью. Они скоро вытеснили бы капиталистов из производства и сами стали бы на их место.

Они также могли бы развиться и в земледелии. Что же касается до рабочих, то они никогда не должны были бы терять из виду этого экономического, социалистического идеала и не должны были бы увлекаться просто демократическим идеалом буржуазных политиков.

Все эти воззрения, выработавшиеся под влиянием социалистической пропаганды в сороковые года, равно как под влиянием февральского и июньского восстаний 1848 года, были, с различными изменениями в подробностях, широко распространены в Международном Союзе Рабочих. Различия в воззрениях были большие; но, как мы уже видели, сторонники всех этих школ сходились в одном: все они признавали, что в основании будущей революции должно будет лежать *сильное правительство*, которое будет держать в своих руках хозяйственную жизнь страны. Все

признавали централизованное и иерархическое устройство государства.

К счастью, наряду с этими якобинскими воззрениями, в противовес им, существовало также и учение фурьеристов, к разбору которого мы теперь перейдем.

XII.

АНАРХИЯ. (*Продолжение*).

Социалистические воззрения в интернационале — фурьеризм.

Фурье, современник Великой Революции, уже не был в живых, когда основывался Интернационал. Но его мысли были так широко распространены его последователями,—в особенности Консидераном, который придал им известный научный характер,—что сознательно или бессознательно, самые образованные члены Интернационала находились под влиянием фурьеризма [1]).

Чтобы понять влияние фурьеризма в те годы, надо заметить, что господствующею мыслью Фурье не было об'единение Капитала, Труда и Таланта для *производства* богатств, как это обыкновенно утверждается в книгах по истории социализма. Его главной целью было *положить конец частной торговле*, которая ведется в целях *наживы*, и которая необходимо приводит к крупным, недобросовестным спекуляциям. Чтобы достигнуть этого, он предлагал создать *свободную национальную организацию для обмена всяких продуктов*. Таким образом, Фурье вновь поднял

---

[1]) Из работы нашего друга Черкезова известно, что экономические положения, изложенные Марксом и Энгельсом в „Коммунистическом Манифесте“, были им взяты из манифеста Консидерана, который носил название: „Принципы Социализма: Манифест Демократии XIX века“ и был издан в 1848 году. Действительно, достаточно прочесть оба манифеста, чтобы убедиться, что не только экономические взгляды „Коммунистического Манифиста“, но даже и форма были заимствованы Марксом и Энгельсом у Консидерана.

Что же касается программы практических действий в „Коммунистическом Манифесте“, то, как это показал профессор Андлер, образцом для нее послужила программа тайных, коммунистических обществ, французских и немецких, которые продолжали дело тайных обществ Бабефа и Буонароти. Изучение книги Консидерана, „Социализм перед лицом Старого Света“ (Le Socialisme devant le vieux monde) нельзя не порекомендовать серьезному вниманию современных социалистов.

мысль, которую уже пыталась осуществить Великая Революция в 1793—1794 годах, после того, как парижский народ изгнал жирондистов из Конвента, и Конвент принял *закон о максимуме цен* на предметы первой необходимости.

Как говорил Консидеран в своей книге, „Социализм перед лицом старого света“, Фурье видел средство для прекращения всех безобразий современной эксплуатации „*в установлении непосредственных сношений между производителем и потребителем*,—в устройстве *общинных посреднических агентур*, являющихся складами, но не владельцами продуктов, которые они получают непосредственно с места их производства и передают непосредственно потребителям“.

В таких условиях цена товаров перестала бы служить предметом спекуляции. Она могла бы повышаться только на то, во что обойдутся „издержки по перевозке, хранению и управлению, тяжесть которых почти не чувствительна“ (Консидеран, стр. 39).

Уже ребенком, Фурье, помещенный родителями в торговое заведение, принес клятву ненависти к торговле, худые стороны которой он близко узнал из собственного опыта. И с тех пор он дал себе слово бороться против нее. Позже, во время Великой Революции он был свидетелем ужасающих спекуляций—сперва при продаже и покупке национальных имений, отобранных у Церкви и дворян, а потом—в невероятном повышении цен на все продукты во время войн Революции против европейских монархий. Он также знал из опыта, что ни якобинский Конвент, ни террор с его беспощадной гильотиной не в силах были прекратить эти спекуляции. Тогда он понял, что отсутствие национальной, *общественной организации обмена*, по крайней мере для предметов, *необходимых* для жизни, могло сделать недействительными для народа все благодетельные последствия экономической революции, произведенной отобранием земель у духовенства и дворянства в пользу демократии. Тогда же он должен был увидать необходимость *национализации торговли* и оценить попытку, сделанную в этом направлении народом, „санкюлотами“ в 1793 и 1794 году. Он сделался ее апостолом[1]).

---

[1]) Мы этого не знали в Интернационале, но теперь известно, что житель Лиона, Л‘Анж, пораженный нищетою, царившею в Лионе во время Великой Революции, издал тогда же план „Добровольного Союза“ (Association volontaire), который должен был охватить всю Францию. Этот Союз должен был иметь 30,000 запасных хлебных магазинов (по одному в каждой общине) и таким образом положить конец *частной собственности на предметы первой необходимости и частной торговле ими*. См. разбор брошюр Л‘Анжа, сделанный уже Мишле в его прекрасной Истории французской революции, а потом Жоресом в „Histoire Socialiste“ и недавно еще Бурженом в его книге „Фурье“ (Henri Bourgin, „Fourier“ Париж, 1905). Не план-ли Л‘Анжа вдохновил Фурье, который уже думал в этом направлении? Мы этого не знаем. Но с чем Фурье несомненно был знаком,—это с пла-

Свободная община – хранительница продуктов, произведенных членами, даст, по его мнению, разрешение великой задачи устройства Обмена и Распределения предметов первой необходимости. Но община не должна быть собственницей складочных магазинов, подобно теперешним кооперативам. Она должна быть только *хранительницей*, — агентством, куда продукты сдаются для их распределения, без всякого права взимать подать с потребителей, и без права спекуляции на изменениях цен.

Мысль Фурье разрешить социальную задачу, организуя потребление и обмен на общественном начале, уже делает из него одного из самых глубоких социалистических мыслителей.

Но он не остановился на этом. Он, кроме того, предполагал, что все члены земледельческой или промышленной, или, вернее сказать, смешанной земледельческо-промышленной общины, составят *фалангу*. Они соединят в одно свои земли, рабочий скот, инструменты и машины, и будут обрабатывать земли, или работать на фабриках, считая, что земли, машины, фабрики и т. д. принадлежат им всем сообща,—но ведя при этом строгий счет, насколько каждое отдельное лицо увеличило общий капитал.

Два главных правила, говорил он, должны быть соблюдаемы в фаланге. Во первых, не должно быть *неприятных работ*. Всякая работа должна быть так оборудована, так распределена и настолько разнообразна, чтобы *всегда быть привлекательной*. Во-вторых, в обществе, устроенном на основаниях свободного сотрудничества, не должно быть допущено *никакого принуждения*, да и не будет причин, делающих нужным принуждение.

При наличности сколько-нибудь внимательного, вдумчивого отношения к личным нуждам каждого члена фаланги и при некоторой снисходительности к особенностям различных характеров, а также соединяя труд земледельческий, промышленный, умственный и художественный,—члены фаланги скоро убедятся, что даже людские страсти, которые, при современном устройстве, являются часто злом и опасностью, (что в свою очередь всегда приводится в оправдание применения силы) могут быть источником дальнейшего развития прогресса. Достаточно ближе узнать сущность этих страстей и найти им общественное применение. Новые предприятия, опасные приключения, общественное возбуждение, жажда перемены и т. д. дадут этим страстям необходимый выход. Действительно, всякий знает, насколько страсть к азарту и непривычка к регулярному труду бывают причинами воровства,

---

... революционных санкюлотов 1793—1794 года, которые хотели *национализации* ... Этот план должен был вдохновить его. Как это говорит Мишле в одной из своих рукописных заметок, упоминаемых Жоресом: „Кто сделал Фурье?“ писал он — „Ни Анж, ни Бабеф: *Лион был истинным предшественником Фурье*“. Теперь мы можем сказать; „*Лион и Революция 1793—1794 года*“.

грабежа и других поступков, наказываемых теперь уголовными законами. В разумно устроенном обществе самые эти страсти нашли бы себе лучший исход.

Правда, что Фурье платил еще дань государственным идеям. Таким образом он признавал, что для того, чтобы сделать *опыт* с его Сообществом, чтобы испытать сперва „простую гармонию“, которая будет предтечей „настоящей гармонии, представитель верховной власти мог бы сослужить службу“.—„Можно было бы, например, предоставить главе Франции честь вывести род человеческий из социального хаоса, ставши основателем гармонии и освободителем земного шара“, говорил он в своем первом сочинении; и ту же мысль он повторил позже, в 1808 году, в своей „*Теории Четырех Движений*“. Впоследствии он даже обращался с этой целью к королю Людовику-Филиппу (Ш. Пелларэн, „Фурье, его жизнь и его учение“, 4-ое французское издание, стр. 114). Но все это относилось только к первому подготовительному опыту.

Что же касается того общества, которое он называл „настоящею гармониею“, или всемирною гармониею — то в ней он не давал места никакому правительству. Эта гармония, говорил он, не может быть вводима „по частям“. Превращение должно произойти одновременно в общественных, политических, хозяйственных и нравственных отношениях людей. Когда Фурье начинал разбирать идею Государства, он был так же последователен в своей критике, как и мы теперь. — „Политический беспорядок“, говорил он, „является одновременно и следствием, и выражением хозяйственного (социального) беспорядка. Неравенство становится крайнею несправедливостью. Государство, во имя которого действует власть, *по происхождению и по основным своим началам является несомненно слугою привилегированных классов и их защитником против остального населения*“. И так далее.

Вообще в „Гармоническом обществе“ Фурье, которое будет создано полным проведением в жизнь его мыслей, нет места принуждению[1]).

Фурье писал непосредственно после поражения Великой

---

[1]) Даже в тех случаях, когда Фурье делал исключения, или когда он с поразительной непоследовательностью говорил об „отличиях“ или „достижимых степенях“, введенных для возбуждения рвения к работе, или же о подчинении законам и правилам „во время опытов, имеющих целью испытание его теории“ (Пелларэн, стр. 229), руководящею мыслью в его системе оставалась полнейшая свобода отдельной личности в гармоническом обществе будущего. „Свобода, говорил он, состоит в возможности делать то, чего требуют наши стремления.... Если существуют люди, которые воображают, что могут подчинить человеческую природу требованиям современного общества, и изучают эту природу в виду такой цели, то мы не принадлежим к их числу“, говорил ученик Фурье, Пелларэн (стр. 222).

[illegible]ции и потому неизбежно склонялся к мирным разрешениям социального вопроса. Он настаивал на необходимости принять в принципе, *совместную деятельность Капитала, Труда и Таланта*. Вледствие этого, ценность каждого продукта, произведенного фалангой, должна была быть разделена на три части, из которых одна часть (половина, или же семь-двенадцатых всей суммы) служила бы вознаграждением Труда, вторая часть (три-двенадцатых) поступала-бы в пользу Капитала, а третья часть (две или три двенадцатых) — в пользу Таланта.

Однако большинство приверженцев Фурье в Интернационале не придавало большого значения этой части его системы. Они понимали, что тут сказывалось влияние того времени, когда он писал. И наоборот, они особенно помнили следующие основные положения учения **Фурье**:

1) Свободная Община, т. е. *небольшое* земельное пространство, вполне независимое, делается основанием, единицей в новом социальном обществе.

2) Община является хранительницей всех продуктов, произведенных внутри ее, и посредницей при всякого рода обмене с другими общинами. Она также представляет собой союз потребителей, и весьма возможно, что в большинстве случаев она будет также *единицей производства*, которою, впрочем, может быть и профессиональная группировка (т. е. рабочий союз), или же союз нескольких производительных артелей.

3) Общины свободно об'единяются между собой, чтобы составить Федерацию, Область, Народ.

4) Труд должен быть сделан привлекательным: Без этого он всегда ведет к рабству. *И раньше, чем это будет сделано, невозможно никакое решение социального вопроса. Достигнуть же этого вполне возможно* (две глубокие истины, слишком легко забываемые теперь). Труд должен и может быть гораздо производительнее, чем теперь.

5) Для поддержания порядка в подобного рода общинах не требуется, никакого принуждения: вполне достаточно влияния общественного мнения.

Что касается распределения произведенных продуктов и потребления, то относительно этого мнения еще очень разделялись.

После основания Интернационала социалистические идеи имели успех, прежде всего на конгрессах в Брюсселе, в 1868 году, и в Базеле, в 1869 году Интернационал высказался громадным большинством за *коллективную* собственность на землю, годную к обработке, на леса, железные дороги, каналы, телеграфы и т. д., рудники, а также машины. Приняв *коллективную* собственность и экспроприацию, как средство ее достижения, члены Интерна-

ционала противо-государственники приняли название *коллективистов*, чтобы ясно отделить себяот гоударственного и централизаторского коммунизма Маркса и Энгельса и их сторонников и от такого же направления французских коммунистов, державшихся государственных традиций Бабефа и Кабе[1]).

В брошюре: „Мысли о социальной организации“, опубликованной в 1876 году Джемсом Гильомом, который сам принимал активное участие в пропаганде коллективизма, а также в его главном сочинении: „Интернационал, — Документы и Воспоминания“ (4 тома, появившихся в Париже в 1905—1910 годах), и наконец в его статье: „Коллективизм в Интернационале“, которую Гильом написал недавно для „Синдикалистской Энциклопедии“, интересующиеся могут найти все детали о точном смысле, который придавали слову: „коллективизм“ наиболее деятельные члены федералистского Интернационала, — Варлэн, Гильом, Де-Пэп, Бакунин и их друзья. Они об‘явили, что в противуположность государственному коммунизму они подразумевают под словом „Коллективизм“ — *коммунизм не-государственный, федералистский* или *анархический*. И называя себя коллективистами, они прежде всего подчеркивали, что они противо-государственники. Они не желали предрешать формы, которую примет потребление в обществе, совершившее экспроприацию. Для них было важно стремление не замыкать общество в суровые рамки, — они желали сохранить для более передовых групп самую широкую свободу в этом отношении.

К несчастью, идеи о коллективной собственности, брошенные в Интернационале не имели времени распространиться в рабочих массах, когда разразилась франко-немецкая война, десять месяцев спустя после Базельского Конгресса, — так что ни одной серьезной попытки в этом направлении не было сделано во время Парижской Коммуны. А после того, как Франция и Коммуна были раздавлены, федералистский Интернационал должен был сосредоточить все свои силы на поддержание главной своей идеи, — противогосударственной организации рабочих сил в целях *непосредственной борьбы труда против капитала*, чтобы

---

1) В это время социал-демократы еще не выставили системы *государственного коллективизма*, — многие среди них были еще *коммунисты-государственники*. И повидимому был совершенно забыт смысл понятий: *государственный капитализм* и *распределение сообразно часам труда*, — смысл, который был придан слову „коллективизм“ перед революцией 1848 года и во время ее, сначала С. Пекером в 1839 году („*Социальная Экономия: интересы торговли, промышленности и земледелия и цивилизации вообще под влиянием пара*“) и в особенности в 1842 году („*Новая теория социальной и политической экономии: этюды по организации обществ*“) и затем Ф. Видалем, секретарем рабочей Люксембургской Комиссии в его замечательной работе: „*Жить, работая! Проекты, перспективы и средства социальных реформ*“, появившейся в Париже в конце июня 1848 года.

придти к *социальной* революции. Волей-неволей вопросы будущего должны были остаться на втором плане, и если идеи коллективизма, понимаемого в смысле анархического коммунизма, продолжали распространяться некоторыми приверженцами, то они наталкивались, с одной стороны, на понятия государственного коллективизма, развитые марксистами, после того, как они начали пренебрегать идеями *Коммунистического Манифеста*, и с другой стороны—на государственный коммунизм бланкистов и на весьма распространенные предрассудки против коммунизма вообще, укрепившиеся в рабочих массах латинских стран после 1848 года, под влиянием сильной критики государственного коммунизма, выдвинутой Прудоном. Это сопротивление было так сильно, что в Испании, например, где федералистский Интернационал был в тесных сношениях с широкой федерацией рабочих профессиональных союзов, в то время и гораздо позже коллективизм истолковывали, как подтверждение коллективной собственности, просто прибавляя к нему слова „и анархия“ (anarquia y collectivismo) чтобы только подкрепить противогосударственную идею, — не предрешая, каков будет способ распределения — коммунистический или иной, — который мог быть принят каждой отдельной группой производителей и потребителей.

Наконец, что касается способа перехода от современного общества к обществу социалистическому, то деятели Интернационала не придавали большого значения тому, что по этому поводу говорил Фурье. Они чувствовали, что в Европе развивается положение дел, ведущее к революции, и видели, что приближается революция, более глубокая и более общая, чем революция 1848 года. И когда она начнется, говорили они, рабочие должны сделать все от них зависящее, чтобы отнять у Капитала захваченные им монополии и передать их в руки самих производителей, т. е. рабочих, не дожидаясь приказов правительства.

Толчок, данный парижской коммуной. — Бакунин.

Из короткого обзора, данного в предшествующих главах уже можно представить себе, на какой почве развивались анархические идеи в Интернационале.

Мы видели, какую смесь централистического и государственного якобинства с стремлениями к местной независимости и федерации представляли тогда понятия деятелей Международного Союза Рабочих. И то и другое течение мысли — мы теперь это знаем — имело своим источником Великую Французскую Революцию. Централистические идеи происходили по

прямой линии от якобинства 1793 года, а идеи местной независимой деятельности были наследием крупной созидательной и разрушительной революционной работы коммун (общин) 1793—1794 года и их отделов (секций) в больших городах.

Надо сказать, однако, что из этих двух течений, якобинское, без сомнения преобладало. Почти все буржуазные интеллигенты, вошедшие в Интернационал, мыслили, как государственники-якобинцы, а рабочие находились под их влиянием.

Нужно было, чтобы совершилось событие такой громадной важности, как провозглашение Парижской Коммуны и геройская борьба парижского народа против буржуазии, чтобы дать новое направление революционной мысли, — по крайней мере, в латинских странах, особенно в Испании, Италии и части французской Швейцарии.

В июле 1870 года началась ужасная франко-прусская война, в которую бросились Наполеон III и его советники, чтобы спасти Империю от неизбежной республиканской революции. Война привела к жестокому разгрому Франции, к гибели Империи, к временному правительству Тьера и Гамбетты и к Парижской Коммуне, за которою последовали подобные же попытки в Сент-Этьене, Нарбонне и других южных городах Франции и позднее, в Барселоне и Картагене в Испании.

Для Интернационала — по крайней мере, для тех его членов, которые умели мыслить и извлекать пользу из уроков жизни, происшедшие события послужили уроком. Общинные (коммунальные) восстания были настоящим откровением. Социалисты видели, как отдельные, города об'явили свою независимость от Государства и свое право самим начинать новую жизнь, не дожидаясь, пока, вся нация с ее отсталыми областями согласится тоже выступить на новый путь; и они поняли, что, совершаясь под красным знаменем социальной революции, которое парижские рабочие ценой своей жизни отчаянно защищали на баррикадах, восстания городов указали, какою должна быть, какою вероятно будет *политическая форма будущей революции* среди латинских народностей.

Не демократическая Республика, как то думали в 1848 г., *а Община — свободная, независимая и, весьма вероятно, коммунистическая.*

Понятно, что спутанность мысли, царившая тогда в умах относительно того, какие политические и экономические меры нужно принять во время народной революции, чтобы обеспечить ей успех, дала себя почувствовать и во время Парижской Коммуны. Там царила та-же умственная неопределенность, которую мы видели в Интернационале.

Якобинцы, т. е. правительственные централисты с одной

коммунисты-федералисты, т. е. общинники с другой, ... представлены в парижском восстании, и очень ... Коммуне между ними стали происходить несогласия. ...ствующий элемент находился среди якобинцев и блан... Бланки сидел в тюрьме, а среди бланкистских гла... — буржуа, по большей части — уже немного осталось от ...тических идей их предшественников, последователей ... Для них, экономический вопрос был чем-то таким, чем надо ...ться *потом*, после того как восторжествует Коммуна; а ... это мнение было с самого начала очень распростра... народные коммунистические стремления не успели раз... настоящим образом. Тем более, что и сама Коммуна, ...ощенная, когда немецкие армии стояли вокруг Парижа, ...ществовала всего 70 дней.

При таких условиях поражение не заставило себя ждать, и ...дная месть трусливой, напуганной и злобной буржуазии ... доказала, что торжество народной коммуны может быть ...нуто только в том случае, если народные массы, побужда... потребностью завоеваний на *экономической почве*, со страстью ...дят в движение.

Чтобы общинная политическая революция могла восторже...ть, надо уметь провести одновременно революцию эконо...ую.

Что Парижская Коммуна сделала невозможным восстанов... монархии, которого хотела буржуазия — в этом нет сом...я. Но в то же время она дала другой важный урок, — она ...зала то, что революционный пролетариат латинских стран ... яснее понимать с тех пор истинное положение вещей.

„*Свободная Община* — такова *политическая* форма, которую ...жна будет принять *социальная* революция. Пускай вся страна, пускай все соседние страны будут против такого образа дей...ий, — но, раз жители данной общины и данной местности ...шат ввести *обобществление потребления* предметов, необхо...мых для удовлетворения их потребностей, а также обобще...ствление *обмена* этих продуктов и их производства—*они должны ...ществить это сами, у себя, на деле*, не дожидаясь решений в этом смысле национального парламента. И если они это сде...ают, — если они направят свои силы на это великое дело, то ...и найдут внутри своей общины такую силу, которой они ни...когда бы не нашли, еслиб захотели увлечь за собой всю страну со всеми ее частями — отсталыми, враждебными, или безразличными. Лучше открыто бороться против них, чем тя...нуть их за собой, как ядро, привязанное к ногам революции.

Больше того. Мы также считаем, что, если не нужно центральное правительство, чтобы приказывать свободным общи-

нам, — если национальное правительство уничтожается, и единство страны достигается помощью свободной федерации общин,— в таком случае, таким же лишним и вредным является и *центральное городское управление.* Дела, которые приходится решать внутри отдельной общины, даже в большом городе, в действительности гораздо менее сложны, интересы граждан менее разнообразны и противоположны, чем внутри страны, хотя бы она была не больше Швейцарии или одного из ее кантонов. Федеративный принцип, т. е. вольное об'единение кварталов, промышленных союзов потребления и обмена и т. д., вполне достаточен, чтобы установить внутри общины согласие между производителями, потребителями и другими группами граждан.

Парижская Коммуна дала ответ еще на один вопрос, который мучил каждого истинного революционера. Два раза Франция делала попытку провести социальную революцию—оба раза при помощи центрального правительства: первый раз в 1793 — 1794 году, когда, после изгнания жирондистов из Конвента, Франция попробовала ввести „действительное равенство", т. е. равенство настоящее, экономическое — при помощи строгих законодательных мер; и второй раз в 1848 году, когда она попробовала дать себе через Национальное Собрание „Социаль-Демократическую Республику". И оба раза она потерпела полнейшую кровавую неудачу,

Теперь сама жизнь нам подсказывала новое решение, — „Свободная Община". Община сама должна произвести революцию в своих пределах, в то же время, когда она будет освобождаться от центрального Государства. И по мере того, как выяснилось в умах это решение, стал развиваться новый идеал: *анархия.*

Мы тогда поняли, что в книге Прудона: „*Общее понятие о Революции в девятнадцатом веке*", заключалась глубоко-*практичная* мысль: идея Анархии. И мысль передовых людей латинских народностей начала работать в этом направлении.

Увы, только в латинских странах, — во Франции, Испании, Италии, в романской Швейцарии и в валонской части Бельгии. Немцы, наоборот, вынесли из свой победы над Францией совсем другое заключение: они пришли к преклонению перед государственной централизацией. Они еще остаются запутанными в робеспьеровской фазе и преклоняются пред клубом Якобинцев, как его описывают (наперекор действительности) якобинские историки.

Государство с сильно-сосредоточенною в нем властью и враждебное всякому намеку на национальную независимость; сильная лестничная централизация чиновничества и сильное правитель-

что — вот, к каким выводам пришли немецкие социалисты и радикалы. Они не хотели даже понять, что их победа над Францией была победой многочисленной армии (свыше миллиона солдат), возможной при всеобщей воинской повинности, над малочисленной французской армией (420,000), собранной при существовавшем тогда во Франции рекрутском наборе; что победа была одержана главным образом над разлагающеюся Второю Империею, когда ей уже угрожала революция, — революция, которая принесла бы пользу всему человечеству, если бы ей не помешало вторжение немцев в Францию.

Таким образом Парижская Коммуна дала толчок идее анархизма среди латинских народов.

С другой стороны, государственные стремления в Главном Совете Интернационала, обозначаясь все сильнее и угрожая всему Интернационалу, укрепили этим анархические течения; независимость национальных федераций была в нем основным началом, причем Главный Совет, существовавший только для облегчения сношений, не должен был иметь никакой власти. Между тем в 1872 году, после поражения Франции и Коммуны Главный Совет Интернационала, под руководством Маркса и Энгельса, которых поддержали в этом французские бланкисты, эмигрировавшие в Лондон после Парижской Коммуны, воспользовался данными ему правами чтобы произвести насильственный переворот.

Созвавши, вместо всеобщего, международного с'езда небольшую „Конференцию“ из своих приверженцев, Совет заменил в программе действий Союза прямую борьбу Труда против Капитала агитацией в буржуазных парламентах. Этот переворот убил Интернационал, но открыл многим глаза. Даже самые доверчивые увидали, как глупо поручать ведение своих дел правительству, — хотя бы оно было избрано на таких демократических началах, как это было при избрании Главного Совета Интернационала. Таким образом Федерации Испанская, Итальянская, Юрская, Валлонская и одна английская секция восстали против власти Главного Совета [1]).

В лице Бакунина, анархическое направление, начавшее развиваться в Интернационале, нашло могучего и страстного защитника. Вокруг Бакунина и его Юрских друзей быстро сплотился небольшой круг молодых швейцарцев, итальянцев и испанцев, который дал более широкое развитие его мыслям.

Пользуясь своими широкими познаниями в истории и фило-

---

[1]) Чтобы познакомиться с подробностями этого переворота и с его последствиями, надо прочесть прекрасную историческую работу Джемса Гильома об Интернационале, или же сокращенное изложение этого труда, приготовляемое теперь д-ром Брупбахером.

софии, Бакунин дал обоснование современному анархизму в целом ряде сильных брошюр, статей и писем.

Он храбро выступил с мыслью о совершенном уничтожении Государства, со всем его устройством, его идеалом и его целями. В свое время, в прошлом, Государство являлось историческою необходимостью. Это было учреждение, роковым образом развившееся из влияния, приобретенного религиозными кастами. Но теперь полнейшее уничтожение Государства является в свою очередь исторически необходимым, потому что Государство — это отрицание свободы и равенства; потому что оно только портит все, за что принимается, даже тогда, когда хочет провести в жизнь то, что должно служить на пользу всем.

Каждый народ, как бы мал он ни был, каждая община, а в общине все професиональные, производительные и потребительные союзы должны иметь возможность свободно устроиться, как они это понимают поскольку они не угрожают своим соседям. То, что на политическом наречии называется „федерализмом“ и „автономиею“, еще не достаточно; это только слова, которые прикрывают власть централизованного Государства [1]). Полнейшая независимость общины, союз свободных общин и социальная революция внутри общины т. е. корпоративные группировки людей для производства, которые заменят государственную организацию существующего теперь общества—вот идеал, который, как показал Бакунин, встает теперь перед нашею общественностью по мере того, как мы выходим из мрака прошедших веков. Человек начинает понимать, что он не будет совершенно свободен, пока в такой же степени не будет свободно все вокруг него.

В своих экономических взглядах Бакунин был полнейшим коммунистом, но по уговору со своим друзьями федералистами из Интернационала, он называл себя анархическим коллективистом, отдавая дань недоверию, которое вызвали к себе во Франции коммунисты госуударственники. Однако его коллективизм конечно не был коллективизмом Видаля, Пеккера, ни их нынешних последователей, которые стремятся просто к *государственному капитализму*. Для него, как и для его друзей, коллективизм означал общее владение всем, что служит для производства, не определяя заранее, в какой форме будет производиться вознаграждение труда среди различных групп производителей: примут ли они комму-

---

[1]) Так напр. в Австрии существует „федерализм“, т. е. отдельные народности (чехи, венгерцы) имеют свои парламенты, состоящие в союзном (федеральном) договоре между собою; но Богемия, Венгрия представляют собою отдельные союзные государства. Примеры значительной „автономии“, т. е. значительной независимости, мы имеем в городах Соединенных Штатов и Канаде. Но от „автономии“ Северо-Американских городов до полной *независимости*, какою пользовались с 12-го по 16-ый и 17-ый век Амиен, Флоренция, Нюренберг, Псков, Новгород и многих других европейских городов, еще очень далеко.

-истическое решение, или же предпочтут марки труда, или равную для всех поденную заработную плату, или какое либо другое решение.

При своих анархических взглядах он был одновременно горячим пропагандистом социальной революции, скорое пришествие которой в то время предвидело большинство социалистов, и которую он горячо проповедывал в своих письмах и сочинениях.

XIII.

АНАРХИЯ (Продолжение).

Анархическое учение в его современном виде.

Если накануне 1848 года и в последующие годы, вплоть до Интернационала, возмущение против государства принимало форму возмущения отдельной личности против общества и его условной нравственности, и проявлялось главным образом среди молодого поколения буржуазии, то теперь, в рабочей среде, оно приняло более серьезный характер. Оно преобразилось в искание новой формы общества, свободного от притеснений и эксплуатации, которым теперь способствует Государство.

Интернационал, по мысли основавших его рабочих, должен был быть, как мы видели, обширным Союзом (федерациею) рабочих групп, которые являлись бы начатком того, чем сможет стать общество, обновленное социальною революциею: общество, в котором современный правительственный механизм и капиталистическая эксплуатация должны исчезнуть и уступить место новым отношениям между федерациями производителей и потребителей,

При этих условиях идеал анархизма не мог более быть *личным*, как у Штирнера: он становился идеалом *общественным*.

По мере того, как рабочие обеих частей света ближе знакомились между собою и вступали в непосредственные сношения, не взирая на разделявшие их границы, они начинали лучше разбираться в социальном вопросе и с большим доверием относились к своим собственным силам.

Они предвидели, что, если бы землею стал владеть народ, и если бы промышленные рабочие, завладев фабриками и мастерскими, стали бы сами управлять промышленностью и направлять ее на производство всего необходимого для жизни народа, то тогда не трудно было бы широко удовлетворять все основные потреб-

ности общества. Недавние успехи науки и техники являлись залогом успеха. И тогда производители различных наций сумели бы установить международный обмен на справедливых основаниях. Для тех, кто был близко знаком с фабриками, заводами, копями, земледелием и торговлею, это не подлежало ни малейшему сомнению.

В то же время все больше росло число рабочих, которые понимали, что Государство, со своей чиновничей иерархией и с тяжестью лежащих на нем исторических преданий, не может не быть тормазом нарождению нового общества, свободного от монополий и эксплуатации.

Само историческое развитие государства было вызвано ничем иным, как возникновением земельной собственности и желанием сохранить ее в руках одного класса, который таким образом стал бы господствующим. Какие же средства может доставить государство для уничтожения этой монополии, если сами трудящиеся не смогут найти этих средств в своих собственных силах и в своем об'единении? В течение девятнадцатого века государство неимоверно усилилось в смысле утверждения монополий промышленной собственности, торговли и банков в руках вновь разбогатевших классов, которым оно доставляло дешевые рабочие руки, отнимая землю у деревенских общин и сокрушая крестьян непосильными налогами. Какие преимущества может доставить *государство*, чтобы уничтожить эти самые привиллегии, если у крестьян не будет сил об'единиться и добиться этого самим? Государственный механизм, развиваясь, имел своей целью созидание и укрепление привилегий — как же может он послужить их уничтожению? Разве такая новая деятельность не потребует новых исполнительных органов? И разве эти исполнительные органы не должны быть созданы теперь самими рабочими, внутри *их* союзов, *их* федераций, без всякого отношения к государству?

Тогда, когда падут созданные и поддерживаемые государством преимущества для отдельных лиц и классов, существование государства потеряет всякий смысл. Совершенно *новые* формы общежития должны будут возникнуть, раз отношения между людьми перестанут быть отношениями между эксплуатируемыми и эксплуататорами. *Жизнь упростится*, когда станет излишним механизм, существующий для того, чтобы помогать богатым еще более богатеть за счет бедных.

Представляя себе мысленно свободные общины, сельские и городские (т. е. земельные союзы людей, связанных между собой по месту жительства), и обширные профессиональные и ремесленные союзы (т. е. союзы людей по роду их труда), причем общины и профессиональные и ремесленные союзы тесно переплетаются между собою,— представляя себе такое устройство взаимных от-

ношении между людьми, анархисты могли уже составить себе определенное конкретное представление о том, как может быть организовано общество, освободившееся от ига Капитала и Государства. К этому им оставалось только прибавить, что рядом с общинами и профессиональными союзами будут появляться тысячами бесконечно-разнообразные общества и союзы: то прочные, то эфемерные, возникающие среди людей *в силу сходства их личных наклонностей.* Мало ли у людей общих интересов, общественных, религиозных, художественных, ученых, в целях воспитания, исследования, или даже просто развлечения! Такие союзы, вне всяких политических или хозяйственных целей, создаются уже теперь во множестве; число их несомненно должно расти, и они будут тесно переплетаться с другими союзами, как земельными, так и союзами для производства, для потребления и для обмена продуктов.

Эти три рода союзов, сетью покрывающих друг-друга, дали бы возможность удовлетворять всем общественным потребностям: потребления, производства и обмена, путей сообщения, санитарных мероприятий, воспитания, взаимной защиты от нападений, взаимопомощи, защиты территории; наконец—удовлетворения потребностей художественных, литературных, театральных, а также потребностей в развлечениях и т. п. Все это—полное жизни и всегда готовое отвечать на новые запросы и на новые влияния общественной и умственной среды, и приспособляться к ним.

Если бы общество такого рода развивалось на достаточно обширной и достаточно населенной территории, где самые различные вкусы и потребности могли бы проявить себя, то всем скоро стала бы ясна ненужность каких бы то ни было начальственных принуждений. Бесполезные для поддержания экономической жизни общества, эти принуждения были бы столь же бесполезны для того, чтобы помешать большинству противообщественных деяний.

И в самом деле, в современном Государстве самой большой помехой развитию и поддержанию нравственного уровня, необходимого для жизни в обществе, является отсутствие общественного равенства. Без равенства—„без равенства на деле", как выражались в 1793 году,—чувство *справедливости* не может сделаться общим достоянием. *Справедливость должна быть одинакова для всех*; а в нашем обществе, расслоенном на классы, чувство равенства терпит поражения каждую минуту, на каждом шагу. Чтобы чувство справедливости по отношению ко всем вошло в нравы и в привычки общества, надо, чтобы *равенство существовало на деле.* Только в обществе равных мы найдем справедливость.

Тогда потребность в принуждении, или, вернее, желание

прибегать к принуждению перестало бы проявляться. Всякому стало бы ясно, что нет нужды стеснять личную свободу, как это делается теперь, то страхом наказания, судебного или свыше, то подчинением людям, признанным высшими, то преклонением перед метафизическими существами, созданными страхом или невежеством. Все это, в современном обществе, ведет только к умственному рабству, к принижению личной предприимчивости, к понижению нравственного уровня людей, к остановке движения вперед.

В среде равных, человек мог бы с полным доверием предоставить собственному разуму направлять себя; ибо разум, развиваясь в такой среде, *необходимо* должен был бы нести на себе печать общительных привычек среды. В таких условиях—и только в таких условиях—человек мог бы достичь полного развития своей *личности*, между тем как восхваляемый в наше время буржуазией индивидуализм, якобы являющийся для „высших натур" средством достижения полного развития человеческого существа,—есть только самообман. Восхваляемый ими индивидуализм, наоборот, является самой верной помехой для развития всякой ярко выраженной личности.

В нашем обществе, которое преследует *личное обогащение*, и тем самым осуждено на всеобщую бедность в своей среде, самый способный человек осужден на жестокую борьбу, ради приобретения средств необходимых для поддержки его существования. Как бы ни были скромны его требования, он работает как вол, шесть дней из семи, только чтобы добыть себе кров и пищу. Что-же касается тех, в сущности очень немногих лиц, которым удается отвоевать, кроме того, известный досуг, необходимый для свободного развития своей личности, то современное общество разрешает им пользоваться этим досугом только под одним условием: *надеть на себя ярмо законов и обычаев буржуазной посредственности*, и никогда не потрясать основ этого царства посредственности ни слишком едкою критикою, ни личным возмущением.

„Полное развитие личности" разрешается только тем, кто не угрожает никакою опасностью буржуазному обществу,—тем, кто для него *занимателен*, но не опасен.

Как мы уже сказали, анархисты основывают свои предвидения будущего на данных, добытых путем наблюдения.

В самом деле, если мы будем разбирать направления мысли, преобладающие в образованных обществах с конца восемнадцатого века, мы должны признать, что направление централистское и государственное еще очень сильно среди духовенства, буржуазии и тех рабочих, которые получили буржуазное образование и

[illegible] тогда как напряжение [illegible] [illegible] бур-жуазии.

[illegible] моих работах [illegible] Государства и Церкви, [illegible] и т. д.), [illegible] будут [illegible] разовьют свою деятельность свободные организации.

[illegible] в этом направлении, а Анархия есть выражение того и другого.

Отрицание государства.

Надо, конечно, признать, что на экономических понятиях анархистов сказалось вообще хаотическое состояние, в котором находится наука о политической экономии. Среди них, как и среди социалистов-государственников, мнения по этому предмету делятся.

Подобно всем тем членам социалистических партий, которые зовут себя социалистами, анархисты считают, что существующая [illegible] необходимое для [illegible] так же [illegible] система производства, [illegible] наживы [illegible] есть [illegible], что современные наши общества должны уничтожить эту систему, если они не хотят погибнуть, как погибло уже множество древних цивилизаций.

Что же касается тех средств, при помощи которых могла бы произойти эта перемена, то тут анархисты находятся в полном

противоречии со всеми фракциями социалистов-государственни ков. Они отрицают возможность разрешить задачу при помощ *Государственного Капитализма*, т. е. захвата Государством всег общественного производства, или же его главных отраслей. Пере дача почты, железных дорог, рудников, земли, в руки современ ного государства, т. е. в управление назначаемых парламент министров и их чиновничьих канцелярий, не является для на идеалом. Мы в этом видим только новую форму закрепощени рабочих и эксплуатации рабочего капиталистом. И мы, конечно не верим, чтобы государственный капитализм был путем к уни чтожению закрепощения и эксплуатации, или же одной из пере ходных ступеней на пути к этой цели.

Таким образом, пока социализм понимался в его настояще и широком смысле, как освобождение Труда от эксплуатаци его Капиталом, анархисты шли в согласии с теми, кто тогда был социалистами. И те и другие предвидели социальную революци и желали ее наступления; причем анархисты надеялись, что рев люция породит новую без-государственную форму общества, тогд как социалисты, из которых весьма многие были тогда еще ком мунистами, не стремились точно определить, в какой форме он представляли себе будущий переворот, а многие из них соглас лись, что надо непременно ослабить центральную власть.

Но анархистам пришлось окончательно отмежеваться, когд если не большинство, то очень сильная фракция социалисто государственников прониклась мыслью, что совсем не требует *уничтожать* капиталистическую эксплуатацию, что для наше поколения и для той ступени экономического развития, на котор мы находимся, не требуется ничего другого, как *уменьшит* эксплуатацию, заставив капиталистов подчиниться известным з конодательным ограничениям.

С этим анархисты не могли согласиться. Мы утверждаем, ч если мы в будущем хотим достичь уничтожения капиталистич ской эксплуатации, то уже *теперь, с сегодняшнего же дня* м должны направлять наши усилия к уничтожению этой эксплу тации. Уже теперь мы должны стремиться к непосредственн передаче всего, что служит для производства угольных копе рудников, заводов, фабрик, путей сообщения и, в особеннос всего необходимого *для жизни производителей* из рук личн Капитала в группы производителей,— стремиться к этому и д ствовать соответственным образом.

Кроме того, мы должны очень беречься от передачи сред существования и производства *в руки современного буржуазн Государства*. В то время, как социалистические партии во в Европе требуют передачи железных дорог, производства со рудников и угольных копей, банков (в Швейцарии) и монопол

спирта *буржуазному Государству в современном его виде*, мы видим в этом захвате общественного достояния буржуазным государством одно из самых больших препятствий какие только можно воздвигнуть, чтобы помешать переходу этого достояния в руки *трудящихся, производителей и потребителей.*

Мы в этом видим средство к усилению капиталиста, к росту его сил, направленных на борьбу против возмутившегося рабочего. Наиболее проницательные из среды капиталистов прекрасно это понимают. Они понимают, что их капиталы, например, будут гораздо сохраннее и их дивиденды—гораздо *надежнее*, если они будут вложены в железные дороги, принадлежащие государству и управляемые государством по военному образцу. Для тех, кто привык задумываться над социальными явлениями в их совокупности, нет ни тени сомнения относительно следующего положения, которое может считаться общественной аксиомой: „Нельзя готовить социальные перемены, не делая никаких шагов в направлении желательных перемен. Мы будем удаляться от нашей цели, если пойдем этим путем". И в самом деле, это значило бы удаляться от момента, когда производители и потребители станут сами хозяевами производства, если начать с передачи производства и обмена в руки парламентов, министерств, современных чиновников, которые теперь *не могут быть ничем иным, как орудиями крупного капитала*, так как все государство теперь зависит от него.

Нельзя уничтожить созданные в прошлом монополии, создавая новые монополии, всегда в пользу тех же прежних монополистов.

Мы не можем также забыть, что Церковь и Государство были той политической силой, к которой привилегированные классы—в ту пору, когда они только еще начинали утверждаться,—прибегали, чтобы сделаться законными обладателями всяких привилегий и прав над остальными людьми. Государство было именно тем учреждением, которое укрепило уверенность с обеих сторон в праве пользования этими привилегиями. Оно было выработано, создано веками с тем, чтобы утвердить господство привилегированных классов над крестьянами и рабочими. И, вследствие этого, ни Церковь, ни Государство не могут теперь сделаться тою силою, которая послужила бы к уничтожению этих привилегий. Тем более ни Государство, ни Церковь не могут быть той формой общественного устройства, которая возникнет, когда уничтожены будут эти привилегии. Наоборот, история нас учит, что каждый раз, когда в недрах наших зарождалась какая-нибудь новая хозяйственная форма общежития (напр., замена рабства крепостным правом, или крепостного права—наемным трудом), всегда в таких случаях приходилось вырабатывать *новую форму политического общежития.*

Точно также, как Церковь [illegible] не могут быть [illegible] хорища, [illegible] или—чтобы дать [illegible] ственности; [illegible] нести и [illegible] ними, [illegible] когда [illegible] давались [illegible] использовать их в пользу духовенства,—точно также и экономическое [illegible] старые [illegible] стве. [illegible] стренних [illegible] ме[illegible] ское [illegible] чел[illegible] хич [illegible] работа[illegible] бодите[illegible]

А[illegible] мам [illegible] бьют они [illegible] великих [illegible] сила народных масс, при помощи [illegible].

Вот почему [illegible] и от [illegible] социальную [illegible] законы, если [illegible] влиянием улицы [illegible] могут быть [illegible] Палате [illegible] разных тре[illegible] той, законы [illegible] *в известном направлении* [illegible] народа, чтобы она [illegible] тельность, свои [illegible] проведения в жизнь [illegible] направлений [illegible] буется, *чтобы [illegible]*, [illegible] вести формулы и пожелания закона в [illegible]

В силу тех же причин, с самого [illegible] ционала вплоть до наших дней, многие [illegible]

[illegible] Что вышло бы, например, [illegible] крепостное право, если бы на месте не [illegible] военного губернатора и властями [illegible] ные [illegible] Мировых Посредников в обу[illegible]

[illegible] в рабочих [illegible] [illegible] Государства Коммунизма [illegible] скорее, [illegible] обмен [illegible] помощи ни капиталиста, ни Государства.

[illegible] в обществе, [illegible] то [illegible] мы это уже видели, мнения анархистов расходятся.

[illegible] сходятся в отрицании той новой формы заработной платы, которая появилась бы, если б Государство взяло в свои руки орудия производства и обмен, подобно тому, как оно уже [illegible] государственная церковь и т. [illegible] бы новое могучее орудие [illegible]

Поэтому большинство [illegible] в настоящее [illegible] Постепенно среди думающих об этом вопросе ск[illegible] мере [illegible] представ[illegible], что в [illegible] ком[illegible] т. е. [illegible] добываемых всеми сообща.

Таким образом [illegible] Коммунизм и Анархия необходимо дополняют друг-друга.

Но [illegible] течение [illegible] су[illegible] в Анархии [illegible]. Об этом течении мы скажем теперь несколько слов.

Индивидуалистическое направление.

Индивидуалистическое направление в Анархии представляется пережитком давно прошедших времен, когда средства производства не достигли еще той степени совершенства, какую придают им современная наука и прогресс техники, и когда, вследствия недостаточности всего производства, в коммунистическом общества видели неизбежность общей нищеты и общего порабощения.

Индивидуалистическое направление в Анархии имеет, конечно, главным своим основанием желание сохранить в полноте независимость личности. В этом оно идет вполне рука-об-руку с коммунистическим направлением. Оба стремятся к тому, чтобы никакие общественные цепи,— в роде тех, которые налагала старозаветная семья, или городская община, или цех (гильдия), в то время, когда они уже вымирали — не стесняли свободного развития личности. В этом одинаково заинтересованы и коммунист-анархист, и индивидуалист вообще.

Но индивидуалистский анархизм является также противником коммунистского анархизма; и тогда несогласие между ними бывает основано, по нашему мнению, на недоразумении.

Всего каких-нибудь пятьдесят или шестьдесят лет тому назад, самый скромный достаток и возможность располагать частью своего свободного времени были достоянием лишь весьма небольшого числа людей, эксплоатировавших труд других и живших трудом рабочих, крестьян или рабов. Поэтому те, кому дорога была экономическая независимость, со страхом ждали дня, когда им нельзя будет принадлежать к небольшой привилегированной кучке людей. В личной собственности они видели тогда единственное спасение для обеспечения человеку достатка, досуга, свободы. Не надо забывать, что в то время Прудон оценивал *все* производство Франции всего *в пять су, т. е. в 12 копеек, в день на человека*.

Однако теперь это затруднение перестало существовать. При наличности огромной производительности человеческого труда, которая достигнута нами в земледелии и промышленности (см., например, мою работу „Поля, Фабрики и Мастерския“), не подлежит никакому сомнению, что очень высокая степень достатка для всех могла бы быть достигнута легко и в короткое время, при помощи умно организованного коммунистического труда; причем от каждого отдельного лица потребовалось бы не более 4—5 часов работы в день; а это дало-бы возможность иметь, по крайней мере, пять совершенно свободных часов в день, после удовлетворения всех главных потребностей: жилья, пищи и одежды.

Таким образом возражение о всеобщей бедности при коммунизме, а следовательно и подавлении всех тяжелою работою, совершенно отпадает. Остается только желание — совершенно справедливое желание, сохранить для личности наибольшую свободу, рядом с выгодами общественной жизни, т. е. возможность каждой личности в полности развивать свои личные таланты и особенности.

Как бы то ни было, анархический индивидуализм, т. е. направление, ставящее во главу своих желаний полную независимость личности без всякой заботы о том, как сложится общество, —это направление в настоящее время подразделяется на две главные ветви. Во-первых, есть чистые индивидуалисты толка Штирнера, которые в последнее время нашли подкрепление в художественной красоте писаний Нитцше. Но мы не станем долго на них останавливаться, так как в одной из предыдущих глав уже указали, насколько „утверждение личности“ метафизично и далеко от действительной жизни; насколько оно оскорбляет чувство равенства — основу всякого освобождения, т. к. *нельзя освобождаться, желая господствовать над другими*; и насколько оно приближает тех, кто зовет себя „индивидуалистами“, к привилегированному меньшинству: к духовенству, буржуа, чиновникам и т. п., которые также считают себя стоящими выше толпы и которым мы обязаны Государством, Церковью, Законами, Полицией, Военщиной и всевозможными вековыми притеснениями.

Другая ветвь „анархистов-индивидуалистов“ состоит из „мютюэлистов“, — т. е. последователей *Взаимности* Прудона. Эти анархисты ищут разрешения социальной задачи в свободном, добровольном союзе тысячей мелких союзов, который ввел бы обмен продуктами при помощи „марок труда“. Марки труда обозначали бы число рабочих часов, необходимых для производства известного предмета, или же число часов, которые были потрачены отдельным лицом на производство общественно-необходимой работы.

Но в сущности, такое устройство общества вовсе не индивидуализм, — оно вовсе не является презрением общественности, и возвеличением личности в противность обществу. Напротив того, оно является, подобно коммунизму, одною из высших форм *общественности*, по сравнению с теперешним строем. Его можно упрекнуть только в том, что оно представляет сделку (компромисс) между коммунизмом и индивидуализмом, так как проповедует коммунизм — во владении всем, что служит для производства, и индивидуализм, т. е. сохранение теперешней заработной платы, личный рассчет — в вознаграждении за труд.

Эт[illegible] возможность и [illegible], неопределенным [illegible] для [illegible] формы общежития [illegible] противоположн[illegible] [illegible] а с друг[illegible] на то что [illegible] орудий, и [illegible] что бес[illegible] [illegible].

Не надо также [illegible] в машинах и в способах производства [illegible], когда в большом обществ[illegible] [illegible] этого разнообразия мы постоянно видим, что с [illegible] с таким-то оборудованием производства удается [illegible] при той же затрате труда и времени, вдвое или втрое больше, чем когда работают более отсталыми машинами. Так, например, в ткацком деле в настоящее время употребляются такие разнообразные станки, что число станков, которыми может управлять один человек, разнится от трех до двенадцати и до двадцати (в Америке). Затем, не следует также упускать из виду разницу в мускульной и мозговой силе, которую приходится расходовать отдельным рабочим в различных отраслях производства. И если принять во внимание все эти различия, то невольно приходится спросить себя, — сможет ли когда-нибудь рабочий час служить мерилом для *торгового* обмена продуктами.

Современный торговый обмен в капиталистическом обществе понятен; но нельзя понять *торгового* обмена, основанного на числе рабочих часов, потребных для производства данного товара в обществе, *[illegible] когда рабочий [illegible]*, если рабочая сила перестанет быть [illegible] *ным* товаром. Рабочий час мог бы служить мерилом для установления равноценности продуктов (или скорее для приблизительной оценки) только в обществе, которое [illegible] приняло бы коммунистический принцип для большинства предметов первой необходимости.

Если же, в виде уступки [illegible] личного вознаграждения было бы [illegible], кроме вознаграждения за „простой" рабочий час, еще особое вознаграждение за „квалифицированный" труд, требующий предварительного обучения, или же если бы люди вздумали принимать во внимание „возможности повышения" в иерархии [illegible] служащих, то этим были бы восстановлены те самые отличительные черты современной заработной платы

[illegible] которые нам хорошо известны и которых [illegible] от [illegible]. [illegible], что [illegible] „взаимн[illegible] в Соединенных [illegible], к сожалению, содействовать [illegible] организаций.

[illegible] анархи[illegible], которые в [illegible] [illegible] (Л. [illegible], Р. [illegible], В. [illegible]) [illegible] мыслителем, [illegible] С[illegible] [illegible], а в самое недавнее [illegible] (Tucker), многолетним издателем журнала Liberty (Свобода).

[illegible] Прудона, но также (у Т[illegible]) и от Герберта Спенсера. Они [illegible], что для анархиста [illegible], [illegible]. [illegible], каждый [illegible] „[illegible]" [illegible], как им угодно, [illegible] у них хвати[illegible]. [illegible], говорит Тэккер, [illegible] бы [illegible] никакой опасн[illegible], что [illegible] отдельного лица было [illegible] „[illegible]" всех других.

[illegible], по нашему мнению, значит [illegible] дань метафизике и делать со[illegible] предположения. Говорить, что кто-нибудь [illegible] „[illegible]" уничтожать все человечество, если у него [illegible], и вместе с тем утверждать, что „права" каждого [illegible] такими же правами всех, представляется нам чисте[illegible] диалектикою, [illegible] метафизи[illegible]. Для нас, правду сказать, такие „словеса" лишены смысла.

Если [illegible] действительной жизни [illegible], то нет никакой [illegible] себе какое [illegible] было общество, или даже [illegible] людей, [illegible] какое бы то ни было [illegible] дело, в котором дела [illegible] касались бы многих [illegible]. Еще менее [illegible] представить себе общество, в [illegible] постоянные [illegible] отношения между его членами не [illegible] бы интереса каждого [illegible] почти [illegible] и не сделали бы для него просто невозможным [illegible], не думая о последствиях его поступков для общества.

Вот почему Тэккер, подобно Спенсеру, [illegible] раскритиковав Государство, и высказав очень [illegible] мысли в за-

щиту прав отдельной личности, но признав также личную собственность на землю, кончил тем, что воссоздал в лице „организаций для защиты“ других то-же Государство, чтобы помешать гражданам-индивидуалистам делать зло друг другу. Правда, что Тэккер признает за таким государством только право *защищать* своих членов, но это право и эти отправления приводят к установлению государства с теми же правами, какими оно пользуется в настоящее время. Действительно, если вглядеться внимательно в историю развития государства, видно, что оно создалось именно под предлогом защиты прав отдельной личности. Его законы, его чиновники, уполномоченные охранять интересы обиженной личности; его лестничное чино-подчинение, установленное, чтобы наблюдать за исполнением законов; его университеты, открытые для того, чтобы изучать источники законов; и, наконец, Церковь, долженствующая освятить идею закона; его разделение общества на классы для поддержания „порядка“; его обязательная военная служба, созданные им монополии, наконец все его пороки, его тирания — все, все это вытекает из одного главного положения: кто-то, вне самой общины, вне самого мира, или союза, берет на себя охранение прав личности, на тот случай, если их начнет попирать другая личность, и понемногу этот охранитель становится владыкою, тираном.

Эти беглые заметки об'ясняют, почему индивидуалистические системы анархизма, если они и находят сторонников среди буржуазной интеллигенции, не распространяются однако среди рабочих масс. Но это не мешает, конечно, признать большое значение *критики*, которой анархисты-индивидуалисты подвергают своих собратий коммунистов: они предостерегают нас от увлечения центральною властью и чиновничеством, и заставляют нас постоянно обращать нашу мысль к свободной личности, как источнику всякого свободного общества. Наклонность впадать в старые ошибки чиноначалия и власти, как мы знаем, слишком распространена даже среди передовых революционеров.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время учение анархистов-коммунистов, более других решений, завоевывает симпатии тех рабочих, — принадлежащих главным образом к латинской расе — которые задумываются о предстоящих им в ближайшем будущем революционных выступлениях, и вместе с тем потеряли веру в „спасителей“ и в благодеяния Государства.

Рабочее движение, дающее возможность сплачиваться боевым силам рабочих и удаляющее их от бесплодных политических партийных столкновений, а также позволяющее им измерить свои силы более верным способом, чем путем выборов — это

движение сильно способствует развитию анархо-коммунистического учения.

Поэтому, можно без преувеличения надеяться, что, когда начнутся серьезные движения среди трудовых масс в городах и селах, то несомненно будут сделаны попытки в анархо-коммунистическом направлении, и что эти попытки будут глубже и плодотворнее тех, которые были сделаны французским народом в 1793—1794 годах.

XIV.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ АНАРХИЗМА.

Право и закон, с точки зрения метафизики и естествознания. — „Категорический императив" Канта и экономические вопросы, с тех же двух точек зрения. — Тоже относительно понятия о Государстве.

После того, как мы изложили происхождение анархизма и его принципы, мы теперь дадим несколько примеров, взятых из жизни, которые позволят нам точнее определить положение наших воззрений в современном научном и общественном движении.

Когда, например, нам говорят о Праве, с прописной начальной буквой, и заявляют, что „Право есть об'ективированье Истины", или что „законы развития Права суть, законы развития человеского духа", или еще, что „Право и Нравственность суть одно и тоже и различаются только формально", мы слушаем эти звучные фразы с столь же малым уважением, как это делал Мефистофель в „Фаусте" Гете. Мы знаем, что те, кто писали эти фразы, считая их глубокими истинами, употребили известное усилие мысли, чтобы до них додуматься. Но мы знаем также, что эти мыслители шли ложной дорогой, и видим в их звучных фразах лишь попытки бессознательных обобщений, построенных на совершенно недостаточной основе, и кроме того затемненных таинственными словами, чтобы гипнотизировать этим людей.

В прежнее время Праву старались придать божественное происхождение; затем стали подыскивать метафизическую основу; а теперь мы можем уже изучать происхождение правовых понятий и их развитие точно так же, как стали бы изучать развитие ткацкого искусства или способ делать мед у пчел. И, пользуясь трудами, сделанными антропологической школой в 19-м веке, мы изучаем общественные обычаи и правовые понятия, начиная с

[illegible]

чает их от установлявших я путем обычая правил, которые [illegible]

[illegible]

диться иначе, как путем кровавых революций.

[illegible] То же [illegible]

[illegible]

новика.

[illegible]

законы.

[illegible] все [illegible] для него равноценна рабству, и [illegible] равенства.

Когда нам возражают, что, отрицая закон мы отрицаем этим самым всякую нравственность, потому что не призна [illegible] [illegible] понятный язык, — как это делал, например, Лаплас, когда он [illegible] образом, — почему вы этого не делаете?"

В самом деле, что собственно хотят сказать, когда говорят нам о [illegible] у всех людей есть эта мысль: „не делай другому того, чего не [illegible] Давайте изучать (как уже это делали Гетчесон и Адам Смит), [illegible]

[illegible] ственность, насаждая в то же время идеи неравенства?

[illegible] Тогда мы узнаем, на сколько этому помогает религия, экономическое

[illegible] человека.

и политическое неравенство, установленное законом, а также закон, наказание, тюрьма, судья, тюремщик и палач?

Исследуем все это подробно, каждое в отдельности, — и тогда уже станем говорить с основанием о нравственности и нравственном влиянии закона, суда и полицейского. Громкие-же слова, служащие только прикрытием поверхностности нашего полузнания, мы лучше оставим в стороне. Может быть, они были неизбежны в известную эпоху; но вряд-ли они были полезны когда-либо; теперь-же, раз мы в состоянии начать изучение самых жгучих общественных вопросов таким же способом, как садовник и ботаник изучают наиболее благоприятные условия для роста растений, давайте приступим к этому.

То же самое в экономических вопросах. Так, когда экономист говорит нам: „в совершенно открытом рынке ценность товаров измеряется количеством труда, общественно необходимого для их производства (смотри Рикардо, Прудона, Маркса и многих других), мы не принимаем этого утверждения, как абсолютно верное, потому только, что оно сказано такими авторитетами, или потому, что нам кажется „чертовски социалистичным" говорить, что труд есть истинное мерило ценности товаров. „Возможно", скажем мы, „что это верно. Но не замечаете-ли вы, что, делая такое заявление, вы утверждаете, что ценность и количество труда обязательно *пропорциональны* друг другу, — точно также, как скорость падающего тела пропорциональна числу секунд, втечение которых оно падало? Таким образом вы утверждаете, что есть известное *количественное соотношение* между этими двумя величинами; и тогда — сделали ли вы измерения и наблюдения, *измеряемые количественно*, которые единственно могли бы подтвердить ваше заявление о *количествах*?

„Говорить же, что *вообще* меновая ценность увеличивается, если количество необходимого труда больше, вы можете. Такое заключение уже и сделал Адам Смит. Но говорить, что *вследствие* этого две эти величины *пропорциональны*: что одна является *мерилом другой*, — значило бы сделать грубую ошибку, как было бы грубой ошибкой, сказать, например, что количество дождя, который выпадет звтра, будет пропорционально количеству миллиметров, на которое упадет барометр ниже среднего уровня, установленного для данной местности в данное время года. Тот, кто первый заметил, что есть известное соотношение между низким стоянием барометра и количеством выпадающего дождя, и кто понял что камень, падая с большой высоты, приобретает большую быстроту, чем камень, падающий с высоты одной сажены,— эти люди сделали научные открытия (как и Адам Смит по отношению к ценности). Но человек, который будет после них утвер-

ждать, что количество падающего дождя *измеряется* количеством делений, на которое барометр опустился ниже среднего уровня, или, что расстояние, пройденное падающим камнем пропорционально времени падения и измеряется им, — сказал бы глупость. Кроме того, он показал бы этим, что *метод научного исследования* для него абсолютно чужд, как бы он ни щеголял словами, заимствованными из научного жаргона".

Заметим, кроме того, что, если бы, в виде оправдания нам стали бы говорить об отсутствии точных данных для установления, в точных измерениях, *ценности* товара и *количества* необходимого для его производства труда, то это оправдание было бы недостаточно. Мы знаем в естественных науках тысячи подобных случаев соотношений, в которых мы видим, что две величины зависят друг от друга, и что, если одна из них увеличивается, то увеличивается и другая. Так, например, быстрота роста растения зависит, между прочим, от количества получаемого им тепла и света; или откат пушки увеличивается, если мы увеличим количество пороха, сжигаемого в заряде.

Но какому ученому, достойному этого имени, придет в голову дикая мысль утверждать (*не измерив их количественные соотношения*), что *вследствии этого* быстрота роста растения и количество полученного света или откат пушки и заряд сожженного пороха, *суть величины пропорциональные*: что одна должна увеличиться в два, три, десять раз, если другая увеличилась в той же пропорции: иначе говоря, что они *измеряются* одна другою, как это утверждают после Рикардо относительно ценности товара и затраченного на него труда?

Кто, сделав гипотезу, предположение, что отношения подобного рода существуют между двумя величинами, осмелился бы выдавать эту гипотезу за *закон*? Только экономисты или юристы, — т. е. люди, которые не имеют ни малейшего представления о том, что в естественных науках понимается под словом „закон", могут делать подобные заявления.

Вообще отношение между двумя величинами очень сложная вещь, и это относится к *ценности и труду*. Меновая ценность, и количество труда именно *не пропорциональны* друг другу: одна *никогда не измеряет* другую. Это именно и заметил Адам Смит. Сказав, что меновая ценность каждого предмета измеряется количеством труда, необходимого для его производства, он вынужден был прибавить (после изучения ценностей товаров), что, если так было при существовании первобытного обмена, то *это прекратилось при капиталистическом строе*. И это совершенно верно. Капиталистический режим *вынужденного труда* и *обмена ради наживы* разрушил эти простые отношени и ввел много новых причин, которые изменили отношения между трудом и

[illegible]. Не обращать [illegible] внимания значит — не разрабатывать [illegible] [illegible], [illegible] идеи и [illegible] [illegible].

То же замечание, которое мы только что высказали относительно ценности, относится почти ко всем экономическим положениям, [illegible] — особенно среди социалистов, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] не только [illegible] из этих [illegible] не [illegible], но мы [illegible] еще что [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] нам, анархистам, в [illegible] [illegible] [illegible] экономистам, [illegible] [illegible]. Так как [illegible] [illegible] и другим, то [illegible] „[illegible] природы“, хотя [illegible]. [illegible], что [illegible]. Он выражается [illegible] в природе [illegible] будут [illegible], существовании [illegible] находится [illegible] [illegible], которые [illegible] будут [illegible] закон всемирного тяготения.“

И так [illegible] какое-нибудь *если*, какое-нибудь *условие*.

[illegible] все так-называемые законы и теории политической экономии [illegible] в действительности [illegible], как утверждениями, которые имеют следующий характер: „Если допустить, что в данной стране всегда имеется значительное количество людей, не могущих прожить одного месяца, [illegible] пятнадцати дней, без того чтобы не принять условия труда, которые пожелает наложить на них государство (под видом налогов), или которые будут им предложены теми, кого государство признает собственниками земли, фабрик, железных дорог и т. д., то последствия этого будут такие-то и такие-то“.

До сих пор политическая экономия была всегда перечислением того, что случается при таких условиях; но она не пере-

числяла и не разбирала самых условий, и она не рассматривала, *как* эти условия действуют в каждом отдельном случае и *что* поддерживает эти условия. И даже, когда эти условия упоминались кое-где, то сейчас же забывались.

Впрочем экономисты не ограничивались этим забвением. Они представляли *факты, происходящие в результате этих условий, как фатальные, незыблемые законы.*

Что же касается до социалистической политической экономии, то она критикует, правда, некоторые из этих заключений, или-же толкует другие несколько иначе; но она также все время забывает их, и во всяком случае она еще не проложила себе собственной дороги. Она остается в старых рамках и следует по тем же путям. Самое большое, что она сделала (с Марксом), это—взяла *определения* политической экономии, метафизической и буржуазной, и сказала: „вы хорошо видите, что даже принимая ваши определения, приходится признать, что капиталист эксплоатирует рабочего!“ Это может быть хорошо звучит в памфлете, но не имеет ничего общего с наукой[1].

Вообще мы думаем, что *наука* политической экономии должна быть построена совершенно иначе. Она должна быть поставлена, *как естественная наука*, и должна назначить себе новую цель. Она должна занимать по отношению к человеческим обществам положение аналогичное с тем, которое занимает физиология по отношению к растениям и животным. Она должна стать *физиологией общества*. Она должна поставить себе целью изучение все-растущих *потребностей* общества и различных *средств*, употребляемых для их удовлетворения. Она должна разобрать эти средства и посмотреть, насколько они были раньше и теперь подходящи для этой цели; и наконец, так как конечная цель всякой науки есть предсказание, приложение к практической жизни (Бэкон указал это уже давно), то она должна изучить способы лучшего удовлетворения всех современных потребностей, способы получить с наименьшей тратой энергии (с *экономией*) лучшие результаты для человечества вообще.

Отсюда понятно, почему мы приходим к заключениям столь отличными в некоторых отношениях от тех, к которым приходит большинство экономистов, как буржуазных, так и социалдемократов; почему мы не признаем „законами“ некоторые соотношения указанные ими; почему наше *изложение* социализма отличается от ихнего; и почему мы выводим, из изучения направлений развития, наблюдаемых нами действительно в эко-

---

[1] Первая попытка в этом направлении была сделана Ф. Видлем в его сочинении: „О разделении богатств, или о справедливости распределения“, Париж 1846 г. Но почему-то именно этой работы теперь никто не упоминает, а знают только тех, кто пользовался ею.

номической жизни, заключения, столь отличныя от их заключений относительно того, что желательно и возможно; иначе говоря,—почему мы приходим к свободному коммунизму, между тем как они приходят к государственному капитализму и коллективистскому наемному труду.

Возможно, что мы ошибаемся, и что они правы. Может быть. Но, если желательно проверить, кто из нас прав и кто ошибается, то этого нельзя сделать, ни прибегая к византийским комментариям относительно того, что писатель сказал или хотел сказать, ни говоря о трилогии Гегеля, и в особенности — продолжая употреблять их диалектический метод.

Это можно сделать только, принявшись за изучение экономических отношений, как изучают явления естественных наук[1]).

Пользуясь постоянно тем же методом, анархизм приходит

---

[1]) Следующие выдержки из полученного мною письма от одного видного биолога, профессора в Бельгии, помогут мне об'яснить лучше то, что было только-что сказано: — „По мере того, как я читаю дальше вашу работу, *Поля, Фабрики и Мастерские*“, пишет мне профессор, „тем больше я проникаюсь убеждением, что изучение экономических и общественных вопросов отныне возможно только для тех, кто изучал естественные науки, и *кто проникся духом этих наук*. Те, кто получил так-называемое классическое образование, неспособны более понимать современное движение идей и также неспособны изучать множество других, специальных вопросов...

„Мысль об интеграции труда и *разделении труда во времени* (мысль, что для общества было бы выгодно, чтобы каждый мог работать в земледелии, в промышленности и заниматься умственным трудом, чтобы разнообразить свой труд и развить всесторонне свою личность), должна стать одним из краеугольных камней экономической науки. Есть множество биологических фактов, совпадающих с только-что развернутою мною мыслью, и показывающих, что это есть закон природы, иначе говоря, что в природе экономия сил часто достигается таким способом. Если исследовать жизненные функции какого-нибудь существа в различные периоды его жизни и даже в разные времена года и в некоторых случаях в отдельные моменты дня, то находишь приложение того же разделения труда во времени, которое неразрывно связано с разделением труда между различными органами (закон Адама Смита).

„Люди науки, не знающие естественных наук, неспособны понять истинный смысл закона природы; они ослеплены словом *закон* и воображают, что закон, подобный закону Адама Смита, имеет фатальную силу, от которой невозможно освободиться. Когда им показывают *обратную сторону* этого закона, результаты плачевные с точки зрения развития и счастья человеческой личности, они отвечают: „*таков неумолимый закон*“, и иногда этот ответ дается в таком резком тоне, который доказывает их веру в свою непогрешимость. Натуралист знает, что наука может уничтожить вредные последствия *закона*, что часто человек, который желает осилить природу, одерживает победу.

„Сила тяжести заставляет тела *падать*; но та же сила тяжести заставляет воздушный шар подниматься. Это кажется нам просто; экономисты же классической школы, повидимому, с большим трудом понимают смысл такого замечания.

„Закон *разделения труда во времени* станет по равной к закону Адама Смита и позволит интеграцию индивидуального труда“.

также к заключениям, характерным для него, относительно политических форм общества и особенно государства. Анархист не может подчиниться метафизическим положениям вроде следующих: „Государство есть утверждение идеи высшей справедливости в обществе", или „государство есть орудие и носитель прогресса", или еще: „без государства нет общества". Верный своему методу, анархист приступает к изучению государства с совершенно тем же настроением, как естественник, собирающийся изучать общества у муравьев, пчел или у птиц, прилетающих вить гнезда на берегах озер в северных странах. Мы уже видели по короткому изложению в X и XII главах, к каким заключениям приводит такое изучение относительно политических форм в прошлом и их вероятного и возможного развития в будущем.

Прибавим только, что для *нашей* европейской цивилизации (цивилизации последних пятнадцати столетий, к которой мы принадлежим), государство есть форма общественной жизни, которая развилась только в XVI столетии,—и это произошло под влиянием целого ряда причин, которые читатель найдет дальше в главе: „Государство и его роль в истории". Раньше этой эпохи, после падения римской империи, государство в его римской форме не существовало. Если же оно существует, несмотря на все, в учебниках истории, то это — продукт воображения историков, которые желали проследить родословное дерево французских королей до Меровингов, русских царей до Рюрика и т. д. При свете истинной истории оказывается, что современное государство образовалось только на развалинах средневековых городов.

С другой стороны, государство, как политическая и военная власть, а также современный государственный суд, церковь и капитализм являются в наших глазах учреждениями, которые невозможно отделить одно от другого. В истории эти четыре учреждения развивались, поддерживая и укрепляя друг друга.

Они связаны между собой не по простому совпадению. Между ними существует связь причины и следствия.

Государство, в совокупности, есть общество взаимного страхования, заключенного между землевладельцем, воином, судьей и священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом и эксплоатацию бедноты.

Таково было происхождение государства, такова была его история, и таково его существо еще в наше время.

Мечтать об уничтожении капитализма, поддерживая в то же время государство, и получая поддержку от государства, которое было создано затем, чтобы помогать развитию капитализма, и росло всегда и укреплялось вместе с ним, так же ошибочно, по нашему мнению, как надеяться достичь освобождение рабочих

при помощи церкви или царской власти (цезаризма). Правда, в тридцатых, сороковых и даже пятидесятых годах 19-го века было много фантазеров, которые мечтали о социалистическом цезаризме: традиции эти существуют со времени Бабефа до наших дней. Но питаться подобными иллюзиями, в начале XX века — поистине слишком наивно.

Новой форме экономической организации должна необходимо соответствовать новая форма политической организации; и произойдет-ли перемена резко, посредством революции, или медленно, посредством постепенной эволюции, — обе перемены, экономическая и политическая, должны будут идти совместно рука об руку. Каждый шаг к экономическому освобождению, каждая истинная победа над капиталом будет также победой над государством, — шагом в направлении освобождения политического: это будет освобождением от ига государства посредством свободного соглашения, *территориального и профессионального*, и соглашения относительно участия в общей жизни страны всех заинтересованных членов общества.

—

XV.

СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ.

Усиливать подчинение личности государству — противо-революционно. — Нужны новые отношения личности к государству. — Нужно ослабление государственной власти. — Примеры предыдущих революций. — Чем подготовляются революционные диктатуры? — „Захватывание власти“ не может дать успешной революции. — Необходимость местных восстаний и местного творчества.

Очевидно, что если анархизм так расходится, и в своих методах исследования, и в своих основных принципах с академической наукой, и со своими собратьями социал-демократами, он должен отличаться от них также и своими способами действия.

С нашей точкой зрения на право, закон и государство, мы не можем видеть обеспеченного прогресса и еще менее приближения к социальной революции во все-растущем подчинении личности государству. Сказать, как часто говорят поверхностные критики общества, что современный капитализм берет свое начало в „анархии производства“ — в „теории невмешательства государства“, которое якобы проводило формулу: „пусть делают, что хотят“ (laisser faire, laisser passer), повторять этого мы не можем, потому

что знаем, что это неверно. Мы прекрасно знаем, что правительство, давая полную свободу капиталистам наживаться трудом, доведенных до нищеты рабочих, никогда втечение XIX века и нигде не давали рабочим свободы „делать, что они хотят". *Никогда и нигде формула „laisser faire, laisser passer" не применялась на практике.* Зачем же говорить обратное?

Во Франции, даже свирепый „революционный", то-есть якобинский Конвент об'явил смертную казнь за стачку, за союзы— за „образование государства в государстве!" Нужно ли говорить после этого об империи, о восстановленной королевской власти и даже о буржуазной республике?

В Англии, в 1813 году вешали еще за стачку, а в 1831 году ссылали рабочих в Австралию за то, что они осмелились образовать профессиональный союз Роберта Оуэна. В 60-х годах еще посылали стачечников на каторжные работы под хорошо известным предлогом „защиты свободы труда". И даже в наши дни, в 1903 году в Англии одна компания добилась судебного приговора, по которому профессиональный союз рабочих должен был уплатить ей 1.275.000 франков убытков за *отговаривание* рабочих идти на завод на работы, во время стачки за так называемое picketing). Что-же сказать о Франции, где разрешение основывать союзы было дано лишь в 1884 году, после анархического брожения в Лионе и движения среди рабочих в Монсо (Monceau les-Mines)! Что сказать о Бельгии, Швейцарии (вспомните бойню в Айроло!) и особенно о Германии и России?

С другой стороны, нужно ли напоминать, как государство, посредством своих налогов и создаваемых им монополий приводит рабочих деревень и городов к нищете, передавая их со связанными руками и ногами во власть фабриканта! Нужно ли рассказывать, как в Англии разрушили и разрушают еще теперь, общинное владение землею, позволяя местному лорду (некогда он был только судьей, но никогда не был *землевладельцем*) огораживать общинные земли и завладевать ими в свою пользу? Или нужно рассказывать, как земля, даже теперь, *в этот момент, отнимается* у крестьянских общин в России правительством Николая II?

Нужно ли, наконец, говорить, что даже теперь все государства, без исключения, создают громадные монополии всякого рода, не говоря уже о монополиях, созданных в завоеванных странах, как Египет, Тонкин или Трансвааль? Что уж тут говорить о *первоначальном накоплении*, о котором Маркс говорил нам, как о факте прошлого, тогда как каждый год парламентами создаются новые монополии в области железных до-

рог, трамваев, газа, водопровода, электричества, школ и так далее без конца!

Одним словом никогда, ни в одном государстве, ни на год, ни на один час не существовала система „laissez faire“. Государство всегда было и есть еще теперь опора, поддержка и также *создатель*, прямой и косвенный, капитала. А потому, если буржуазным экономистам позволительно утверждать, что система „не-вмешательства“ существует, так как они стремятся доказать, что нищета масс есть закон природы,—то как же могут социалисты говорить такие речи рабочим? *Свободы сопротивляться эксплоатации до сих пор не было, никогда и нигде.* Везде ее нужно было завоевывать шаг за шагом, покрывая поле битвы неслыханным количеством жертв. „Не-вмешательство“ и даже более, чем „невмешательство“, — помощь, поддержка, покровительство существовали всегда в пользу одних эксплоататоров.

Иначе быть не могло. Мы уже сказали, что какова бы ни была форма, под которой социализм явится в истории, — чтобы приблизить коммунизм, он должен будет найти *свою* форму политических отношений. *Он не может* воспользоваться старыми политическими формами, как он не может воспользоваться религиозной иерархией и ее учением, или императорской, или диктаторской формой правления и ея теорией. Так или иначе социализм должен будет сделаться *более народным*, более приблизиться к *форуму* (народному вечу), чем представительное правление. Он должен будет менее зависеть от *представительства*, и подойти ближе к само-управлению. Это именно и пытался сделать в 1871 году пролетариат Парижа: к этому и стремились в 1793—1794 годах секции Парижской Коммуны и много других менее значительных коммун.

Когда мы наблюдаем современную политическую жизнь во Франции, Англии и Соединенных Штатах, мы видим, что там зарождается действительно очень ясная тенденция к образованию коммун, городских и сельских, независимых, но об'единенных между собой для удовлетворения тысячи различных потребностей союзными федеративными договорами, заключенными, каждый в отдельности, для специальной, определенной цели. И эти коммуны имеют тенденцию, все более и более делаться производителями необходимых продуктов для удовлетворения потребностей всех своих жителей. К коммунальным трамваям прибавилась коммунальная вода, часто проводимая издалека несколькими, соединившимися для этого городами, газовое освещение, двигательная энергия для заводов; есть даже коммунальные угольные шахты и молочные фермы для получения чистого молока, коммунальные стада коз для чахоточных (в Торки, в Англии) проведение горячей воды, коммунальные огороды и т. д.

Конечно, не германский кайзер и не якобинцы, утвердившиеся у власти в Швейцарии, поведут нас к этой цели. Они, наоборот, устремив взоры в прошлое, стремятся все сосредоточить в руках государства и уничтожить всякий след независимости территориальной и независимого участия в общей жизни страны [1]).

Нам нужно обратиться к той части европейских и американских обществ, где мы находим ясно выраженное направление организоваться *вне государства* и заменять его все более и более, захватывая, с одной стороны, важные экономические функции, а с другой стороны—функции, которые государство действительно продолжает рассматривать, как свои, но которые оно никогда не могло выполнить надлежащим образом.

Церковь имеет своей целью удержать народ в умственном рабстве. Цель государства держать его в полуголодном состоянии, в экономическом рабстве. Мы стремимся теперь стряхнуть с себя оба эти ярма.

Зная это, мы не можем считать все растущее подчинение государству гарантией прогресса. Учреждения не меняют своего характера по желанию теоретиков. Поэтому, мы ищем прогресса в наиболее полном освобождении личности, — в самом широком развитии инициативы личности и общества, и в то же время — в ограничении отправлений государства, а не в расширении их.

Мы представляем себе дальнейшее развитие, как движение, прежде всего, к уничтожению правительственной власти, которая насела на общество, особенно начиная с XVI века, и не переставала с тех пор увеличивать свои отправления; во вторых, к развитию, насколько возможно широкому, элемента *соглашения, временного договора*, и в то же время независимости всех групп, которые возникают для определенной цели и покроют своими союзами все общество. Вместе с этим мы представляем себе строение общества, как нечто, никогда не принимающее окончательной формы, но всегда полное жизни и потому меняющее свою форму, сообразно потребностям каждого момента.

Такое понимание прогресса, а также наше представление о том, что желательно для будущего (все что способствует увеличению суммы счастья для всех), необходимо приводит нас к выработке для борьбы своей тактики; и состоит она в развитии наибольшей возможной *личной инициативы* в каждой

---

[1]) Империалисты в Англии делают тоже самое. Они уничтожили в 1902 году так называемые School Boards, т. е. бюро, избиравшиеся на основе всеобщего голосования, без различия пола, которые существовали специально для организации начальных школ в каждой местности. Введенные около 1870 года, эти бюро оказали громадную услугу светскому нерелигиозному обучению.

группе и в каждой личности, причем единство действия достигается единством цели и силой убеждения, которую имеет каждая идея, если она свободно выражена, серьезно обсуждена и найдена справедливой.

Это стремление кладет свою печать на всю тактику анархистов и на внутреннюю жизнь каждой из их групп.

Мы утверждаем, что работать для пришествия Государственного Капитализма, централизованного в руках правительства и сделавшегося поэтому всемогущим, значит работать *против* уже обозначившегося направления современного прогресса, ищущего новых форм организации общества вне государства.

В неспособности социалистов - государственников понять истинную историческую задачу социализма мы видим грубую ошибку мышления, пережиток абсолютистских и религиозных предрассудков — и мы боремся против этой ошибки. Сказать рабочим, что они смогут ввести социалистический строй, *совершенно сохраняя государственную машину* и только переменив людей у власти; мешать, вместо того, чтобы помогать уму рабочих направляться на *изыскание новых форм жизни*, подходящих *для них*, — это в наших глазах есть историческая ошибка, граничащая с преступлением.

Наконец, так как мы являемся партией революционной, мы особенно изучаем в истории происхождение и развитие предыдущих революций, и мы стараемся освободить историю от ложного государственного толкования, которое до сих пор постоянно придавалось ей. В историях различных революций, написанных до сего дня, мы еще не видим *народа* и не узнаем ничего о *происхождении революции*. Фразы, которые обычно повторяют в введении об отчаянном положении народа накануне восстания, не говорят еще нам, *как* среди этого отчаянья появилась надежда на возможное улучшение и мысль о новых временах, и откуда взялся и как распространился революционный дух.

Поэтому, перечитав эти истории, мы обращаемся к первоисточникам, чтобы найти там некоторые сведения о ходе пробуждения в народе, а также и о роли народа в революциях.

Таким образом мы понимаем, например, Великую Французскую Революцию иначе, чем понимал ее Луи Блан, который представил ее, прежде всего, как большое политическое движение, руководимое клубом якобинцев. Мы же видим в ней прежде всего великое *народное* движение, и особенно указываем на роль крестьянского движения в деревнях, („каждое селение имело своего Робеспьера“, как заметил историку Шлоссеру аббат Грегуар, докладчик Комитета по делу о крестьянских восстаниях),— движения, которое имело главной целью уничтожение пережит-

ков феодального крепостного права и захват крестьянами земель, отнятых различными кровопийцами у сельских общин — в чем, между прочим, крестьяне добились-таки своего, особенно на востоке Франции.

Благодаря революционному положению, создавшемуся в результате крестьянских восстаний, которые продолжались втечение четырех лет, развилось в то же время в городах стремление к коммунистическому равенству; с другой стороны, выросла сила буржуазии, умно работавшей для установления своей власти, вместо королевской и дворянской власти, которую она уничтожила систематично. Для этой цели, буржуазия работала упорно и ожесточенно, стремясь создать сильное, централизованное государство, которое поглотило бы все и обеспечило бы буржуазии право собственности (в том числе на имущество, награбленное во время революции), а также дало бы ей полную свободу эксплоатировать бедных и спекулировать народными богатствами без всяких законных ограничений.

Эту власть, это право эксплоатации, *это одностороннее „laisser faire“* буржуазия действительно получила, и для того чтобы удержать его она создала *свою* политическую форму —представительное правление в централизованном государстве.

И в этой государственной централизации, созданной якобинцами, Наполеон I нашел уже подготовленную почву для империи.

Точно также пятьдесят лет спустя Наполеон III нашел, в свою очередь, в идеале демократической, централизованной республики, который развился во Франции около 1848 года, совершенно готовые элементы для второй империи. И от этой централизованной силы, убивавшей втечение семидесяти лет всю местную жизнь, всякую инициативу, как местную, в городах и деревнях, так и вне рамок государства (профессиональное движение, союзы, частные компании, общины и т. д.), Франция страдает до сих пор. Первая попытка разбить это ярмо государства, — попытка, открывшая поэтому новую историческую эру, — была сделана только в 1871 году парижским пролетариатом.

Мы идем даже дальше. Мы утверждаем, что пока социалисты-государственники не оставят своего идеала социализации орудий труда в руках централизованного государства, неизбежным результатом их попыток в направлении государственного капитализма и социалистического государства будет провал их мечтаний и военная диктатура.

Не входя здесь в анализ различных революционных движений, подтверждающих нашу точку зрения, достаточно будет сказать что мы понимаем будущую социальную революцию, не как якобинскую диктатуру, не как изменение общественных учреж-

дений, сделанное Конвентом, парламентом или диктатором. Никогда революция не делалась таким образом, и если рабочее восстание действительно примет этот оборот, оно будет осуждено на гибель, не дав никаких продолжительных результатов.

Мы, наоборот, понимаем революцию, как народное движение, которое примет широкие размеры, и во время которого в каждом городе и в каждой деревне той местности, где идет восстание, народные массы сами примутся за работу перестройки общества. Народ — крестьяне и городские рабочие — должен будет *начать сам строительную и воспитательную работу, на более или менее широких коммунистических началах, не ожидая приказов и распоряжений сверху.* Он должен будет прежде всего, устроить так, чтобы прокормить и разместить все население и затем производить именно то, что будет необходимо для питания размещения и доставления одежды всем.

Что же касается правительства, образовавшегося силой, или выбранного, то, будь то „диктатура пролетариата", как говорили в 40-х годах во Франции и говорят еще теперь в Германии, или будь то „временное правительство", одобренное или выбранное, или „Конвент",—мы не возлагаем на него никакой надежды. Мы говорим, что оно не сможет сделать ничего[1]).

Не потому, что таковы наши симпатии, а потому, что вся история нам говорит, что никогда еще люди, выброшенные революционной волной в правительство, не были на высоте положения. Да они и *не могут* быть на высоте положения; потому что в деле перестройки общества на новых началах, отдельные люди, как бы умны и преданы они ни были, должны во всяком случае быть бессильны. Для этого требуется *коллективный ум народных масс, работающий над конкретными вещами:* над возделываемым полем, обитаемым домом, фабрикой на ходу, железной дорогой, вагонами такой-то линии, пароходами и т. д.[2]).

---

[1]) „Ничего живучего", следовало бы сказать. Но я оставляю эти страницы так, как они были написаны в 1912-м году, восемь лет тому назад.

[2]) В большой стачке, вспыхнувшей в Сибири на великом сибирском пути сейчас же после Японской войны, мы имеем поразительный пример того, что может дать коллективный ум масс, подтолкнутый событиями, если он работает над теми самыми вещами, которые нужно перестраивать. Известно, что весь личный состав этой огромной линии от Уральского хребта до Харбина, на протяжении свыше 6500 верст, забастовал в 1905 году. Стачечники заявили об этом главнокомандующему армией, старику Линевичу, прибавив, что они сделают все, чтобы быстро переправить войска на родину, если генерал будет условливаться каждый день с Стачечном Комитетом о числе людей, лошадей, багажу, отправляемых в путь. Генерал Линевич принял это. И результатом этого было то, что втечение десяти недель, пока стачка продолжалась, возвращение войск на родину происходило с большим порядком, с меньшим количеством несчастных случаев и с гораздо большей быстротой, чем когда-либо раньше. Это было настоящее народное движение,—рабочие и солдаты, отбросив всякую дисциплину, работали вместе над этой громадной переправкой сотен тысяч людей.

Отдельные люди могут найти законное выражение или формулу для разрушения старых форм общежития, когда это разрушение уже начало совершаться. Они могут, самое большее, немного расширить эту разрушительную работу и распространить на всю территорию то, что происходит только в одной части страны. Но навязать эту ломку законом совершенно невозможно, как это доказала, между прочим, вся история революции 1789 — 1794 годов.

Что же касается до *новых* форм жизни, которая начнет зарождаться после революции на развалинах предыдущих форм, то никакое правительство никогда не сможет найти *их* выражения, *пока эти формы не определятся сами по себе в построительной работе народных масс, в творческом процессе, в тысячи пунктов зараз.* Кто догадался, кто мог бы действительно догадаться до 1794 года о роли, какую будут играть муниципалитеты, Парижская Коммуна и ее секции в революционных событиях 1789 — 1789 годов? Будущее не поддается законодательству. Все, что возможно, это—догадываться о его главных течениях и очищать для них дорогу. Именно это мы и стараемся делать.

Очевидно, что при таком понимании задач социальной революции, анархизм не может чувствовать симпатии к программе, которая ставит себе цель „завоевание власти в современном государстве“.

Мы знаем, что мирным путем это завоевание невозможно. Буржуазия не уступит своей власти без борьбы. Она не позволит свалить себя без сопротивления. Но, по мере того, как социалисты станут частью правительства и разделят власть с буржуазией, их социализм должен будет неизбежно побледнеть; он уже побледнел. Без этого, буржуазия, которая гораздо сильнее, численно и интеллектуально, чем это говорится в социалистической прессе, не признает их права разделить с нею ее власть.

С другой стороны, мы также знаем, что, если бы восстание сумело дать Франции, Англии, или Германии, временное социалистическое правительство, то оно, без построительной деятельности самого народа, было бы совершенно бессильно и скоро бы сделалось препятствием, тормозом революции. Оно стало бы ступенькой для диктатора, представителя реакции.

Изучая подготовительные периоды революций, мы приходим к заключению, что ни одна революция не вытекла из сопротивления, или из нападения парламента, или какого либо другого представительного собрания. *Все революции начинались в народе.* И никогда, ни одна революция не появлялась вооруженною с головы до ног, как Минерва, выходящая из головы Юпитера. Все

они имели, кроме подготовительного периода, свой период эволюции, в течение которого народные массы, формулировав свои, в начале очень скромные требования, проникались мало по малу, очень медленно, все более и более революционным духом. Они становились смелей, дерзновенней, чувствовали более доверия к своим силам и, выйдя из летаргии отчаянья, постепенно расширяли свою программу. Требовалось время, пока их, вначале „смиренные представления“ становились потом революционными требованиями.

Действительно, во Франции потребовалось не менее четырех годов, с 1789 по 1793 год, чтобы создалось республиканское меньшинство, достаточное сильное, чтобы захватить в руки власть.

Что-же касается до подготовительного периода, мы его понимаем следующим образом:—Сначала отдельные личности, глубоко возмущенные тем, что они видели вокруг себя, восставали поодиночке. Многие из них погибали без всяких видимых результатов, но равнодушие общества было уже поколеблено, благодаря этим отдельным героям.

Даже самые довольные и ограниченные люди бывали вынуждены спросить себя,—ради чего эти молодые, честные, полные сил люди отдавали свою жизнь? Равнодушным более нельзя было оставаться,— нужно было высказаться за или против. Мысль работала.

Мало по малу небольшие группы людей также проникались революционным духом. Они восставали, — иногда с надеждой на частичный успех, чтобы выиграть, например, стачку и получить хлеба для своих детей, или чтобы отделаться от какого-нибудь ненавистного чиновника,— но также часто и без всякой надежды на успех, просто возмущенные, потому что невозможно было дольше терпеть. Не одно, не два и не десять таких восстаний, но сотни бунтов, предшествуют каждой революции. Есть пределы всякому терпению. Это мы хорошо видим в Соединительных Штатах в настоящий момент.

Часто указывают на *мирное* уничтожение крепостного права в России. Но при этом забывают, или не знают, что освобождению крестьян предшествовал длинный ряд крестьянских бунтов, которые и привели к уничтожению крепостного права. Волнения начались еще в 50-х годах — может быть как отклик революции 1848 года, или крестьянских восстаний в Галиции в 1846 году—и каждый год они распространялись все шире и шире в России, становясь все серьезнее и принимая ожесточенный, неслыханный дотоле характер. Это продолжалось до 1857 года, когда Александр II выпустил, наконец, свое письмо к литовскому дворянству, содержавшее обещание освободить крестьян. Слова Герцена: „лучше дать освобождение сверху, чем ждать,

когда оно придет снизу", — слова, повторенные Александром II перед крепостническим дворянством Москвы, не были пустой угрозой: они отвечали действительности.

То же самое происходило, еще в большей степени, при приближении каждой *революции*. Можно сказать, как общее правило, что характер каждой революции определялся характером и целью предшествовавших ей восстаний. Даже больше. Можно установить, как исторической факт, что никогда ни одна серьезная политическая революция не могла совершиться, если —после начала революции—она не продолжалась в ряде местных *восстаний*, и если брожение не принимало характера именно *восстаний*, вместо характера *индивидуальной* мести, как это произошло в России в 1906 и 1907 годах.

Ждать поэтому, чтобы *социальная* революция наступила без того, чтобы ей предшествовали восстания, определяющие характер грядущей революции, лелеять эту надежду — детски нелепо. Стремиться помешать этим восстаниям, говоря, что подготовляется всеобщее восстание, уже преступно. Но стараться убедить рабочих, что они получат все блага социальной революции, ограничиваясь избирательной агитацией, и изливать всю свою злобу на акты частичных восстаний, когда они происходят у народов исторически - революционных, это — значит, самим становиться препятствием для революции и всякого прогресса—препятствием столь же отвратительным, каким всегда была христианская церковь.

XVI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Не входя в дальнейшее обсуждение принципов анархизма и анархической программы действий, сказанного вероятно уже достаточно для того, чтобы определить место, занимаемое анархией в ряду современных человеческих знаний.

Анархия представляет собой попытку приложить обобщения, полученные индуктивно-дедуктивным методом естественных наук, к оценке человеческих учреждений. Она является также попыткой угадать на основании этой оценки, по каким путям пойдет человечество к свободе, равенству и братству, чтобы получить наибольшую возможную сумму счастья для каждой из единиц, в человеческих обществах.

Анархизм есть неизбежный результат того умственного движения в естественных науках, которое началось к концу восемнадцатого века, было замедлено торжествующей реакцией в Европе после краха французской революции, и началось вновь в полном расцвете своих сил в конце пятидесятых годов. Корни анархизма — в естественно-научной философии восемнадцатого века. Но он мог получить свое полное обоснование лишь после возрождения наук, имевшего место в начале второй половины 19-го века, и давшего новый толчек к изучению человеческих учреждений и обществ на естественно-научной основе.

Так - называемые „научные законы“, которыми довольствовались германские метафизики 1820 и 1830 годов, не находят себе места в анархическом мировозрении, которое не признает никакого другого метода, кроме естественно-научного. И анархизм прилагает этот метод ко всем наукам, известным вообще под именем гуманитарных наук.

Пользуясь этим методом и всеми исследованиями, сделанными за последнее время под его влиянием, анархизм старается построить совокупность всех наук, касающихся человека, и пересмотреть все ходячие предствления о праве, справедливости и т. д. на основании данных, уже полученных последними этнологическими исследованиями, распространяя их далее. Опираясь на труды своих предшественников восемнадцатого века, анархизм стоит за личность против государства; за общество против власти, которая в силу исторических условий господствует над ним. Пользуясь историческими документами, собранными современной наукой, анархизм показал, что власть государства, притеснения которой растут в наше время все больше и больше, в действительности есть ничто иное как вредная и бесполезная надстройка, которая для нас, европейцев, начинается только с пятнадцатого и шестнадцатого столетия,—надстройка, сделанная в интересах капитализма, и бывшая уже в древности причиной падения Рима и Греции, а также всех других центров цивилизации на Востоке и в Египте.

Власть, которая образовалась втечение истории для об'единения в одном общем интересе помещика, судьи, солдата и попа, и которая втечение истории была препятствием для попыток человека создать себе жизнь, хоть немного обеспеченную и свободную,—эта власть не может сделаться орудием освобождения, также, как цезаризм, империализм или церковь не могут стать орудием социальной революции.

В политической экономии, анархизм пришел к заключению, что действительное зло не в том, что капиталист присваивает себе „прибавочную стоимость“ или чистый барыш, но в самом факте, что этот чистый барыш или „прибавочная стоимость“

возможны. „Прибавочная стоимость“ существует только потому, что миллионы людей не имеют, чем кормиться, если они не продадут свою силу и свой ум за цену, которая сделает чистый барыш или прибавочную стоимость возможными. Вот, почему мы думаем, что в политической экономии следует, прежде всего, изучать *главу о потреблении*, и что в революции первым долгом ее будет перестройка потребления таким образом, чтобы жилище, пища и одежда были обеспечены для всех. Наши предки в 1793—1794 годах это хорошо поняли.

Что-же касается „производства“, то оно должно быть организовано так, чтобы, прежде всего, первые потребности всего общества были как можно скорее удовлетворены. Поэтому анархия не может видеть в грядущей революции простую замену денежных знаков „трудовыми марками“, или замену теперешних капиталистов капиталистическим государством. Она видит в революции первый шаг к *свободному коммунизму*, без государства.

Прав ли анархизм в своих заключениях? Это нам покажет, с одной стороны, научная критика его основ, а с другой—практическая жизнь. Но есть один пункт, в отношении которого анархизм вне всякого сомнения совершенно прав. Это тот, что он рассматривает изучение общественных учреждений, как один из отделов естественных наук; что он распрощался на всегда с метафизикой и взял себе, в качестве метода мышления, тот метод, который послужил к созданию современной науки и материалистической философии нашей эпохи. Вследствие чего, если анархисты впадут в своих умозаключениях в какие либо ошибки, — им гораздо легче будет признать их. Но те, кто желает проверить наши заключения, должны помнить, что это возможно только при помощи научного, индуктивно - дедуктивного метода, на котором основывается каждая наука и развивается все научное мировоззрение.

В последующих главах, посвященных анархическому коммунизму, государству в его историческом развитии и в его теперешней форме, читатель найдет, на чем мы основываемся в нашем отрицательном отношении к государству, и побуждает нас допускать возможность общества, которое, принимая коммунизм за основу своей экономической организации, откажется в тоже время от организации иерархической централизации, которая называется „государством“[1]).

---

[1]) Кроме указанных уже работ по истории развития анархизма, смотри великолепную: „Библиографию Анархии“ соч. М. Неттлау, составляющую часть „Библиотеки Temps Nouveaux,“ изданную Элизе Реклю в 1897 году. Читатель найдет там, кроме списка сочинений, обоснованную библиографию различных работ и изданий по анархии.

II.

Коммунизм и Анархия.

II.

Коммунизм и Анархия.

—

I.

АНАРХИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ.

Когда, на двух Конгрессах Интернационала, созванных—один во Флоренции, в 1876 году, Итальянской Федерацией, а другой в Шо-де-фоне в 1880 году, Юрской Федерацией, итальянские и юрские анархисты решили об'явить себя „анархистами-коммунистами", то это решение произвело некоторую сенсацию в социалистическом мире. Одни видели в этой декларации серьезный шаг вперед. Другие считали это нелепым, говоря, что такое название заключает в себе явное противоречие.

В действительности, как мне заметил мой друг Джемс Гильом, выражение „анархический или негосударственный коммунизм" встречается уже в 1870 году, в Локльской газете: „Прогресс", в одном письме Варлэна, цитированном и одобренном Гильомом. Действительно, уже к концу 1869 года несколько анархистов условились пропагандировать эту идею, и в 1876 году распределение продуктов труда, основанное на идее анти-государственного коммунизма, было признано возможным и рекомендовалось в брошюре Джемса Гильома: „*Мысли о социальной организации*" (см. выше, стр. 70). Но, по причинам, изложенным уже выше, идея эта не получила желательного распространения, и среди реформаторов и революционеров, остававшихся под влиянием якобинских идей, господствующее представление о коммунизме было государственное, как его изложил Кабэ в своем „Путешествии в Икарию". Предполагалось, что государство, представленное одним или несколькими парламентами, берет на себя задачу организовать производство. Затем оно передает, через посредство своих административных органов, промышленным об'единениям

или Коммунам то, что приходится на их долю для жизни, производства и удовольствия.

В отношении производства предполагалось нечто подобное тому, что сейчас существует на сетях железных дорог, принадлежащих государству, и на почте. То, что делается сейчас для транспорта товаров и пассажиров, говорили нам, будет сделано для производства всех богатств и в отношении всех общеполезных предприятий. Начнется это с социализации железных дорог, рудников и копей, больших заводов, а затем эта система будет мало по малу распространена на всю обширную сеть мануфактур, фабрик, мельниц, булочных, с'естных магазинов и так далее. Затем, будут „отряды" работников для обработки земли за счет государства, рудокопов для работы в рудниках, ткачей для работы на фабриках, булочников для печки хлеба и т. д.; совершенно так же, как теперь существуют толпы чиновников на почте и железных дорогах. В литературе сороковых годов даже любили употреблять это слово „отряды" (escouades), которое немцы превратили в „армии", чтобы подчеркнуть дисциплинированный характер работников, употребляемых в промышленности и находящихся под командованием иерархии „начальников работ".

Что же касается потребления, то его рисовали себе почти в том виде, как оно сейчас существует в казармах. Отдельные хозяйства уничтожаются; вводятся, для экономии расходов, на кухне, общие обеды, и для экономии расходов по постройке—фаланстеры или что-то вроде гостиниц-отелей. Правда, в настоящее время солдат плохо кормится и подвергается грубому обращению начальства; но ничто не мешает, как говорили, хорошо кормить граждан, запертых в казармы „домов-коммун" или „коммунистических городов". А так как граждане свободно выбирали бы себе начальников, экономов, чиновников, то ничто не мешало бы им считать этих начальников—начальников сегодня и солдат завтра,—как *слуг* Республики. „Государство—слуга" было действительно любимой формулой для Луи Блана, и ненавистной для Прудона, который неоднократно забавлял читателей „Голоса Народа" „(La Voix du Peuple") своими насмешками над этой новой демократической кличкою государства[1]).

Коммунизм сороковых годов был проникнут государственными идеями, против которых Прудон яростно сражался до и после 1848 года; и критика, которой он подвергал его в 1846 году, в „Экономических Противоречиях" (2-й том — „Община") и позднее в „Голосе Народа", и при всяком случае в своих по-

[1]) Прудон, „Полное Собрание Сочинений" Смесь, Журнальные статьи, том III, Париж 1861 г. Читатель найдет здесь удивительные страницы о государстве и анархии, которые было бы очень полезно перепечатать для широкого распространения.

следующих писаниях, должна была без сомнения сильно содействовать тому, что такой коммунизм имел мало последователей во Франции. Действительно, вначале Интернационала большинство французов, принявших участие в его основании, были „мютюэлисты“, которые абсолютно отрицали коммунизм. Но государственный коммунизм был воспринят немецкими социалистами, которые еще подчеркнули сторону дисциплины. Он проповедывался ими, как „научное“ открытие, сделанное ими, а на самом деле, когда говорилось о коммунизме, то подразумевался под этим почти всегда государственный коммунизм в том виде, в каком он проповедывался немецкими продолжателями французских коммунистов 1848 года.

А потому, когда две анархические федерации Интернационала об‘явили себя „анархистами-коммунистами“, то это заявление произвело — особенно будучи сделано юрскою федерациею, более известною во Франции — некоторое впечатление и рассматривалось многими из наших друзей, как серьезный шаг вперед. „Анархический коммунизм“ или „вольный коммунизм“, как его называли вначале во Франции, приобрел многих сторонников и в силу некоторых благоприятных обстоятельств, именно с этой поры начинался успех анархических идей среди французских рабочих.

Действительно эти два слова, — коммунизм и анархизм, взятые вместе, представляли собой целую программу. Они провозглашали новое представление о коммунизме, совершенно отличное от того, которое было распространено до сих пор. Они в то же время указывали на возможное решение широкой задачи, — задачи, можно сказать, человечества, — которую человек всегда старался разрешить, вырабатывая свои учреждения от родового быта вплоть до наших дней.

В самом деле, что нужно сделать, чтобы, об‘единив усилия всех, обеспечить всем наибольшую сумму благосостояния и удержать в тоже время приобретенные доселе завоевания личной свободы, и даже расширить их сколько возможно больше?

Как организовать общий труд и в то же время предоставить всем полную свободу проявления личного почина?

Такова была всегдашняя задача человечества, с самого начала. Проблема огромная, которая взывает ныне ко всем умам, ко всем волям и ко всем характерам, чтобы быть разрешенной не только на бумаге, но и в жизни, жизнью самих обществ. Уже один факт произнесения этих слов: „*анархический* коммунизм“ подразумевает не только новую цель, но и новый способ решения социальной задачи, — посредством усилий снизу, посредством самопроизвольного действия всего народа.

Это налагает на нас обязанность совершить большую работу мысли и исследований, чтобы узнать, насколько эта цель и этот анархический способ решения социального вопроса, — новый для современных революционеров, хотя он стар для человечества — насколько они осуществимы и практичны? Этим и занялись с тех пор некоторые анархисты.

С другой стороны, декларация анархистов - коммунистов вызвала также сильнейшие возражения. Прежде всего, немецкие продолжатели Луи Блана, которые вслед за ним уцепились за его формулу: „Государство-слуга“ и „Государство — инициатор прогресса“, удвоили свои нападки на тех, кто отрицал государство во всех возможных формах. Они начали с того, что отвергали коммунизм, как нечто старое, и проповедывали под именем „коллективизма“ и „научного социализма“ — „трудовые марки“ Роберта Оуэна и Прудона и личное *вознаграждение* производителям, которые становились „все чиновниками“. А нам они делали такое возражение, что коммунизм и анархизм, запряженные вместе, „воют от этого“ (hurlent de se trouver ensemble). Так как под коммунизмом они понимали *государственный* коммунизм Кабэ — единственный, который они могли понять, то очевидно, что *их* коммунизм, подразумевающий власть, правительство (*архе*), и *ан архия*, то есть отсутствие власти и правительства, диаметрально противоположны друг другу. Один есть отрицание другого, и никто не думал запрягать их в одну телегу. Что же касается вопроса, является ли государственный коммунизм *единственной* формой возможного коммунизма, то он даже не был затронут критиками этой школы. Это считалось у них аксиомой.

Гораздо более серьезны были возражения, сделанные в самом лагере анархистов. Здесь повторяли сначала, не сомневаясь в в том, возражения, выставленные Прудоном против коммунизма во имя свободы личности. И эти возражения, хотя им уже больше пятидесяти лет, не потеряли ничего из своей ценности.

Прудон действительно говорил *во имя личности*, ревностно оберегающей всю свою свободу, желающей сохранить независимость своего уголка, своей работы, своего почина, своих исследований, тех удовольствий, которые эта личность может позволить себе, не эксплоатируя никого другого, борьбы, которую она захочет предпринять — вообще всей своей жизни. И этот вопрос прав личности ставится теперь с тою же силой, как и во времена „Экономических Противоречий“ Прудона.

Может быть, даже с большей силой, потому что государство расширило с тех пор в громадной степени свои посягательства на свободу личности, при посредстве обязательной воинской

повинности и своих армий, которые исчисляются миллионами людей и миллиардами налогов, при помощи школы, „покровительства“ наукам и искусством, усиленного полицейским и иезуитским надзором, и, наконец, при помощи колоссального развития чиновничества.

Анархист наших дней ставит все эти упреки государству. Он говорит во имя личности, восстававшей на протяжении веков против учреждений коммунизма, более или менее частичного, но всегда государственного, на которых человечество останавливалось несколько раз втечение своей долгой и тяжелой истории. Легко относиться к этим возражениям нельзя. Это уже не адвокатские ухищрения. Кроме того, они сами должны были явиться в той или иной форме у самого анархиста - коммуниста, так-же как и у индивидуалиста. Тем более, что вопрос, поднятый этими возражениями, входит в полном виде в другой более широкий вопрос, о том, — является ли жизнь в обществе средством освобождения личности, или средством порабощения? ведет ли она к расширению личной свободы и к увеличению личности, или же к ее умалению? Это основной вопрос всей социологии и, как таковой, он заслуживает самого глубокого обсуждения.

Затем — это не только вопрос отвлеченной науки. Завтра мы можем быть призваны к тому, чтобы приложить свою руку к социальной революции. Сказать, что нам нужно только произвести разрушение, оставив другим — кому? — постройтельную работу, было бы нелепо.

Кто же будет каменьщиками — постройшиками, если не мы сами? Потому что, если можно разрушить дом, не строя на его месте другой, то этого нельзя делать с учреждениями. Когда разрушают одно учреждение, то в то же время закладывают основания того, что разовьется позднее на его месте. Действительно, если народ начнет прогонять собственников дома, земли, фабрики, то это не для того, чтобы оставить дома, земли и фабрики пустыми, а для того, чтобы так или иначе занять их немедленно. А это значит — строить тем самым новое общество.

Попробуем же указать некоторые существенные черты этого громадного вопроса.

II.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНИЗМ. — КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ.

Важность вопроса, который мы подняли, слишком очевидна, чтобы ее можно было оспаривать. Многие анархисты, включая

сюда и коммунистов, и многие мыслители вообще,—вполне признавая все выгоды, которые коммунистический строй может дать обществу—видят, однако, в этой форме социальной организации серьезную опасность для общественной свободы и для свободного развития личности. Что такая опасность действительно существует, в этом нет никакого сомнения. Притом, коснувшись этого предмета, приходится разобрать другой вопрос, еще более важный, поставленный во всю свою широту нашим веком -вопрос о взаимных отношениях личности и общества вообще.

К несчастию, вопрос о коммунизме осложнился разными ошибочными воззрениями на эту форму общественной жизни, получившими довольно широкое распространение. В большинстве случаев, когда говорили о коммунизме, то подразумевали коммунизм более или менее христианский и монастырский - и, во всяком случае государственный, подначальный, то-есть подчиненный строгой центральной власти. В таком виде он проповедывался в коммунистических утопиях 17-го века, в заговоре Бабефа, в 1775-м году, а затем, в первой половине девятнадцатого века, особенно Кабэ и тайными коммунистическими обществами, и в таком виде его осуществляли на практике в некоторых общинах в Америке. Принимая за образец семью, эти общины стремились создать „великую коммунистическую семью" и, ради этого, хотели прежде всего „переродить человека". В этих целях, помимо труда сообща, они налагали на своих членов тесное, семейное сожительство, удаление от современной цивилизации, обособление коммуны, вмешательство „братьев и сестер" во все малейшие проявления внутренней жизни каждого из членов общины, и наконец полное подчинение начальству коммуны, или (в заговоре Бабефа и у немецких коммунистов) государственной власти.

Затем, в рассуждениях о коммунизме недостаточно различают и часто смешивают мелкие единичные общины, многократно создававшиеся за последние триста или четыреста лет, и те коммуны,—имеющие возникнуть в большом числе и вступающие между собою в союзные договоры, которые могут создаться в обществе, выступившем на путь социальной революции,—коммуны, основанные группами интеллигентов и городских рабочих, неспособные бороться против всех сложных трудностей жизни земледельческого пионера на девственных землях Америки, и - коммуны того же характера, основанные также в Америке, но земледельцами: немецкими крестьянами, как, например, в Анаме, или славянскими крестьянами, как, например, духоборами.

Таким образом, для успешного обсуждения вопроса о коммунизме и о возможности обеспечить личную независимость в коммунистическом обществе,—необходимо рассмотреть порознь следующие вопросы:

1) Производство и потребление сообща, его выгоды и его неудобства, то-есть,—каким образом можно устроить работу сообща, и как пользоваться сообща всем, что нужно для жизни?

2) Совместную жизнь—то-есть, необходимо-ли устраивать ее непременно по образцу большой семьи?

3) Единичные и разбросанные общины, общины возникающие в настоящее время; и

4) Общины будущего строя, вступающие между собою в союзный договор (федерацию);

И, наконец, 5) влечет ли коммунизм общинной жизни за собою неизбежно подавление личности? Другими словами—каково положение личности в коммунистическом обществе при общинном строе?

Под именем социализма вообще, в течение девятнадцатого века совершилось громаднейшее умственное движение. Началось оно с заговора Бабефа, с Фурье, Сен-Симона, Роберта Оуэна и Прудона, которые формулировали главнейшие течения социализма, и продолжалось оно их многочисленными последователями: французскими (Консидеран, Пьер Леру, Луи Блан), немецкими (Маркс, Энгельс, Шефле), русскими (Бакунин, Чернышевский) и так далее, — которые работали, либо над распространением в понятной форме воззрений основателей современного социализма, либо над утверждением их на научном основании.

Мысли основателей социализма, по мере того, как они вырабатывались в более определенных формах, дали начало двум главным социалистическим течениям: коммунизму начальническому и коммунизму анархическому (безначальному), а равно и нескольким промежуточным формам, выискивающим компромисы, или сделки, между теперешним обществом и коммунистическим строем. Таковы школы: государственного капитализма (государство владеет всем необходимым для производства и жизни вообще), коллективизма (всем выплачивается задельная плата, по рабочим часам, бумажными деньгами, в которых место рублей заняли рабочие часы), кооперации (производительные и потребительные артели), городского социализма (полу-социалистические учреждения, вводимые городскою управою или муниципалитетом) и многие другие.

В то же время, в чисто рабочей среде, те же мысли основателей социализма (особенно Роберта Оуэна) помогли образованию громадного рабочего движения. Оно стремится соединить всех рабочих в союзы по ремеслам, ради прямой, непосредственной борьбы против капитала. Это движение породило в 1864 -1879 годах Интернационал, или Международный Союз Рабочих, который стремился установить всенародную связь между

об'единенными ремеслами, а затем его продолжения, но с ограниченной программой: политической, социаль-демократической партии.

Три существенных пункта было установлено этим громадным движением, умственным и революционным, и эти три пункта глубоко проникли за последние тридцать лет в общественное сознание. Вот они:—

1) Уничтожение задельной платы, выдаваемой капиталистом рабочему,—так как представляет она собою ничто иное, как современную форму древнего рабства и крепостного ига;

2) Уничтожение личной собственности на то, что необходимо обществу для производства и для общественной организации обмена продуктов, и наконец,

3) Освобождение личности и общества от той формы политического порабощения—государства, которая служит для поддержания и сохранения экономического рабства.

По этим трем пунктам, можно сказать, уже устанавливается некоторое соглашение между мыслящими социалистами.

Действительно, даже коллективисты, которые настаивают на необходимости „рабочих чеков", или платы по часам работы, а равно и те, которые говорят, как выразился поссибилист („возможник") Брусс: „Все должны быть чиновниками! (Tous-fonctionnaires), то-есть, что все рабочие должны быть на жалованьи, либо у государства, либо у города, либо у сельской общины, даже они соглашаются, в сущности, с вышеупомянутыми тремя пунктами.—Они предлагают ту или другую временную сделку *только потому, что не предвидят возможности сразу перейти от теперешнего строя к безгосударственному коммунизму*. Они идут на сделки, потому что считают их неизбежными; но их конечная цель — все-таки остается коммунизм.

Что же касается до государства, то даже те из них, которые остаются ярыми защитниками государства и сильной правительственной власти и даже диктатуры, признают (как выразился однажды Энгельс), что когда *классы*, существующие теперь, будут уничтожены, то с ними исчезнет и надобность в государстве. Таково было, по крайней мере, мнение некоторых вождей марксистской школы.

Таким образом, нисколько не стремясь преувеличивать значение анархической партии в социалистическом движении, из-за того только, что она—„наша" партия, мы должны признать следующее:—

Каковы бы ни были разногласия между различными партиями обще-социалистического движения—причем эти разногласия обусловливаются, в особенности, различием в способах действия, более или менее революционных, принятых тою или другою пар-

тиею, все мыслители социалистического движения, к какой бы партии они ни принадлежали, признают, что конечной целью социалистического развития должно быть *развитие вольного коммунизма*. Все остальное,—сами же они сознаются—есть ничто иное, как ряд переходов на пути к этой цели.

Но нужно помнить, что всякое рассуждение о переходах, которые придется сделать на пути к цели, будет совершенно бесполезно, если оно не будет основано на изучении тех *направлений*, тех зачаточных переходных форм, которые теперь уже намечаются в современном обществе: причем среди этих различных направлений, два особенно заслуживают нашего внимания.

Одно из них состоит в следующем. По мере того, как сложнее становится жизнь общества, все труднее и труднее бывает определить, какая доля в производстве пищи, одежды, машин, жилья и тому подобного, по справедливости, должна приходиться на долю каждого отдельного работника. Земледелие и промышленность теперь до того осложняются и взаимно переплетаются, все отрасли промышленности до того начинают зависеть друг от друга, что система оплаты труда рабочего-производителя смотря по количеству добытых или выработанных им продуктов, становится все более и более невозможной, если стремиться к справедливости. Работая одинаково усердно, два человека, на разного сорта земле, в разные годы, или в двух разных угольных копях, или же на двух разных ткацких фабриках при разных машинах, или даже на той же машине, но при разном хлопке, произведут различные количества хлеба, угля, тканей.

В прежнее время, когда существовал только один способ делать башмаки, шить белье, ковать гвозди, косить луг и так далее, можно было считать, что, если такой-то работник произведет более башмаков, белья, гвоздей, или если он выкосит более сена, чем другой, то ему заплачено будет за его усердие, или за уменье, за ловкость, если дать ему повышенную плату, соответственно результатам которые он получил.

Но теперь, когда продуктивность труда зависит особенно от машин и от организации труда в каждом предприятии, становится все менее и менее возможным определять плату соответственно результатам, полученным каждым рабочим.

Поэтому мы видим, что, чем развитее становится данная промышленность, тем более исчезает в ней поштучная заработная плата,—тем охотнее заменяется она поденною платою, по столько-то в день. С другой стороны, сама поденная плата имеет некоторое стремление к уравнению.

Теперешнее общество, конечно, продолжает делиться на

классы, и есть целый громаднейший класс „господ“ или буржуа, у которых жалованье тем выше, чем менее они сработают в день. Затем, среди самих рабочих есть также четыре крупных разряда, в которых рабочий день оплачивается очень различно, а именно: женщины, сельские рабочие, чернорабочие, делающие простую работу и рабочие, знающие какое-нибудь более или менее специальное ремесло. Но эти четыре разряда различно оплачиваемых рабочих представляют только четыре разряда эксплоатации рабочего его хозяином, и каждого разряда самих рабочих—другими, высшими разрядами: женщин—мужчинами, сельских рабочих—фабричными. Таковы результаты буржуазной организации производства.

Теперь оно так; но в обществе, в котором установится равенство между людьми и все смогут научиться какому-нибудь ремеслу, и в котором хозяин не сможет пользоваться подчиненным положением рабочего, мужчина—подчиненным положением женщины, а городской рабочий—подчиненным положением крестьянина,—в таком обществе деление на классы исчезнет. Даже теперь, уже в каждом из этих классов заработная плата имеет стремление к уравнению. И поэтому, совершенно справедливо было замечено, что для правильно-устроенного общества, рабочий день землекопа стоит столько же, то-есть *имеет одинаковую ценность*, что и день ювелира, и или учителя. В силу этого, еще Роберт Оуэн, а за ним Прудон, предложили, и даже оба попробовали ввести *рабочие чеки*; то есть, каждый человек, проработавший, скажем, пять часов в каком бы то ни было производстве, признанном полезным и нужным, получает квитанцию с означением „*пять часов*“; и с этою квитанциею он может купить в общественном магазине любую вещь, еду, одежду, предмет роскоши,—или же заплатить за квартиру, за проезд по железной дороге и так далее, представляющие то же количество часов работы других людей. Эти самые рабочие чеки, коллективисты и предлагают ввести в будущем социалистическом обществе для оплаты всякого рода труда. В Парижской Коммуне 1871 года мы видели также, что администраторам и правительству коммуны платилось одинаковое жалованье в пятнадцать франков в день.

Если вдуматься, однако, во все то, что до сих пор было сделано, чтобы установить общественное, социалистическое пользование чем бы то ни было, мы не видим,—за исключением нескольких тысяч фермеров в Америке, которые ввели между собою рабочие чеки,—мы не видим, чтобы где-нибудь мысль Роберта Оуэна и Прудона, проповедуемая теперь коллективистами, принялась в сколько-нибудь значительных размерах. Со времени попытки Оуэна, сделанной три-четверти века тому назад, рабочий чек не привился нигде. И я указал в другом месте (*Хлеб и

Воля, глава о задельной плате), какое внутреннее противоречие мешает широкому приложению этого проекта.

За то, мы замечаем, наоборот, множество всевозможных попыток, сделанных именно в направлении коммунизма—либо частного, ограниченного, неполного, либо даже полного. Многие сотни коммунистических общин были основаны в течение девятнадцатого века в Европе и в Америке, и даже в настоящую минуту, нам известно несколько десятков общин, живущих более или менее на началах коммунизма и более или менее процветающих, так что если бы кто-нибудь занялся описанием всевозможных, больших и малых, коммунистических и полукоммунистических общин, рассеянных по белу свету (как это сделал, лет тридцать тому назад, Нордхоф для Америки), то картина получилась бы весьма поучительная.

Оставляя в стороне религиозный вопрос и его роль в организации коммунистических обществ, достаточно будет указать на пример Духоборов в Канаде, чтобы показать *экономическое* превосходство коммунистического труда по сравнению с трудом личным. Прибыв в Канаду без копейки, они были принуждены устроиться там в еще необитаемой, холодной части провинции Альберты; за отсутствием лошадей их женщины запрягались по 20 или 30 человек в соху, в то время, как мужчины среднего возраста работали на железной дороге и отдавали свои жалованья на общие нужды в коммуну; и однако через семь или восемь лет все 6000 или 7000 духоборов сумели достигнуть благосостояния, организовав свое земледелие и свою жизнь при помощи всяких современных машин, — американских косилок и вязалок, молотилок и паровых мельниц, на коммунальных началах [1]).

Таким образом, мы имеем здесь союз около двадцати коммунистических поселков, при чем каждая семья живет в своем доме, но полевые работы производятся сообща, и каждая семья берет из общественных магазинов, что ей нужно для жизни. Эта организация, которая в течение нескольких лет поддерживалась религиозною идеею общины, не является, конечно, нашим идеалом; но мы должны признать, что с точки зрения *экономической* жизни громадное превосходство коммунистического труда над индивидуальным трудом, и полная возможность приспособить этот труд к современным потребностям земледелия, с помощью машин, были превосходно доказаны.

---

[1]) Кроме того они купили себе земли на берегу Тихого Океана, в провинции Канады, Британской Колумбии, где они организовали свою *фруктовую* колонию, чего страшно не хватало этим вегетарьянцам в провинции Альберте, где ни яблони, ни груши, ни вишни не дают плодов, так как их цветы убиваются майскими морозами

Но кроме этих попыток удачного коммунизма в сельском хозяйстве, мы можем также указать на множество примеров *коммунизма частичного, имеющего целью одно потребление*, который проводится в многочисленных попытках социализации, делающихся в буржуазном обществе, — либо среди частных лиц, либо целыми городами, (так называемый муниципальный или городской социализм).

Что такое гостиница, пароход, швейцарский „пансион“, если не попытки, делающиеся в этом направлении среди буржуазного общества? В обмен на определенную плату—столько-то рублей в день—вам представляется выбирать, что вам вздумается из десяти блюд, или более блюд, которые вам предлагаются на океанском пароходе, или в отеле: и никому в голову не приходит учитывать, сколько вы чего с'ели. Такая организация теперь установилась даже международная. Уезжая из Лондона или Парижа, вы можете запастись билетами (по столько-то рублей в день), и по этим билетам вы получаете комнату, кровать и стол в сотнях гостиниц, рассеянных во Франции, Германии, Швейцарии, Италии, и принадлежащих к международному союзу гостиниц.

Буржуа прекрасно поняли, какую громадную выгоду представляет им этот вид ограниченного коммунизма, *для потребления*,—соединенного с полною независимостью личности; вследствие этого они устроились так, что за определенную плату, по столько-то в день или в месяц, все их потребности жилища и еды бывают вполне удовлетворены, без всяких дальнейших хлопот. Предметы роскоши, конечно, не входят в этот договор: за тонкие вина и за особенно роскошные комнаты приходится платить особо; но за плату одинаковую для всех, основные потребности удовлетворены, не считая того, сколько каждый отдельный путешественник с'ест, или не доест за общим столом.

Страхование от пожаров, — особенно в селах, где существует до некоторой степени приблизительное равенство в достатках всех жителей, и где поэтому страховая премия взимается равная со всех; застрахование от случайных увечий в экипаже, или во время путешествий по железным дорогам; застрахование от воровства, причем вы платите в Англии немного более рубля в год (пол-кроны), и компания выплачивает вам, по вашей собственной оценке, за все, что бы у вас не украли, ценою до тысячи рублей—и делает это без всяких разбирательств и без всякого обращения к полиции („С какой стати?“ говорил нам агент—„обращаться к полиции! все равно она ничего не разыщет, а ваш рубль покрывает наши платежи и другие расходы, еще с барышем“)—все это формы частного коммунизма, или вернее, артельной жизни, возникающие чрезвычайно быстро за последние двадцать-пять лет. Прибавьте к этому еще ученые общества,

которые за такую-то плату в год дают вам библиотеку, комнаты для ваших работ, музей или зоологический сад, которые ни один миллионер не может купить на свои миллионы. Прибавьте клубы, дающие вам комнату, библиотеку, общество и всякие другие удобства, и общества для оплаты доктора, столь распространенные среди английских рабочих; возьмите общества застрахования на случай болезни; возьмите артельные путешествия, устраиваемые не только частными агентами, но и образовательными учреждениями (Polytechnic Tours в Англии); или возьмите обычай, распространяющийся теперь в Англии, что за рубль, или даже за полтинник в неделю, вам доставляют на дом, прямо от рыболовов, столько рыбы, сколько вы можете с'есть в неделю в вашей семье; возьмите клуб велосипедистов с его тысячами мелких удобств и услуг, оказываемых членам, и так далее, и так далее.

Словом, мы имеем перед собою сотни учреждений, возникших очень недавно и распространяющихся с необыкновенною быстротою, основанных на началах приближения к коммунистическому пользованию целыми обширными отраслями потребления.

И, наконец, мы имеем еще тоже быстро разростающиеся городские учреждения коммунистического рода. Город берется доставлять всем воду за столько-то в год, не считая в точности, сколько вы израсходуете воды; точно также—газ и электричество для освещения и как рабочую силу, — во всех этих городских предприятиях те же попытки социализации потребления прилагаются в масштабе, который расширяется с каждым днем. И особенно важно то, что это потребление неизбежно приводит города к муниципальной организации производства (газа, электричества, городских молочных и т. п.).

Затем, города имеют теперь свои гавани и доки, свои сады, свои конки и трамваи, с одинаковою платою за большое или малое расстояние (начиная от нескольких сот шагов до 30-ти верст, вы платите в Америке все ту же плату), свои общественные бани и прачешные, и наконец, города начинают строить свои общественные дома; или же город держит своих овец, или, наконец, заводит свою молочную ферму (Торки в Англии). Более того. Мы увидим через несколько лет в Англии город, имеющий сам свои угольные копи, чтобы получить электричество для освещения и двигательной силы, без того, чтобы приходилось за это платить дань владельцам копей. В Манчестере это было уже решено в принципе, когда трест главных угольных компаний поднял на большую цифру цену угля втечение бурской войны. И с каждым годом, эти попытки расширения городского хозяйства в коммунистическом направлении растут, распространяя также область их приложений.

Конечно, все это еще не коммунизм. Далеко не коммунизм. Но основная мысль большинства этих учреждений содержит в себе частицу коммунистического начала. А именно: *За известную плату, по столько-то в год или в день, вы имеете право удовлетворить такой-то разряд ваших потребностей — за исключением, конечно, роскоши* в этих потребностях. Теперь вы еще платите за это деньгами; но близок день, когда платить можно будет и трудом: начало уже положено.

Многого, конечно, еще не достает этим зачаткам коммунизма, чтобы стать действительным коммунизмом; во-первых, плата производится деньгами, а не трудом; а во-вторых, потребители, по крайней мере в частных предприятиях, не имеют голоса в заведывании делом.

Но нужно также заметить следующее. Если бы основная мысль этих учреждений была правильно понята, то не трудно было бы, *уже теперь*, завести, даже по частной или общественной инициативе, такую общину, в которой первый пункт, то-есть *уплата трудом*, был бы уже введен.

Возьмите, например, участок земли, скажем, в 500 десятин. На этой земле строится двести домов, — каждый с садом или огородом в четверть десятины. Остальная земля обращается в поля, огороды и общественные сады. Предприниматель берется либо представлять каждой семье, занимающей эти дома, на выбор, любые из пятидесяти блюд, приготовляемых им каждый день (как в американской гостинице) или же он доставляет желающим готовый хлеб, сырое мясо, овощи и т. д., — сколько они потребуют — чтобы готовить у себя на дому (шаг в этом направлении уже делают рыбаки, доставляя рыбу по абонементу). Отопление производится, конечно, по американски, из общей печи по трубам с горячей водой. И за все это хозяин учреждения берет с вас — либо плату деньгами, по столько-то в день, *либо оплату работою, по столько-то часов в день по вашему выбору*, в любой из отраслей, нужных для его села-гостиницы. Работайте по вашему выбору, в полях или в огороде, на скотном дворе или на кухне, или по уборке комнат, столько-то часов в день, и ваша работа зачтется в уплату за вашу жизнь. Такое учреждение можно было бы завести хоть завтра, и приходится удивляться одному, — что этого давно уже не было сделано каким нибудь предприимчивым содержателем гостиницы [1]).

---

[1]) С тех пор, как эти строки были написаны, я ездил в Америку. Там, в Кембридже (около Бостона) устроена при университете, кроме громадной, рос-

III.

МАЛЕНЬКИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ. — ПРИЧИНЫ ИХ НЕУСПЕХА.

По всей вероятности, некоторые читатели заметят, что именно —на этом пункте — то есть на работе сообща — коммунисты наверно провалятся, так как на нем уже провалились многие общины. Так, по крайней мере, написано во многих книгах. А между тем, это будет совершенно не верно. Когда коммунистические общины проваливались, то причины неудачи обыкновенно бывали совсем не в общем труде.

Во первых, заметим, что почти все такие общины основывались в силу полу-религиозного увлечения. Основатели решали стать „глашатаями человечества, пионерами великих идей“, и следовательно подчиняться строжайшим правилам мелочно требовательной „высокой“ нравственности, „перерождаться“ благодаря общинной жизни, и наконец, отдавать все свое время, во время и вне работы, своей общине — жить исключительно для нее.

Выставлять такие требования значило, однако, — поступать так, как делали в старину монахи и отшельники; то-есть требовать от людей — безо всякой нужды — чтобы они стали чем-то другим, чем они есть на самом деле. И только недавно, совсем недавно, стали основываться общины, преимущественно рабочими-анархистами, безо всяких таких высоких стремлений — просто с чисто экономической целью избавиться от обирания хозяином-капиталистом.

Другая ошибка коммунистов состояла в том, что они непременно желали устроиться по образцу *семьи* и основать „великую семью братьев и сестер“. Ради этого они селились под одним кровом, где им приходилось всю жизнь оставаться в обществе все тех же „братьев и сестер“. Но тесное сожительство

роскошной столовой для богатых студентов, еще громадное, не менее художественное здание — очень дешевая столовая для более бедных студентов. А так как у многих студентов и тут нечем платить, то их охотно берут, чтобы прислуживать за столами в часы обеда; и студенты в Америке, как известно, очень охотно это делают. Они платят, таким образом, за свой стол не деньгами, а трудом, по известному расчету. Нет никакой причины, почему при этих столовых не завести бы также свою ферму. Бостон, оказывается, большим производителем земледельческих и садовых продуктов — главный, по денежному обороту, садовый и огородный центр в штате Массачусетс. Впрочем, и об этом уже помянута была нами речь, и идея принята сочувственно. Школьные фермы, наверное, скоро привьются, теперь в Америке заведут ферму и при университете.

под одним кровом. вообще, — вещь нелегкая. Два родных брата, сыновья одних и тех же родителей, и то не всегда уживаются в одной избе, или в одной квартире. Кроме того, семейная жизнь не всем подходит. А потому было коренною ошибкою налагать на всех членов жизнь „большою семьею“, вместо того, чтобы, напротив, обеспечить каждому наибольшую свободу и наибольшее охранение внутренней жизни каждой семьи. Уже то, что русские духоборы, например, живут в отдельных избах — гораздо лучше обеспечивает сохранение их полу-коммунистических общин, чем жизнь в одном монастыре.

Первое условие успеха коммуны было бы — оставить мысль о фаланстере и жить в отдельных домиках, как это делают в Англии.

Затем, *маленькая* община не может долго просуществовать. Известно, что люди, вынужденные жить очень тесно, на пароходе, или в тюрьме, и обреченные на то, чтобы получать очень небольшое количество внешних впечатлений, начинают просто не выносить друг друга (вспомните собственный опыт, или хоть Нансена с его товарищами). А в маленькой общине довольно двум человекам стать соперниками, или во враждебные отношения, чтобы при бедности внешних впечатлений, общине пришлось распасться. Удивительно еще, что иногда такие общины могли существовать довольно долго; тем более, что все такие братства еще уединяются от других.

Поэтому, основывая общину в десять, двадцать или сто человек, так и следовало бы знать заранее, что больше трех или четырех лет она не проживет. Если бы она прожила долее, то пришлось бы даже пожалеть об этом, потому что это только доказывало бы, что ее члены, или дали себя поработить одним из них, или совершенно обезличились.

Но так как можно заранее быть уверенным, что через три, четыре или пять лет часть членов общины пожелают отделиться, то следовало бы, по крайней мере, иметь десяток или два таких общин, об'единенных союзным договором. В таком случае, тот, кто по той или другой причине захочет оставить свою общину, сможет, по крайней мере, перейти в другую, а его место может занять кто-нибудь со стороны. Иначе коммуна расходится, или-же (как это бывает в большинстве случаев) попадает в руки одного из членов — наиболее хитрого и ловкого „брата“. Эту мысль, о необходимости союзного договора между коммунами, я настоятельно рекомендую тем, которые продолжают основывать коммунистические общины. Она родилась не из теории, а из опыта последних лет, особенно в Англии, где несколько общин попало в руки отдельных „братьев“, именно из-за отсутствия более широкой организации.

Маленькие общины, основывавшиеся за последние тридцать-сорок лет, гибли еще по одной, весьма важной причине. Они уединялись „от мира сего". Но борьба, и жизнь одушевленная борьбою, — для человека деятельного гораздо нужнее, необходимее, чем сытный обед. Потребность жить с людьми, окунуться в бурный поток общественной жизни, принять участие в борьбе, жить жизнью других и страдать их страданиями, особенно сильна в молодом поколении. Поэтому, как это отлично заметил мне Николай Чайковский, вынесший это из личного опыта, — молодежь, как только она подходит к восемнадцати или двадцати годам, неизбежно покидает свою общину, не составляющую часть всего общества: и молодежь неизбежно будет покидать свои общины, если они не слились с остальным миром и не живут его жизнью. Между тем, большинство коммун (за исключением двух, основанных нашими друзьями в Англии, возле больших городов) до сих пор, прежде всего считало нужным удалиться в пустыню.

В самом деле, вообразите себя в возрасте от 16 до 20 лет, в заключении в небольшой коммунистической общине где-нибудь в Техасе, Канаде или Бразилии. Книги, газеты, журналы, гравюры говорят вам о больших красивых городах, где интенсивная жизнь бьет ключем на улицах, в театрах, на митингах, как бурный поток. „Вот это—жизнь" говорите вы; „а здесь смерть, хуже чем смерть — медленное отупение! — Несчастье? Голод? Ну что ж, я хочу испытать и несчастье, и голод; пусть только это будет борьба, а не нравственное и умственное отупение, которое, хуже чем смерть!" И с этими словами вы уходите из коммуны. И вы — правы.

Поэтому понятно, какую ошибку делали икарийцы и другие коммунисты, основывая свои коммуны в прериях Северной Америки. Беря даром, или покупая за более дешевую цену землю в местах, еще мало заселенных, они тем самым прибавляли ко всем трудностям новой для них жизни, еще все те трудности, с которыми приходится бороться всякому поселенцу на новых местах, вдали от городов и больших дорог. А трудности эти, как известно по опыту, очень велики. Правда, что они получали землю за дешевую плату; но опыт коммуны около Ньюкастля доказал нам, что в матерьяльном отношении община гораздо лучше и скорее обеспечивает свою жизнь, *занимаясь огородничеством и садоводством* (в значительной мере в парниках и оранжереях), а не полеводством; причем, вблизи большого города, ей обеспечен сбыт плодов и овощей, которыми оплачивается даже высокая арендная плата за землю. Самый труд огородника и садовника несравненно доступнее городскому жителю, чем полевое хозяйство, а тем более — расчистка нивы в незаселенных пустынях.

Гораздо лучше платить арендную плату за землю в Европе, чем удаляться в пустыню, а тем более — мечтать, как это делали коммунисты Адамы и другие об основании *новой религиозной империи. Общественным* реформаторам нужна борьба, близость умственных центров, постоянное общение с обществом, которое они хотят реформировать, вдохновение наукой, искусством, прогрессом, которых нельзя получить из одних книг.

Бесполезно прибавлять, что правительство коммуны было всегда самым серьезным препятствием для всех практических коммунистов. В самом деле, достаточно прочесть: „Путешествие в Икарию" Кабэ, чтобы понять, как невозможно было удержаться коммунам, основанным икарийцами. Они требовали полного уничтожения человеческой личности перед великим жрецом-основателем. Мы понимаем неприязнь, которую Прудон питал ко всей этой секте!

Рядом с этим мы видим, что те из коммунистов, которые низводили свое правительство до наименьшей степени, или вовсе не имели никакого, как, например, Молодая Икария в Америке, еще преуспевали лучше и держались дольше других (тридцать пять лет). Оно и понятно. Самое большое ожесточение между людьми возникает всегда на политической почве, из-за преобладания, из-за власти; а в маленькой общине ссоры из-за власти неизбежно ведут ее к распадению. В большом городе мы еще можем жить о бок с нашими политическими противниками, так как там мы не вынуждены сталкиваться с ними беспрестанно. Но, — как жить, с ними в маленькой общине, где приходится сталкиваться каждый день, каждую минуту? Политические споры и интриги из-за власти переносятся здесь в мастерскую, в рабочую комнату, в комнату где люди собираются для отдыха, — и жизнь становится невозможною.

Вот главные причины распадения основанных до сего времени коммун.

Что же касается до коммунистического труда сообща, *до общинного производства*, то доказано вполне, что именно оно всегда прекрасно удавалось. Ни в одном коммерческом предприятии возрастание ценности земли, приданной ей трудом человека, не было так велико, как оно было в любой, в *каждой* из общин, основанных за последние сто лет в Европе или в Америке. Редкая отрасль промышленности давала такую прибыль, как промышленные производства, основанные на коммунистических началах — будь то меннонитская мельница, или фабрикация сукон, или рубка леса, или выращивание плодовых деревьев. Можно назвать сотни общин, в которых в несколько лет земля,

не имевшая сначала никакой ценности, получала ценность в десять или даже во сто раз большую.

Мы уже видели, что в больших коммунах, как у 7000 духоборов в Канаде, *экономический* успех был полный и быстрый. Но такой же экономический успех имел место в маленькой коммуне из семи или восьми рабочих анархистов около Ньюкастля. Они начали дело также без копейки, наняв ферму в три десятины, — нам пришлось в Лондоне собирать деньги по подписке на покупку для них коровы, чтобы давать молоко детям этой крошечной коммуны. Тем не менее, в три или четыре года они смогли придать своему клочку земли очень большую ценность, благодаря интенсивной обработке земли, соединенной с садоводством и парниковым огородничеством. К ним приезжали из Ньюкастля смотреть на их работу и удивлялись их замечательным успехам. Их великолепные сборы томатов, полученных в парниках, заранее покупались целиком Сэндерландским Кооперативом.

Если эта маленькая община должна была все-таки разойтись через три или четыре года, то *такова уже была обычная судьба* всякого маленького товарищества, поддерживаемого энтузиазмом нескольких личностей. Во всяком случае, не экономический провал заставил этих коммунистов распустить общину. Это были личные истории, неизбежные в такой маленькой компании, вынужденной к постоянному совместному сожительству.

Заметьте также, что если бы мы имели три или четыре анархических общины, об'единенных союзным договором, то уход основателя не повел бы к распадению коммуны, — произошла бы только перемены в личном составе.

Ошибки в хозяйстве, конечно, случались в коммунистических общинах, также, как и в капиталистических предприятиях. Но известно что в промышленном мире число банкротов бывает, из года в год, от 60-ти до 80-ти на каждые сто новых предприятий. Из каждых пяти вновь основанных предприятий, три или четыре банкротятся в первые же пять лет после их основания. Но мы должны признать, что ничего подобного не было с коммунистическими общинами. Поэтому, когда буржуазные газеты, желая быть остроумными, советуют дать анархистам особый остров и предоставить им там основывать свою коммуну, то, пользуясь опытом прошлого, мы ничего не имеем против такого предложения. Мы только предложим, чтобы этот остров был Остров Франции (провинция Ile-de-France, в которой лежит Париж), и чтобы нам отделили нашу долю общественного богатства, сколько его придется на человека. А так как нам не дадут ни Иль-де-Франс, ни нашу долю общественного капитала, то мы будем работать для того, чтобы народ когда-нибудь сам взял и то и другое путем социальной революции. И то сказать, Париж

и Барцелона были не так-то уже далеко от этого в 1871 году, — а с тех пор коммунистические взгляды успели - таки распростаниться среди рабочих.

Притом, всего важнее то, что нынче рабочие начинают понимать, что один какой-нибудь *город*, если бы он ввел у себя коммунистический строй, не распространивши его на соседние деревни, встретил бы на своем пути большие трудности. Ввести коммунистическую жизнь следовало бы сразу в известной *области*, -например в целом Американском Штате, — Огайо или Айдахо, как говорят наши американские друзья, социалисты. И они правы. Сделать первые шаги к осуществлению коммунизма, надо будет в довольно большой, промышленной и земледельческой области, захватывающей и город и деревню, а отнюдь не в одном только городе. Город без деревни не может жить.

Нам так часто приходилось уже доказывать, что государственный коммунизм не возможен, что мы не станем вновь перечислять наши доводы. Самое лучшее доказательство то, что сами государственники—то-есть, защитники социалистического *государства*—не верят в возможность коммунизма, устроенного под палкой государства. Никто из них не думает более о программе якобинского коммунизма, как она изложена Кабэ в его „Путешествии в Икарию". Коммунистический *Манифест* Маркса с Энгельсом - уже анахронизм для самих марксистов.

Большинство социалистов-государственников ныне так занято „завоеванием части власти" (conquête des pouvoirs) в *теперешнем, буржуазном государстве*, что они вовсе даже не стараются выяснить, что такое подразумевают они под именем социалистического государства, которое не было бы вместе с тем осуществлением *государственного капитализма*; то-есть такого строя, при котором все граждане становятся работниками, получающими задельную плату от государства. Когда мы им говорим, что они стремятся именно к этому, они сердятся; но, несмотря на это, они вовсе не стараются выяснить, какую другую форму общественных отношений они желали бы осуществить. Причина этого понятна. Так как они не верят в возможность *близкой* социальной революции, они стремятся просто к тому, чтобы стать частью правительства в теперешнем буржуазном государстве, предоставляя будущему, чтобы оно само определило свое направление

Что касается до тех, которые пробовали набросать картину будущего общества, то, когда мы им указывали, что, придавая широкое развитие государственному началу и сосредоточивая все производство в руках государственных чиновников, они тем самым убивают ту небольшую личную свободу, которую человечеству удалось уже отвоевать, они, обыкновенно, отвечали, что

вовсе не хотят над собою власти, а только хотят завести Статистические Комитеты. Но это—простая игра словами. Теперь достаточно уже известно, что единственная путная статистика исходит от самой личности. Только сама личность, каждая в отдельности, может дать точные статистические сведения насчет своего возраста, занятий и общественного положения, и подвести итоги тому, что каждый из нас произвел и потребил. Так и собирается теперь статистика, когда составители действительно хотят, чтобы их цифры заслуживали доверия. Так делались, между прочим, и наши „подворные описи“, честными земскими статистиками из молодежи.

Вопросы, которые надо поставить каждому обывателю при серьезных статистических обследованиях, в последнее время вырабатываются обыкновенно добровольцами или учеными, статистическими обществами, и роль статистических комитетов сводится теперь на то, что они раздают печатные листы с вопросами, а потом сортируют карточки и подводят итоги при помощи вычислительных машин. Поэтому, утверждать, что социалист так именно и понимает государство, и что никакой другой власти он ему и не хочет вручать, значит (если сказано искренно), попросту „отступить с честью“. Под словом Государство, во все века, да и самими государственниками-социалистами, понимался, вовсе не рассыльный, разносящий листы переписи, и не счетчик, подводящий итоги переписи, а действительные *распорядители народной жизни*. Надо и то сказать, что бывшие якобинцы порядком посбавили за последнее время со своих восторгов перед диктатурой и социалистической централизацией, которые они так горячо проповедывали лет тридцать тому назад. Нынче никто из них не решится утверждать, что потребление и производство картофеля должно устанавливаться из Берлина парламентом немецкого *фолькштата* (Народного Государства), как это говорилось в немецких социалистических газетах лет тридцать тому назад[1]).

---

[1]) Писано в 1913-м году. С тех пор, попытка перестройки общества на началах государственного и централизованного коммунизма и диктатуры партии, сделанные в России, показала, что вера в коммунизм Бабефа и Кабэ никогда не умирала среди социал-демократов революционеров, и она вполне подтвердила вместе с тем, возражения, делавшиеся в латинской части Интернационала — Франции, Испании и Италии — против такого коммунизма.

IV.

ВЕДЕТ-ЛИ КОММУНИЗМ К УМАЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ?

Так как коммунистическое государство есть утопия, от которой начинают отказываться те самые, которые прежде стояли за нее, то нам нечего над этим останавливаться — и давно пора заняться другим, более серьезным вопросом. А именно: Анархический, то есть, свободный и без-государственный коммунизм не представляет-ли также опасности для свободного развития личности? Не повлечет-ли он за собою тоже уменьшение свободы личности и подавление личного почина?

Дело в том, что во всех рассуждениях о свободе, наши мысли затемняются пережитками старого, и нам приходится считаться с целою кучею ложных представлений, завещанных нам веками рабства и религиозного гнета.

Экономисты уверяют нас, что договор, заключаемый рабочим, под угрозою голода, с его хозяином, именно, и есть сама свобода. Политиканы всяких партий стараются, с своей стороны, убедить нас, что теперешнее положение гражданина, попавшего в крепость ко всемогущему государству, ставшего его рабом и плательщиком, есть, именно, то, что следует называть свободою. Но ложность этих утверждений очевидна. В самом деле, — как можно изображать положение гражданина в современном государстве свободным, когда завтра - же он может быть призван и отправлен в Африку, чтобы там растреливать в упор безобидных Кабилов, с единственною целью, — открыть новое поле для спекуляций банкиров и дать на разграбление земли Кабилов европейским авантюристам? Как считать себя свободным, когда каждый из нас принужден отдавать, во всяком случае, более чем месяц труда каждый год, чтобы поддерживать целую тучу всяких правительств и чиновников, единственная цель которых — мешать тому, чтобы идеи социального прогресса осуществлялись, чтобы эксплоатируемые начали освобождаться от своих эксплоататоров, чтобы массы, удерживаемые церковью и государством в невежестве начали понимать кое-что и разбираться в причинах их порабощения?

Представлять это порабощение, как свободу, становится все более и более трудным. Но и даже самые крайние моралисты, Милль и его многочисленные последователи, определяя понятие о свободе, как *право делать все, лишь бы не нарушать также же права всех остальных*, не дали правильного определения слова „свобода". Не говоря уже о том, что слово „*право*", уна-

следованное нами из смутных стародавних времен, ничего не говорит, или говорит слишком много; но определение Милля позволило философу Спенсеру, очень многим писателям и даже некоторым индивидуалистам - анархистам, как, например, Теккеру, оправдать и восстановить все права государства, включая суд, наказание и даже смертную казнь. - Таким образом, они, в сущности волей - неволей воссоздали то самое государство, против которого выступили сначала с такою силою. Притом, мысль о „свободной воле“ скрывается под всеми этими рассуждениями.

Посмотрим же, что такое свобода?

Оставляя в стороне полу-бессознательные поступки человека и беря только сознательные (на них только и стараются оказать влияние закон, религии и системы наказания) беря только сознательные поступки человека, мы видим, что каждому из них предшествует некоторое рассуждение в нашем мозгу. „Выйду-ка я погулять“, проносится у нас мысль...—„Нет, я назначил свидание приятелю“, проносится другая мысль. Или же: „Я обещал кончить мою работу“, или—„Жене и детям скучно будет одним“, или же, наконец: „Я потеряю свое место, если я не пойду на работу“.

В этом последнем рассуждении сказался страх наказания, между тем как в первых трех человек имел дело только с самим собою — со своими привычками честности, или со своими личными привязанностями. И в этом состоит вся разница между *свободным* и *несвободным* состоянием. Человек, которому пришлось сказать себе: „Я отказываюсь от такого-то удовольствия, *чтобы избежать наказания*“ — человек несвободный.

И вот мы утверждаем, что человечество *может* и *должно* освободиться от страха наказания, уничтожив само наказание: и что оно *может* устроиться на анархических началах, при которых исчезнет страх наказания и даже страх порицания. К этому идеалу мы и стремимся.

Мы прекрасно знаем, что человек *не может* и не должен освободиться, ни от привычек известной честности (например, от привычки быть верным своему слову), ни от своих привязанностей (нежелание причинить боль, или даже огорчение тем, кого мы любим, или кого мы не хотим обмануть в их ожидании). *В этом смысле, человек никогда не может быть свободен*. И „абсолютный“ индивидуализм, о котором нам столько говорили в последнее время, особенно после Ницше, есть нелепость и невозможность.

Даже Робинзон не был *абсолютно свободен*, в этом смысле, на своем острове. Раз он начал долбить свою лодку, обрабатывать огород, или запасать провизию на зиму, он уже был захвачен своим трудом. Если он вставал ленивый и хотел поваляться

в своей пещере, он колебался минуту, а затем шел к своей начатой работе. С той же минуты, как у него завелся товарищ-собака, или несколько коз, а в особенности с тех пор, как он встретился с Пятницею, он уже не был *вполне свободен*, в том смысле, в каком это слово нередко употребляется в жару спора и иногда на публичных собраниях.

У него уже были *обязанности*, он уже вынужден был заботиться об *интересах другого*, он уже не был тем „полным индивидуалистом", которого нам иногда расписывают в спорах об Анархии.

С той минуты, как человек любит жену и имеет детей кто бы их ни воспитывал: сам ли он, или „общество", – у него возникают новые обязательства; но даже с той минуты, как у него завелись хоть одно домашнее животное или огород, требующий поливки только в известные часы дня, — он уже не может быть более тем „знать ничего не хочу", „эгоистом", „индивидуалистом" и тому подобное, которых нам иногда выставляют, как типы свободного человека. Ни на Робинзоновом острове, ни, еще менее, в обществе, *как бы оно ни было устроено*, такой тип не может быть преобладающим.

Он может появиться, как исключение, и действительно он появляется в качестве мятежника против разлагающегося и лицемерного общества, как наше; но никогда он не станет общим типом и ни даже желательным типом.

Человек всегда принимал, и всегда *будет принимать* в расчет интересы хоть нескольких других людей, — и будет принимать их все более и более, по мере того, как между людьми будут устанавливаться более и более тесные взаимные отношения, — а также и по мере того, как эти другие сами будут определеннее заявлять свои желания и свои чувства, свои права на равенство и настаивать на их удовлетворении.

Вследствие этого, мы не можем дать Свободе никакого другого определения, кроме следующего:

Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страх голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга).

Понимая Свободу в этом смысле — а я сомневаюсь, чтобы можно было дать ей другое, более широкое, и вместе с тем более вещественное определение — мы дожны признать, что коммунизм, действительно *может* уменьшить, и даже убить личную свободу. Таким его и проповедывали под предлогом, что это принесет счастье человечеству, и во многих коммунистических общинах это пробовали на деле. *Но коммунизм*

также может расширить эту свободу до ее последних пределов которых невозможно достигнуть при индивидуалистском строе и еще менее при том строе, когда людей эксплоатируют и рассматривают как низшие существа.

Все будет зависеть от того, с какими основными воззрениями мы приступим к коммунизму. *Сама коммунистическая форма общежития отнюдь не обусловливает подчинения личности. Больший же или меньший простор, предоставленный личности в данной форме общежития,—если только жизнь не устроена заранее в подначальной, пирамидальной форме, — определяется теми воззрениями на необходимость личной свободы, которые вносятся людьми в то или другое общественное учреждение.*

Сказанное справедливо по отношению ко всякой форме общественной или совместной жизни. Когда два человека селятся вместе в одной квартире, их совместная жизнь может привести одинаково — либо к подчинению одного из них другому, либо к установлению между ними отношений равенства и свободы для обоих. То же самое происходит в семье. То же самое будет, если мы возьмемся вдвоем копать огород, или издавать газету; и то же самое относится ко всякому другому союзу, большому или маленькому, к артели и ко всякой форме общественной жизни. Таким образом, в десятом, одиннацатом и двенадцатом веке, в городах того времени создавались общины вольных и равных и равно свободных людей, причем эти общины ревностно охраняли свою свободу и равенство; но в тех же самых общинах, четыреста лет спустя, народ, под влиянием учений Церкви и Римского Права, требовал диктатуры какого-нибудь монаха, или короля. Учреждения городского суда, цеховое устройство и прочее остались те же; но тем временем, в городах развились *понятия* Римского Права, верховной Церкви и Государственного права, тогда как первоначальные понятия о равенстве, третейском суде, о свободном договоре и о личном почине притупились, исчезли; и из этого родилась рабская приниженность семнадцатого и начала восемнадцатого века во всей средней Европе.

В современном обществе, где никому не позволяется обрабатывать поле, работать на фабрике, или пользоваться орудием труда, без того, чтобы не признать себя существом, подчиненным какому-нибудь господину, — рабство, подчинение и привычка к кнуту *навязываются* самой формой общества. Наоборот, в коммунистическом обществе, которое признает право каждого, на равных условиях, на все орудия труда и на все средства существования, которые имеет общество, — уже нет людей на коленях перед другими, кроме разве тех, кто по своему характеру являются добровольными рабами. Каждый считается равным другому

в том, что касается его права на благополучное существование лишь бы он не преклонялся перед волей и высокомерием других и поддерживал равенство во всех своих личных сношениях с товарищами по коммуне.

В самом деле, если присмотреться внимательнее, то нет никакого сомнения, что из всех учреждений, из всех испробованных до сих пор форм общественной организации, коммунизм еще больше всех других может обеспечить свободу личности, — если только основною идеею общины будет полная Свобода, отсутствие власти, — Анархия.

Коммунизм, как учреждение экономическое, может принять все формы, начиная с полной свободы личности и кончая полным порабощением всех — между тем как другие формы общественной жизни не могут проявляться безразлично в том или другом виде: те из них, например, которые не признают гражданского и имущественного равенства, неизбежно влекут за собою порабощение одних людей другими. Коммунизм-же может проявиться, например, в форме монастыря, в котором все монахи безусловно подчиняются воле настоятеля; но он может также выразиться и в форме вполне свободного товарищества, в котором каждый член сохраняет полнейшую независимость; причем само товарищество существует только до тех пор, покуда его члены желают оставаться вместе, и, нисколько не стремясь накладывать принуждение, стараются наоборот защищать свободу каждого и увеличивать и расширять ее во всех направлениях.

Коммунизм, конечно, может быть начальническим, принудительным, — и в этом случае, как показывает опыт, община скоро гибнет, — или же он может быть анархическим. Тогда как государство, будь оно основано на крепостном праве или же на коллективизме и коммунизме, роковым образом *должно* быть принудительным. Иначе оно перестает быть государством!

Оно не может присвоивать себе, по желанию, ту или иную форму. Те, кто думает, что это возможно, придают слову „государство" произвольный смысл, противоречащий происхождению и многовековой истории этого учреждения. Государство есть ярко выраженный тип иерархического учреждения, выработанного веками для того, чтобы подчинять всех людей и все их возможные группировки централизованной воле.

Государство по необходимости основано на принципе иерархии, начальства, иначе оно перестает быть государством [1]).

[1]) Когда Луи Блан противопоставил *[illegible]*, то Прудон ответил ему следующими строками, которые кажутся написанными сегодня: „Луи Блан говорит, что государство было до сих пор [illegible] и тираническим [illegible], но что отныне оно должно быть [illegible]. Отношения переменились [illegible] заключается вся революция. [illegible]

Есть еще один весьма важный пункт, который должен обратить на себя внимание каждого, кто дорожит свободой. Теперь уже начинают понимать, что без коммунизма человек никогда не достигнет полного развития личности, которое составляет, может быть, самое пламенное желание каждого мыслящего существа. Очень вероятно, что этот существенный пункт был бы давно признан, если бы люди не смешивали *индивидуализацию*, то есть, полного развития личности, с *индивидуализмом*. А последний, — это давно пора признать, — есть ничто иное, как буржуазный лозунг: „каждый для себя, и Бог для всех", причем буржуазия думала найти в этом средство освободиться от общества, налагая на рабочих экономическое рабство под покровительством государства. В прочем теперь она уже замечает, что сама также стала рабом государства.

Что коммунизм лучше всякой другой формы общежития может обеспечить *экономическую свободу* — ясно из того, что он лучше, чем всякая другая форма производства, может обеспечить каждому члену общества благосостояние, и даже удовлетворение потребностей роскоши, требуя взамен не более четырех или пяти часов работы в день, вместо того, чтобы требовать от него десяти, или девяти, или хотя бы даже восемь часов в день. *Дать человеку досуг, в течение десяти или одиннадцати часов из шестнадцати часов в сутки, которые представляют нашу сознательную жизнь* (около восьми часов надо положить на сон) — *уже значит расширить свободу личности* настолько, что такого расширения человечество добивается, как идеала, вот уже сколько тысяч лет. Раньше, это было невозможно, так что всякое стремление к комфорту, богатству и прогрессу должно было быть исключено из коммунистического общества. Но в настоящее время, при наших могучих способах машинного производства, это *вполне возможно*. В коммунистическом об-

---

же времена не прикрывались такими же утверждениями, говоря, что королевская власть была *слугой* народа, *что короли созданы для народов, а не народ для королей*, и тому подобными рассказами, которые теперь народ отлично знает. Теперь мы знаем, что значит эта служба государства, эта преданность правительства свободе. Бонапарт разве не говорил, что он слуга революции? Какие услуги он оказал ей!.. Так и государство-слуга. Таков ответ Луи Блана на мой первый вопрос. Что же касается вопроса о том, как государство может стать действительно и на деле *слугой*, и как, будучи *слугой*, оно может продолжать быть еще государством, Луи Блан не об'ясняет, — он благоразумно хранит на этот счет молчание". („Разные статьи: Газетные статьи", том III, стр. 43. Смотри также выше, стр. 53, то место, где Прудон говорит: „То, что называют в политике *властью*, аналогично и равноценно тому, что в политической экономии называют *собственностью*; эти две идеи равны друг другу и тождественны; нападать на одну значит нападать на другую; одна непонятна без другой; если вы уничтожите одну, то нужно уничтожить и другую, и обратно").

ществе человек легко сможет иметь каждый день полных десять часов досуга, и вместе с тем пользоваться благосостоянием. А *такой досуг уже представляет освобождение от одной из самых тяжелых форм рабства, существующих теперь в буржуазном строе. Досуг, сам по себе, уже составляет громадное расширение личной свободы.*

Затем, — признать всех людей равными и отречься от управления человека человеком, опять-таки представляет расширение свободы личности; причем мы не знаем никакой другой формы общежития, при которой это увеличение личной свободы могло бы быть достигнуто в той же мере, даже в мечтах. Но достичь этого возможно будет лишь тогда, когда первый шаг будет сделан: — когда каждому члену общества будет обеспечено существование, и когда никто не будет вынужден продавать свою силу и свой ум тому кто соблаговолит воспользоваться этой силой ради собственной наживы.

Наконец, —признать, как это делают коммунисты,—что первое основание всякого дальнейшего развития и прогресса общества есть *разнообразие занятий*, — опять-таки представляет расширение свободы личности. Если мы так организуем общество, что каждый его член будет совершенно свободен и сможет отдаваться, в часы досуга, всему, чему ему вздумается в области науки, искусства, творчества, общественной деятельности и изобретения; и если в самые часы работы будет возможно работать в разнообразных отраслях производства, воспитание будет ведено сообразно этой цели — в коммунистическом же обществе это вполне возможно, — то этим достигнется еще большее увеличение свободы, так как перед каждым из нас широко раскроется возможность расширить свои личные способности во всех направлениях [1]). Области, прежде недоступные, как наука, художество, творчество, изобретения, и так далее, откроются для каждого.

В какой мере личная свобода осуществится в каждой общине, или в каждом союзе общин, будет зависеть исключительно от основных воззрений, которые возьмут верх при основании общин. Так например, мы знаем одну религиозную общину, в которой человеку возбранялось даже выражать свое внутреннее состояние. Если он чувствовал себя несчастным, и горе выражалось на его лице, к нему немедленно подходил один из „братьев“ и говорил: „Тебе грустно, брат? А ты все-таки сострой веселое лицо: иначе огорчительно подействуешь на других братьев и сестер“. И мы знаем также одну английскую общину, состоявшую из семи человек, в которой один из членов — Коч-

---

[1]) Смотри мою работу: „Поля, Фабрики и Мастерския“.

каревы водятся и между социалистами — требовал назначения председателя („с правом бранить“) и четырех комитетов: садоводства, продовольствия, домашнего хозяйстви и вывоза, с абсолютными правами для председателя каждого из комитетов.

Есть, конечно, общины, которые были основаны, или были переполнены впоследствии, такими „преступными фанатиками власти“ (особый тип, рекомендуемый ученикам доктора Ломброзо); и не мало общин было основано фанатиками „поглощения личности обществом“. Но такие коммуны произвел не коммунизм. Их породило Церковное Христианство (глубоко-начальническое в своих основных началах) и Римское Право, — то-есть государство и его учения. Таково государственное воспитание людей, привыкших думать, что никакое общество не может существовать без судьи и ликторов, вооруженных розгами и секирою, — и эта идея останется постоянной угрозою и помехою коммунизму, пока люди не отделаются от нее. Но основное начало коммунизма — вовсе не начальство, а то простое утверждение, что для общества выгоднее и лучше овладеть всем, что нужно для производства и жизни сообща, не высчитывая, что каждый из нас произвел и потребил. Это основное понятие ведет к освобождению, к свободе, а не к порабощению.

Мы можем, таким образом, высказать следующие Заключения:

До сих пор попытки коммунизма кончались неудачею, потому что:

Они имели исходною точкою религиозный восторг, тогда как в общине следовало просто видеть способ экономического производства и потребления.

Они отчуждались от общества, его жизни и его борьбы;

Они были пропитаны духом начальствования;

Они оставались одиночными, вместо того, чтобы соединиться в союзы: общины были слишком малы;

Они требовали от своих членов такого количества труда, которое не оставляло им никакого досуга, и стремились всецело поглотить их;

Они были основаны, как сколки с патриархальной и подчиненной семьи, тогда как им следовало, наоборот, поставить себе основною целью наивозможно-полное освобождение личности.

Коммунизм — учреждение хозяйственное; и, как таковое, он отнюдь не предрешает, какая доля свободы будет предоставлена в общине личности, почину личности и отпору, который встретит в отдельных личностях стремление к утверждению навеки, однажды установленных обычаев. Коммунизм *может* стать

подначальным, и в таком случае община неизбежно гибнет; и он *может* быть вольным, и привести в таком случае, как это случилось даже при неполном коммунизме в городах двенадцатого века, к зарождению новой цивилизации, полной сил и обновившей тогда Европу.

Из этих двух форм коммунизма — вольного и подначального — только тот и будет устойчивым и будет иметь задатки прогресса и жизни, который, принимая во внимание стесненность теперешней жизни, сделает все, что возможно, чтобы расширить свободу личности во всех возможных направлениях.

В этом последнем случае, свобода личности, увеличенная приобретенным ею досугом, а также возможностью обеспечить себе благосостояние и вольным трудом при меньшем числе рабочих часов, так же мало пострадает от коммунизма, как и от проводимого теперь в городах газа и воды, от продуктов, посылаемых на дом большими магазинами, от современной гостиницы, или от того, что мы теперь, в часы работы, вынуждены вести ее сообща с тысячами других людей.

Имея анархию, как цель и как средство, коммунизм станет *возможен*, тогда как без этой цели и средства, он должен обратиться в закрепощение личности и, следовательно, привести к неудаче.

III.

Государство, его роль в истории.

III.

Государство, его роль в истории.

I.

Избирая предметом этого очерка государство и ту роль, которую оно играло в истории, я имел в виду живо ощущаемую теперь потребность в серьезном исследовании самой идеи государства, — его сущности, его роли в прошлом и того значения, которое оно может иметь в будущем [1]).

Социалисты разных оттенков расходятся, главным образом, по вопросу о государстве. Среди многочисленных фракций, существующих между нами и отвечающих разнице в темпераментах, в привычках мышления и, особенно, в степени доверия к надвигающейся революции,—можно проследить два главных направления.

На одной стороне стоят все те, кто надеется осуществить социальную революцию посредством государства, сохраняя большую часть его отправлений и даже расширяя их и пользуясь ими для революции. А на другой стоят те, кто, подобно нам, видит в государстве,—и не только в современной или какой-нибудь другой его форме, которую оно может принять, но в самой сущности его—препятствие для социальной революции: самое серьезное препятствие для развития общества на началах равенства и свободы, так как государство представляет историческую форму, выработавшуюся и сложившуюся с целью помешать этому развитию. Люди, стоящие на такой точке зрения, стремятся поэтому, не преобразовать, а совершенно уничтожить государство.

Различие, очевидно, очень глубокое. Ему соответствуют два течения, которые борятся теперь повсюду и сталкиваются как в

---

[1]) Первоначально этот очерк был написан, как одна из лекций, которые я должен был прочесть весною 1896-го года в Париже. Прочесть их мне, однако, не удалось, так как при въезде во Францию меня заарестовали и изгнали из страны. Тогда я несколько разработал эту лекцию и составил из нее предлагаемый очерк.

философии, так и в литературе и в общественной деятельности нашего времени. И если ходячие понятия о государстве останутся такими же сбивчивыми, каковы они теперь, то именно вокруг них и произойдет, без всякого сомнения, самая ожесточенная борьба, едва только настанет то, надеюсь, близкое время, когда коммунистические идеи попытаются осуществить на практике, в жизни общества.

Поэтому мне кажется, что для нас, так часто нападавших на современное государство, особенно важно выяснить теперь причину его зарождения, исследовать, какую роль оно играло в прошлом, и сравнить его с предшествовавшими ему учреждениями.

Условимся, прежде всего, в том, что мы разумеем под словом „государство".

Известно, что в Германии существует целая школа писателей, которые постоянно смешивают *государство* с *обществом*. Такое смешение встречается даже у серьезных немецких мыслителей, а также и у многих французских писателей, которые не могут представить себе общества без государственного подавления личной и местной свободы. Отсюда и возникает обычное обвинение анархистов в том, что они хотят „разрушить общество" и проповедуют „возвращение к вечной войне каждого со всеми".

А между тем такое смешение двух, совершенно разных понятий, „государство" и „общество", идет в разрез со всеми приобретениями, сделанными в области истории в течение последних пятидесяти лет; это значит забывать, что люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем создались государства, и что среди современных европейских народностей государство есть явление недавнего происхождения, развившееся лишь с шестнадцатого столетия, -причем самыми блестящими эпохами в жизни человечества были именно те, когда местные вольности и местная жизнь еще не были задавлены государством, и когда массы людей жили в общинах и вольных городах.

Государство есть лишь одна из тех форм, которые общество принимало в течение своей истории. Каким же образом можно смешивать постоянное с случайным,—понятие об обществе с понятием о государстве?

С другой стороны, *государство* нередко смешивают с *правительством*. И так как государство не мыслимо без правительства, то иногда говорят, что следует стремиться к уничтожению правительства, а не к уничтожению государства.

Мне кажется, однако, что в государстве и правительстве мы имеем понятия совершенно различного характера. Понятие о государстве подразумевает нечто совершенно другое, чем понятие о правительстве—оно обнимает собою не только существование

власти над обществом, но и *сосредоточение управления местною жизнью в одном центре*, т. е. *территориальную концентрацию*, а также *сосредоточение многих отправлений общественной жизни в руках немногих*. Оно предполагает возникновение совершенно новых отношений между различными членами общества. Весь механизм законодательства и полиции выработан для того, чтобы подчинить одни классы общества господству других классов.

Это характерное различие, ускользающее, может быть, на первый взгляд, ясно выступает при изучении происхождения государства.

Из чего следует, что для того, чтобы понять государство, есть один только способ, это — определить его историческое развитие; и это именно я попробую сделать теперь.

Древняя Римская Империя была государством в точном смысле слова. До сих пор она остается идеалом всех законников.

Ее органы, как сетью покрывали ее обширные владения. Все сосредоточивалось в Риме: экономическая жизнь, военное управление, юридические отношения, богатства, образованность и даже религия. Из Рима шли законы, судьи, легионы для защиты территории, губернаторы для управления провинциями, боги. Вся жизнь империи восходила к Сенату, а позднее—к кесарю, всемогущему, всеведающему богу империи. В каждой провинции, в каждом округе был свой Капитолий в миниатюре, своя частица римского самодержавия, от которой вся местная жизнь получала свое направление. Единый закон, закон установленный Римом, управлял империей, и эта империя была не союзом граждан, а сборищем *подданных*.

Юристы и государственники, даже и в наше время восхищаются единством этой империи, единым духом ее законов, красотой -говорят они—и гармонией ее организации.

И несмотря на это, внутреннее разложение с одной стороны и вторжение варваров извне с другой, смерть местной жизни, потерявшей способность противостоять нападению извне, а также испорченность в самом народе, распространявшаяся от центра, господство богатых, завладевших землями, и бедность тех, кто обрабатывал землю своими руками,—привели к распадению империи, на развалинах которой зародилась и развилась новая цивилизация,—наша цивилизация.

И если, оставляя в стороне древнюю историю Востока, мы обратимся к изучению происхождения и роста этой молодой, „варварской“ цивилизации, вплоть до периода, когда она породила в свою очередь наши современные государства, то сущность государства станет нам совершенно ясной. Мы не смогли бы яснее понять ее, даже если бы мы погрузились в изучение Римской

империи, Македонского царства или деспотических монархий Востока.

Беря за отправной пункт этих могучих варваров, уничтоживших римскую империю, мы сможем проследить развитие всей нашей цивилизации, начиная с самого ее зарождения вплоть до той ступени, когда началось государство.

II.

Большинство философов прошлого столетия об‘ясняло происхождение человеческих обществ очень просто.

Вначале, говорили они, люди жили маленькими отдельными семьями, и постоянная вражда между этими семьями была обычным, нормальным состоянием. Но в один прекрасный день, люди, убедившись в неудобствах этой бесконечной борьбы, решили образовать между собою общество. Раз‘единенные семьи согласились между собою, заключили общественный договор и добровольно подчинились власти, которая—со школьной скамьи нас так учили—сделалась отныне источником и началом всяческого прогресса в человечестве. Нужно-ли прибавлять, что наши теперешние правительства и до сего дня олицетворяют эту благороднейшую роль соли земли, роль умиротворителей и цивилизаторов рода человеческого? Так значится, по крайней мере, во всех учебниках и даже во многих философских трактатах.

Возникнувши в эпоху, когда о происхождении человека было известно еще очень мало, эта теория господствовала впродолжение всего восемнадцатого века. И мы должны признать, что в руках энциклопедистов и Руссо, идея „общественного договора“ была могучим орудием в борьбе с божественным правом королей. Но тем не менее, какие бы услуги эта теория ни оказала в прошедшем, в настоящее время она должна быть признана ошибочной и отвергнута.

На самом деле, все животные, за исключением лишь некоторых хищников, хищных птиц и некоторых вымирающих видов, живут обществами. В борьбе за существование, именно виды животных, живущих обществами, имеют всегда преимущество перед необщественными видами. В каждом классе животных они занимают вершину лестницы, и теперь не может быть никакого сомнения в том, что первые человекоподобные существа уже жили обществами.

Общество не было выдумано человеком,—оно существовало раньше появления первых человекоподобных существ [1]).

---

[1]) Более полное изложение этих взглядов можно найти в моей книге: „Взаим-

Мы также знаем теперь—антропология вполне доказала это,—что исходным пунктом для человечества послужила не обособленная семья, а род или племя, Патриархальная семья, в том виде, как она существует у нас, или как мы находим ее в древнееврейских преданиях, явилась уже гораздо позднее. Раньше этого, десятки тысяч лет люди жили родами или племенами, и в течение этого первоначального периода—будем, если угодно, называть его периодом диких или первобытных племен—в человечестве выработался уже целый ряд учреждений, обычаев или общественных привычек, задолго предшествовавших учреждениям патриархальной семьи.

В таком первобытном племени обособленной семьи не существовало, точно также как ее не существует среди многих других млекопитающих, живущих обществами. Деление внутри племени производилось скорее по поколениям, и с самых дальних времен, теряющихся в темной глубине до-истории человеческого рода, возникали ограничения, не допускавшие брачных союзов между мужчинами и женщинами разных поколений и дозволявшие их внутри одного и того же поколения. Следы этого периода можно еще и теперь встретить среди некоторых современных племен, а также их находят в языках, правах и суевериях народов, стоящих даже на гораздо более высоком уровне развития.

Племя сообща охотилось и собирало служившие в пищу растения, а затем, утолив свой голод, дикари со страстью предавались своим драматическим танцам. До сих пор мы находим на окраинах наших материков и в наименее доступных на земном шаре горных областях племена, недалеко ушедшие от этой первобытной ступени.

Накопление частной собственности в этот период было невозможно, потому что все, принадлежавшее лично отдельному члену племени, после его смерти сжигалось или уничтожалось там, где хоронили его труп. Это до сих пор практикуется, даже в Англии, среди цыган; следы же этого обычая мы находим в похоронных церемониях у всех так-называемых цивилизованных народов: китайцы сжигают сделанные из бумаги изображения тех вещей, которыми владел умерший, а у нас за умершим военным ведут его коня и несут его шпагу и ордена. Смысл этих обычаев утрачен; сохранилась одна форма.

Первобытные люди не только не проповедывали презрения к человеческой жизни, а напротив того, испытывали отвращение к убийству и кровопролитию. Пролить кровь — и не только

ная Помощь" (Mutual Aid, 2-е изд. 1904; в немецком переводе, Gegenseitige Hilfe, Leipzig, 1904, во французском переводе L'Entr'aide, Paris, 1905).

кровь человека, но даже некоторых животных, напр. медведя, — считалось таким большим преступлением, что за каждую каплю пролитой крови виновный в этом должен был поплатиться соответственным количеством своей крови.

Убийство члена своего племени было, таким образом, делом *совершенно неизвестным:* так, мы знаем наверное, что, например, у инуитов или эскимосов, которые представляют собою остатки людей каменного века, еще до сих пор уцелевшие в полярных областях, также у алеутов и т. д. не было ни одного убийства *внутри племени* втечение 50-ти, 60-ти или более лет.

Но когда племенам, различным по происхождению, по цвету и по языку, случалось, во время своих переселений, сталкиваться между собою, то между ними действительно нередко происходили войны. Правда, что уже в те времена люди старались по возможности смягчить эти столкновения, как показали исследования Мэна, Поста, Э. Ниса и др.; уже и тогда обычай начинал вырабатывать зародыши того, из чего впоследствии должно было возникнуть международное право. Так, например, нельзя было нападать на деревню, не предупредивши об этом ее жителей; также никто никогда не смел убивать на тропинках, по которым женщины ходили за водой. А при заключении мира, у некоторых племен излишек убитых на одной из сторон вознаграждался соответственной платой с другой.

Однако все эти предосторожности и многие другие были недостаточны. Солидарность не распространялась далее одного рода или племени. В результате происходили ссоры, и эти ссоры доходили до поранений и убийства между членами различных родов и племен.

С тех пор одно общее правило начало распространяться между родами и племенами: „Ваши убили или ранили одного из наших, поэтому мы вправе убить одного из ваших, или нанести ему совершенно такую же рану"—все равно кому, потому что за всякий поступок каждого из своих членов отвечало все племя. Известное библейское изречение—„кровь за кровь, око за око, зуб за зуб, рану за рану и жизнь за жизнь" („но отнюдь не более", как совершенно верно заметил Кенигсвартер), произошло от этого же обычая. Таково было понятие этих людей о справедливости, и нам нечего особенно гордиться перед ними, потому что принцип—„жизнь за жизнь", до сих пор еще царящий в наших уголовных законах, есть ничто иное, как одно из многочисленных переживаний.

Таким образом, уже в этот первобытный период выработался целый ряд общественных учреждений (многие из них я оставляю в стороне), и сложилось целое уложение (конечно устное) племенной нравственности. И для поддержания этого

пра общественных привычек в силе достаточно было влияния обычая, привычки и предания. Никакой другой власти не существовало.

У первобытных людей были, конечно, свои временные вожди. Колдуны и призыватели дождя—иначе, ученые того времени—старались воспользоваться своим действительным или кажущимся знанием природы для того, чтобы управлять своими соплеменниками. Точно также приобретали влияние и силу те, кто лучше других умел запоминать поговорки, притчи и песни, в которых воплощалось предание. Они рассказывали на народных праздниках эти притчи и песни, в которых передавались решения, принятые когда-либо народным собранием в том или ином споре. У многих племен так делается еще и теперь. Уже тогда „знающие" старались удержать за собой право на управление людьми, не передавая своих знаний никому, кроме избранных, посвященных. Все религии, и даже все искусства и все ремесла были, как мы знаем, вначале окружены различными „таинствами"; и современные исследования показывают нам, какую важную роль играют секретные общества посвященных в первобытных племенах, чтобы поддержать в них известные предписанные преданием обычаи. В этом уже заключаются зародыши власти.

Таким же образом, во время столкновений между племенами и во время переселений, наиболее храбрый, смелый, а в особенности наиболее хитрый естественно становился временным вождем. Но союза между хранителем „закона" (т. е. тем, кто умел хранить предания и древние решения), военным вождем и колдуном тогда еще не было, а потому о существовании среди этих первобытных племен *государства* так же не может быть речи, как о существовании его в обществах пчел и муравьев, или у современных нам патагонцев и эскимосов.

А между тем в этом состоянии люди жили многие тысячи лет; его пережили и варвары, раззорившие Римскую империю; в то время они только что выходили из этого быта.

В первые века нашего летосчисления, среди племен и союзов племен, населявших среднюю и северную Азию, произошло громадное передвижение. Целые потоки народов, теснимые более или менее образованными соседями, шли с азиатских плоскогорий—откуда их гнало, вероятно быстрое высыхание рек и озер [1])—устремляясь в равнины, на запад, на Европу, тесня друг друга, смешиваясь и переплетаясь друг с другом в их распространении к западу.

---

[1]) Соображения, которые привели меня к этой гипотезе, развиты в статье: „Высыхание Европо-Азии", написанной для Отдела Исследований Лондонского Географического Общества и напечатанной в „Географическом Журнале" этого Общества в июне, 1904 года.

Во время этих передвижений, когда столько племен, различных по происхождению и по языку, смешались между собою, тот первобытный племенной быт, который существовал тогда у большинства диких туземцев Европы, неизбежно должен был распасться. Первобытный племенной союз был основан на общности происхождения, на поклонении общим предкам. Но какая же могла быть общность происхождения между группами, образовавшимися в хаосе переселений, в войнах между различными племенами, причем среди некоторых племен кое-где зарождалась уже патриархальная семья, образовавшаяся благодаря захвату несколькими лицами женщин, отнятых или похищенных у соседних племен?

Старые связи были порваны, и чтобы избегнуть совершенной гибели (участь, которая в действительности и постигла многие племена, с того времени совершенно исчезнувшие для истории), приходилось создавать новые связи. И они возникли. Их нашли в общинном владении *землей*, т. е. тою областью, на которой каждое племя наконец осело[1]).

Владение сообща известной областью, той или другой долиной, теми или другими холмами сделалось основанием нового соглашения. Боги-предки потеряли всякое значение; их место заняли новые, местные боги долин, рек и лесов, которые и дали религиозное освящение новым союзам, заменив собой богов первобытного родового быта. Позднее, христианство, всегда готовое приноравливаться к остаткам язычества, создало из них местных святых.

С этих пор сельская община, состоящая вполне или отчасти из обособленных семей, соединенных однако же общим владением землей, сделалась на все последующие века необходимым связующим основанием народного союза.

На громадных пространствах восточной Европы, Азии и Африки сельская община существует и до сих пор. Под таким же строем жили и варвары, разрушившие Римскую империю — германцы, скандинавцы, славяне и т. д. И благодаря изучению варварских законов[2]), а также обычаев и законов, господствующих среди современных нам союзов сельских общин у кабилов,

[1]) Читатель, интересующийся этим предметом а также развитием общины и свободных городов, найдет гораздо больше сведений и необходимых указаний о литературе предмета в моей работе: „Взаимная Помощь“.

[2]) Под этим названием обыкновенно разумеют уцелевшие памятники древнего права Лангобардов, Баварцев и т. д., к которым принадлежит и наша „Русская Правда Ярослава“. — Ради краткости я пропускаю „неделеную семью“, — чрезвычайно распространенную бытовую форму, встречающуюся в Индии, составляющую основу жизни в Китае, а у нас встречающуюся среди „семейских“ раскольников, в Забайкалье. Она стоит между родом и сельскою общиною.

монголов, индусов, африканцев и других народов, стало возможным восстановить во всей ее полноте ту форму общества, которая служила исходной точкой нашей современной цивилизации.

Всмотримся же поближе в эти учреждения.

III.

Сельская община состояла в прежние времена,—как состоит и теперь—из отдельных семей, которые однако же в каждой деревне владели землею сообща. Они смотрели на нее, как на общее наследие и распределяли ее между собою, смотря по величине семей, по их нуждам и силам. Сотни миллионов людей и до сих пор еще живут при таком порядке в Восточной Европе, в Индии, па Яве и в других местах. Таким же образом устроились и в наше время добровольно русские крестьяне в Сибири, когда государство предоставило им свободу населять, как они хотели, огромные сибирские пространства.

Теперь обработка земли в сельской общине производится в каждом хозяйстве отдельно. Вся пахотная земля делится между семьями (и переделяется когда нужно), и каждая обрабатывает свое поле, как может. Но вначале, обработка земли также происходила сообща,—и во многих местах этот обычай сохранился еще до сих пор,—по крайней мере при обработке некоторых участков общинной земли. Точно также свозка леса и расчистка чещоб, постройка мостов, возведение укреплений или „городков", или башен, которые служили убежищем в случае нашествия—все это делалось сообща, как и до сих пор еще делается сотнями миллионов крестьян там, где сельской общине удалось устоять против вторжения государства. Но, выражаясь соврвменным языком, „потребление" происходило посемейно,—каждая семья имела свой скот, свой огород и свои запасы, так что могла уже накоплять и передавать накопленное по наследству.

Во всех делах мир имел верховную власть. Местный обычай был законом; а общее собрание всех глав семейств—мужчин и женщин—было судьей, и притом единственным судьей, и по гражданским и по уголовным делам. Когда один из жителей, принося жалобу против другого, втыкал свой нож в землю на том месте, где мир обыкновенно собирался, то мир был обязан „постановить приговор" на основании местного обычая, после того, как свидетели обеих сторон установят под присягой *факт* и обстоятельства обиды.

Мне не хватило бы времени изложить вам все то, что представляет интересного эта ступень развития общественности, так что я должен отослать желающих к моей книге „Взаим-

ная Помощь". Здесь же мне достаточно сказать, что все учреждения, которыми различные государства впоследствии завладели в интересах меньшинства, все понятия о праве, которые мы находим в наших законах (искаженные к выгоде опять-таки меньшинства), и все формы судебной процедуры, насколько они охраняют личность, получили свое начало в общинном быте. Так что, когда мы воображаем, что сделали большой шаг вперед, вводя у себя, например, суд присяжных,—мы в действительности, только возвращаемся к учреждению так, называемых „варваров", претерпевшему ряд изменений в пользу правящих классов. Римское право было ничем иным, как надстройкою над правом обычным.

Одновременно с этим, благодаря обширным добровольным союзам сельских общин, развивалось и сознание их национального единства.

Основанная на общем владении землею, а нередко и на общей ее обработке, обладающая верховной властью, и судебною, и законодательною—на основании обычного права—сельская община удовлетворяла большей части общественных потребностей своих членов.

Однако не все нужды были удовлетворены; оставались такие, которым нужно было искать удовлетворения. Но дух того времени был таков, что человек не обращался к правительству, как только возникала какая-нибудь новая потребность, а наоборот, сам брал почин и создавал, по соглашению с другими, союз, лигу, федерацию, общество, больших или малых размеров, многочисленное или малочисленное, чтобы удовлетворить эту вновь народившуюся потребность. И действительно, общество того времени было буквально покрыто сетью клятвенных братств, союзов для взаимопомощи, задруг,—как внутри сельской общины, так и вне ее, в союзе общин.

Мы можем наблюдать эту ступень развития и проявление этого духа даже теперь, среди тех варваров, союзы которых не были поглощены государствами, сложившимися по римскому, или вернее, по византийскому типу.

Так, у кабилов, например, довольно хорошо сохранилась сельская община со всеми только-что упомянутыми ее отправлениями: общинная земля, общинный суд и т. д. Но у человека существует потребность действия, потребность распространить свою деятельность и за тесные пределы своей деревни. Одни отправляются странствовать по свету, в поисках за приключениями в качестве купцов; другие берутся за то или другое ремесло, за то или другое искусство. Так вот, те и другие, купцы и ремесленники соединяются между собою в „братства", даже если они принадлежат к различным деревням, племенам или союзам общин.

Союз необходим им для взаимной защиты в далеких странствованиях, для передачи друг другу секретов ремесла—и они соединяются. Они приносят клятву в братстве и действительно практикуют его - на удивление европейцам—на деле, а не только на словах.

Помимо этого, с каждым может случиться несчастие. Обыкновенно тихий и спокойный человек, быть может, завтра в какой-нибудь ссоре переступит границы, положенные правилами приличия и общежития, нанесет кому-нибудь оскорбление действием, раны или увечье. А в таком случае придется уплатить раненому или обиженному очень тяжелое вознаграждение: обидчик должен будет защищаться перед деревенским судом и восстановить истину при помощи свидетельствующих под присягой, шести, десяти или двенадцати „соприсягателей". Это—еще одна причина, почему ему важно вступить в какое-нибудь братство.

Мало того, у людей является потребность потолковать о политике, может быть даже поинтриговать, потребность распространять то или иное нравственное убеждение, тот или другой обычай. Наконец, внешний мир также требует охраны, приходится заключать союзы с соседними племенами, устраивать обширные федерации, распространять понятия между-племенного права. - И вот, для удовлетворения всех этих эмоциональных и умственных потребностей, кабилы, монголы, малайцы и проч. не обращаются ни к какому правительству,—да у них его и нет: они—люди обычного права и личного почина, не испорченные на все готовыми правительством и церковью. Они поэтому соединяются прямо: они образуют братства, политические и религиозные общества, союзы ремесл—гильдии, как их называли в средние века в Европе, или *софы*, как их называют теперь кабилы. И эти *софы* выходят далеко за пределы своей деревни; они распространяются в далеких пустынях и чужеземных городах; и в этих союзах действительно практикуется братство. Отказать в помощи члену своего софа, даже если бы для этого пришлось рискнуть всем своим имуществом и самою жизнью,—значит стать изменником „братству": с таким человеком обращаются как с убийцей „брата".

То, что мы находим теперь среди кабилов, монголов, малайцев и т. д., было существенной чертой общественной жизни так-называемых варваров в Европе, от пятого до двенадцатого, и даже до пятнадцатого века. Под именем *гильдий, задруг, братств, университетов* (universitas) и т. п. повсюду существовало великое множество союзов для самых разнообразных целей: для взаимной защиты; для отмщения оскорблений, нанесенных какому-нибудь члену союза и для совместного наказания обидчика; для замены

мести „око за око“ вознаграждением за обиду, после чего обидчик обыкновенно принимался в братство; для совместной работы в своем ремесле; для взаимной помощи во время болезни; для защиты территории; для сопротивления нарождавшейся внешней власти; для торговли; для поддержания „доброго соседства“ и для распространения тех или других идей —одним словом, для всего того, за чем современный европеец, воспитавшийся на заветах кесарьского и папского Рима, обыкновенно обращается к государству. Очень сомнительно даже, можно ли было в те времена найти хоть одного человека—свободного или крепостного, за исключением, конечно, поставленных самими братствами вне закона, изгнанных из братств—изгоев,—который не принадлежал бы к каким-нибудь союзам или гильдиям, помимо своей общины.

В скандинавских *сагах* воспеваются дела этих братств: „беспредельная верность „побратимов“, поклявшихся друг другу в дружбе, составляет предмет лучших из этих эпических песен; между тем как церковь и нарождающаяся королевская власть,— представительницы вновь всплывшего Византийского или Римского Закона, обрушиваются на них своими проклятиями, анафемой и указами, которые к счастью остаются мертвой буквой.

Вся история того времени теряет свой смысл и делается совершенно непонятной, если не принимать в рассчет этих братств, этих союзов братьев и сестер, которые возникали повсюду для удовлетворения самых разнообразных нужд, как экономической, так и духовной жизни человека.

Чтобы понять громадный шаг вперед, сделанный во время существования этих двух учреждений—сельской общины и свободных клятвенных братств—вне всякого влияния со стороны Рима, христианства, или государства—достаточно сравнить Европу, какою она была во время нашествия варваров, с тем, чем она стала в десятом или одиннадцатом веке. За эти пятьсот или шестьсот лет, человек успел покорить девственные леса и заселить их: страна покрылась деревнями, окруженными полями и изгородями, и находящимися под защитой укрепленных городков; между ними, через леса и болота, были проложены тропы.

В этих деревнях мы находим уже зачатки различных ремесл и целую сеть учреждений для поддержания внутреннего и внешнего мира. За убийство или нанесение ран сельчане уже не стремятся мстить убийством обидчика или кого-нибудь из его родных и земляков, или нанести им соответственные раны, как это делалось в былые времена в родовом быте. Бывшие дружинники—бояре и дворяне—еще держатся этого устарелого правила (и в этом причина их бесконечных войн), но у крестьян уже вошло в обычай платить установленное судьями *вознаграждение* за обиду, после чего мир восстановляется; и обидчик,

если не всегда, то в большинстве случаев, принимается в семью, которую он обидел своим нападением.

Во всех спорах и тяжбах мы находим здесь третейский суд, как глубоко укоренившееся учреждение, вполне вошедшее в ежедневный обиход, наперекор епископам и нарождающимся князьям, которые требуют, чтобы каждая тяжба разбиралась ими, или их ставленниками, чтобы иметь, таким образом, возможность взимать в свою пользу пеню, которую раньше мир налагал на нарушителей общественного спокойствия и которой теперь завладевают князья и епископы.

Наконец, сотни сел об'единяются уже в могучие союзы— зачатки будущих европейских *наций*,—которые клятвою обязуются поддерживать внутренний мир, считают занимаемую ими землю общим наследием и заключают между собою договоры для взаимной защиты. Такие союзы мы встречаем еще и до сих пор у монгольских, тюрко-финских и малайских племен.

Тем не менее, черные точки мало по малу начинают собираться на горизонте. Рядом с этими союзами возникают другие союзы—союзы правящего меньшинства, которые пытаются превратить свободных людей в крепостных, или в подданных. Рим погиб, но его предания оживают. С другой стороны, и христианская „церковь“, мечтающая о восточных всемогущих церковных государствах, охотно оказывает свою могучую поддержку нарождающейся гражданской и военной власти.

Человек далеко не такой кровожадный зверь, каким его обыкновенно представляют, чтобы доказать необходимость господства над ним; он, наоборот, всегда любил спокойствие и мир. Иногда он, может быть, и не прочь подраться, но он не кровожаден по природе и во все времена предпочитал скотоводство и обработку земли военным похождениям. Вот почему, как только крупные передвижения варваров начали ослабевать, как только толпы пришельцев осели более или менее на занятых ими землях, мы видим, что забота о защите страны от новых пришельцев и воителей поручается одному человеку, который набирает себе небольшую дружину, из искателей приключений, привыкших к войнам, или прямо разбойников, тогда как остальная масса народа занимается разведением скота или обработкой земли. Затем, мало по малу „защитник“ начинает уже накоплять богатства: бедному дружиннику он дает лошадь и оружие (стоившее тогда очень дорого) и таким образом порабощает его; он начинает приобретать первые зачатки военной власти,

С другой стороны, большинство начинает мало по малу забывать предания, служившие ему законом; изредка лишь найдется в каждом селе какой-нибудь старик, удержавший в памяти

рассказы о прежних случаях решения, из которых складывается обычное право,—он поет о них песни или рассказывает былины народу во время больших общинных праздников. Тогда, мало по малу обособляются семьи, которые делают как бы своим ремеслом, переходящим от отца к сыну, запоминание этих стихов и песен, т. е. сохранение „закона“ во всей его чистоте. К ним обращаются сельчане за разрешением запутанных споров и тяжб, особенно, когда две деревни или два союза деревень отказываются признать решение третейских судей, выбранных из их среды.

В этих семьях гнездятся уже зачатки княжеской или королевской власти, и чем больше изучаешь учреждения того времени, тем более убеждаешься в том, что знание обычного права способствовало больше приобретению этой власти, чем сила оружия. Люди дали себя покорить гораздо больше из за желания „наказать“ обидчика „по закону“, чем вследствие прямого покорения оружием.

Таким образом создается первое „об‘единение властей“— первое общество для взаимного обеспечения совместного господства—то-есть, союз между судьей и военноначальником, как сила враждебная сельской общине. Обе эти должности соединяются в одном лице, которое окружает себя вооруженными людьми, чтобы приводить в исполнение судебные приговоры, укрепляется в своей крепости, начинает накоплять и сохранять за своей семьей богатства того времени, т. е. хлеб, скот, оружие, и мало по малу утверждает свое господство над соседними крестьянами.

Ученые люди этого времени, т. е. знахари, волхвы и попы, оказывают ему поддержку и получают свою долю власти: или-же, присоединяя силу меча и знание обычного права к грозному могуществу колдуна, попы завладевают властью в своих интересах. Отсюда вытекает светская власть епископов в девятом, десятом и одиннадцатом веках.

Не одну главу, а целый ряд книг нужно было бы написать, чтобы изложить подробно этот, в высшей степени важный предмет, и рассказать обстоятельно, как свободные люди превратились постепенно в крепостных рабов, обязанных работать на своих светских или духовных господ, живших в замках; как понемногу и как бы ощупью создавалась власть над деревнями и городами; как соединялись и восставали крестьяне, пытаясь бороться против этого растущего господства, и как они были побеждаемы в борьбе против крепких стен замков, и против охраняющих их, с головы до ног вооруженных людей.

Довольно будет сказать, что около десятого и одиннадцатого века Европа видимо шла полным ходом по пути к образованию варварских монархий, подобных тем, какие мы находим теперь в средней Африке, или, к образованию церковных госу-

дарств (теократий), в роде тех, которые встречаются в истории Востока. Это не могло, конечно, произойти сразу, в один день; но во всяком случае, зачатки таких мелких деспотических королевств и теократий уже были на лицо, и им оставалось только развиваться все больше и больше.

К счастью, однако, тот „варварский" дух скандинавов, саксов, кельтов, германцев и славян, который в течение семи или восьми веков заставлял их искать удовлетворения своих нужд в личном почине и путем свободного соглашения братств и гильдий, — этот дух еще жил в деревнях и городах. Варвары, правда, позволили поработить себя и уже работали на господ; но дух свободного почина и свободного соглашения еще не был в них убит окончательно. Их союзы оказались в высшей степени живучими, а крестовые походы только способствовали их пробуждению и развитию в западной Европе.

И вот, в одиннадцатом и двенадцатом столетиях по всей Европе вспыхивает с замечательным единодушием восстание городских общин, задолго до того подготовленное этим федеративным духом эпохи, и выросшее на почве соединения ремесленных гильдий с сельскими общинами и клятвенных братств ремесленников и купцов. В итальянских общинах восстание началось еще в десятом веке.

Это восстание, которое большая часть официальных историков предпочитают замалчивать или преуменьшать, спасло Европу от грозившей ей опасности. Оно остановило развитие теократических и деспотических монархий, в которых наша цивилизация, вероятно, погибла бы после нескольких веков пышного показного могущества, как погибли цивилизации Месопотамии, Ассирии и Вавилона. Этой революцией началась новая полоса жизни —полоса свободных городских общин.

IV.

Не удивительно, что современные историки, воспитанные в духе римского права и привыкшие смотреть на Рим, как на источник всех учреждений, не могут понять духа общинного движения в одиннадцатом и двенадцатом веке. Это смелое признание прав личности и образование общества путем свободного соединения людей в деревни, города и союзы—были решительным отрицанием того духа единства и централизации, которым отличался древний Рим и которым проникнуты все исторические представления современной официальной науки.

Восстания двенадцатого столетия нельзя приписать ни какой-

нибудь выдающейся личности, ни какому-нибудь центральному учреждению. Они представляют собою естественное явление роста человечества, подобное родовому строю и деревенской общине; они принадлежат не какому-нибудь одному народу или какой-нибудь области, а известной ступени человеческого развития.

Вот почему, оффициальная наука не может понять смысла этого движения, и почему историки Огюстен Тьерри и Сисмонди, оба писавшие в начале 19-го столетия и действительно понимавшие этот период, до настоящего времени не имели последователей во Франции. Только теперь Люшер попытался—и то очень несмело, следовать по пути, указанному великим историком меровингского и коммуналистического периода (Ог. Тьерри). По той же причине и в Германии исследования этого периода и смутное понимание его духа только теперь выдвигаются вперед. В Англии, верную оценку этих веков можно найти только у поэта Уильяма Мориса, а не у историков, за исключением разве Грина, который, однако, только под конец жизни начал понимать его. В России же, где, как известно, влияние римского права менее глубоко, Беляев, Костомаров, Сергеевич и некоторые другие превосходно поняли дух вечевого периода.

Средневековые вольные города-общины составились, с одной стороны, из сельских общин, а с другой, из множества союзов и гильдий, существовавших в эту эпоху вне территориальных границ. Они образовались из федераций этих *двух родов союзов*, под защитой городских стен и башень.

Во многих местах, средневековая община явилась, как результат мирного медленного роста. В других же—как во всей западной Европе—она была результатом революции. Когда жители того или другого местечка чувствовали себя в достаточной безопасности за своими стенами, они составляли „со-присягательство“ (con-juration). Члены его клялись взаимно забыть все прежние дела об обидах, драках, или увечиях, а в будущем—не прибегать, в случае ссоры, ни к какому другому судье, кроме выбранных ими самими гильдейских или городских синдиков. Во всяком ремесленном союзе, во всякой добро-соседской гильдии, во всякой задруге, этот обычай существовал издавна. Тоже было и в сельской общине, пока епископу или князю не удалось ввести в нее, а впоследствии навязать силою, своих судей.

Теперь все слободы и приходы, вошедшие в состав города, вместе с братствами и гильдиями, создавшимися в нем, составляли amitas („дружбу“), выбирали своих судей и клялись быть верными возникшему постоянному союзу между всеми этими группами.

Наскоро составлялась и принималась хартия. Иногда посы-

...ли для образца за хартией в какой-нибудь соседний город (мы ...ем теперь сотни таких хартий)—и новая община была готова. ...пископу или князю, которые до сих пор вершили суд среди ...щинников и часто делались их господами,—теперь оставалось ...лько признать совершившийся факт, или же бороться против ...лодого союза оружием. Нередко король, т. е. такой князь, ко...рый старался добиться главенства над другими князьями, и ...зна которого была всегда пуста, „жаловал" хартию за деньги. ...и отказывался этим от назначения общине *своего* судьи, но ...месте с тем возвышался, приобретал больше значения перед другими феодальными баронами, как покровитель таких-то городов. Но это далеко не было общим правилом; сотни вольных городов жили без всякого другого права, кроме собственной воли, под защитой своих стен и копий.

В течение одного столетия это движение распространилось (нужно заметить, путем подражания) с замечательным единодушием по всей Европе. Оно охватило Шотландию, Францию, Нидерланды, Скандинавию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Россию. И когда мы сравниваем теперь хартии и внутреннее устройство вольных городов французских, английских, шотландских, нидерландских, скандинавских, германских, богемских, русских, швейцарских, итальянских или испанских—нас поражает почти буквальное сходство этих хартий и республик, выросших под сенью такого рода общественных договоров. Какой знаменательный урок всем поклонникам Рима и гегельянцам, которые не могут себе представить другого способа достигнуть однообразия учреждений, кроме рабство перед законом!

От Атлантического океана до среднего течения Волги и от Норвегии до Сицилии, вся Европа была покрыта подобными же вольными городами, из которых одни, как Флоренция, Венеция, Нюренберг или Новгород, сделались многолюдными центрами, другие же оставались небольшими городами, состоявшими всего из сотни иногда даже двадцати семейств; причем они все-таки считались равными в глазах других, более цветущих городов.

Развитие этих, полных жизни и силы организмов шло, конечно, не везде одним и тем же путем. Географическое положение и характер внешних торговых сношений, препятствия, которые приходилось преодолевать—все это создавало для каждой из этих общин свою историю. Но в основе всех их лежало одно и то-же начало. Как Псков в России, так и Брюгге в Нидерландах, как какое-нибудь шотландское местечко с тремя стами жителей, так и цветущая богатая Венеция со своими людными островами, как любой городок в северной Франции или Польше, так и красавица Флоренция—все они составляли те же amitas, те же союзы сельских общин и соединенных гильдий, защищен-

ных городскими стенами. В общих чертах, их внутреннее устройство было везде одно и тоже.

По мере роста городского населения стены города раздвигались, становились толще, и к ним прибавлялись новые и все более высокие башни; каждая из этих башень воздвигалась тем или другим кварталом города, той или другой гильдией и носила свой особый характер. Город делился обыкновенно на несколько кварталов или концов,—четыре, пять или шесть, ограниченных улицами, которые расходились по радиусам от центрального кремля или собора к стенам города. Эти концы были обыкновенно заселены, каждый, особым ремеслом или мастерством; новые ремесла, молодые цехи—занимали слободы, которые со временем также вносились в черту города и городских стен.

Каждая *улица* и приход представляли особую земельную единицу, соответствующую старинной сельской общине; они имели своего уличанского или приходского старосту, свое уличанское вече, свое народное судилище, своего избранного священника, свою милицию, свое знамя и часто свою печать символ государственной независимости. Эту независимость они сохраняли и при вступлении в союз с другими улицами и приходами [1]).

Профессиональной единицей, часто совпадавшей, или почти совпадавшей с улицей или приходом, являлась гильдия—ремесленный союз. Этот союз точно также сохранял своих святых, свои уставы, свое вече, своих судей. У него была своя касса, своя земля, свое ополчение, свое знамя. Он точно также имел свою печать, в качестве эмблемы полной *независимости*. В случае войны, если гильдия считала нужным, ее милиция шла рядом с милициями других гильдий, и ее знамя водружалось рядом с большим знаменем, или carosse, всего города.

Наконец, город представлял собою союз этих концов, улиц, приходов и гильдий; он имел свое общенародное собрание всех жителей в главном вече, свою главную ратушу, выборных судей и свое знамя, вокруг которого собирались знамена всех гильдий и улиц. Он вступал в переговоры с другими городами, как вполне полноправная единица, соединялся с кем ему угодно и заключал с кем хотел национальные и международные союзы. Так английские „Cinque Ports“, т. е. Пять Портов, расположенные около Дувра, образовали союз с французскими и нидерландскими портовыми городами по другую сторону пролива; и точно также русский Новгород соединялся с скандинаво-германской Ганзой, и т. д. Во внешних сношениях каждый город имел все права современного государства. Именно в это время и создалась, бла-

---

[1]) Для России, см. в особенности Беляев, „Рассказы из Русской Истории

[illegible]ря добровольному соглашению, та сеть договоров, которая [illegible]том стала известна под именем международного права; эти до[illegible]воры находились под охраной общественного мнения всех горо[illegible]в и соблюдались лучше, чем теперь соблюдается международное право государствами.

Часто, в случае неуменья решить какой-нибудь запутанный спор, город „посылал искать решение“ к соседнему городу. Дух того времени—стремление обращаться скорее к третейскому суду, чем к власти—беспрестанно проявлялся в таком обращении двух спорящих общин к третей, как посреднице!

То же представляли и ремесленные союзы. Они вели свои торговые сношения и союзные дела совершенно независимо от городов и вступали в договоры помимо всяких национальных делений. И когда мы теперь гордимся международными конгрессами рабочих, мы в своем невежестве совершенно забываем, что международные с‘езды ремесленников и даже подмастерьев собирались уже в пятнадцатом столетии.

В случае нападения, средневековой город или защищался сам, и вел ожесточенные войны с окрестными феодальными баронами, ежегодно назначая одного или двух человек для команды над своими милициями; или же он принимал к себе особого „военного защитника“ --какого-нибудь князя или герцога, избираемого городом на один год, и с правом дать ему отставку, когда город найдет нужным. На содержание дружины ему обыкновенно давали деньги, собираемые в виде судебных взысканий и штрафов, но вмешиваться во внутренние дела города ему запрещалось [1]).

Иногда, когда город был слишком слаб, чтобы вполне освободиться от окружающих его феодальных хищников, он обращался, как к более или менее постоянному „военному защитнику“, к епископу или князю той или другой фамилии—Гвельфов или Гибелинов в Италии, Рюриковичей в России, или Ольгердовичей в Литве; но при этом город зорко следил, чтобы власть епископа или князя никоим образом не распространялась дальше дружинников, живущих в замке. Ему даже запрещалось в‘езжать в город без особого разрешения. Известно, что английская королева и до сих пор не может в‘ехать в Лондон без разрешения лорда мера, т. е. городского головы.

Мне очень хотелось бы подробно остановиться на экономической стороне жизни средневековых городов, но она была так разнообразна, что о ней нужно было бы говорить довольно долго, чтобы дать о ней верное понятие. Я принужден, поэтому, отослать

---

[1]) В России мы знаем сотни таких договоров, которые заключались ежегодно между городами (их вечем) и князьями.

читателя к тому, что говорил по этому поводу, в книге „Взаимная Помощь", основываясь на массе новейших исторических исследований. Достаточно будет заметить, что внутренняя торговля всегда велась гильдиями, а не отдельными ремесленниками, и что цены назначались по взаимному соглашению. Кроме того, внешняя торговля велась вначале *исключительно самими городами*: ее вел „Господин Великий Новгород", Генуя и т. д.; и только впоследствии она сделалась монополией купеческих гильдий, а еще позднее—отдельных личностей. По воскресеньям и по субботам после обеда (это считалось временем для бани) никто не работал. Закупкой главных предметов необходимых потребностей, как хлеб, уголь и т. п. заведывал город, который потом и доставлял их своим жителям, по своей цене. В Швейцарии, закупка зерна целым городом сохранялась в некоторых городах до средины 19-го столетия.

Вообще мы можем сказать на основании множества всевозможных исторических документов, что никогда человечество ни прежде, ни после этого периода не знало такого сравнительного благосостояния, обеспеченного для всех, каким пользовались средневековые города. Теперешняя нищета, неуверенность в будущем и чрезмерный труд, в средневековом городе были совершенно неизвестны.

V.

Благодаря всем этим элементам—свободе, организации от простого к сложному, тому, что производство и внутренний обмен велись ремесленными союзами (гильдиями), а внешняя торговля велась всем городом, как таковым, а закупка главных предметов потребления также производилась самим городом, который распределял их между гражданами по себестоимости — благодаря также духу предприимчивости, развитому такими учреждениями, средневековые города, в течение первых двух столетий своего свободного существования, сделались центрами благосостояния для всего своего населения, центрами богатства, высокого развития и образованности, невиданных до тех пор.

Когда рассматриваешь документы, дающие возможность установить размер заработной платы в вольных городах, сравнительно со стоимостью предметов потребления (Т. Роджерс сделал это для Англии, а многие немецкие писатели — для Германии), то ясно видно, что труд ремесленника и даже простого поденщика того времени оплачивался лучше, чем оплачивается в наше время труд наиболее искусного рабочего. Счетные книги

Оксфордского университета, которые имеются за семь столетий, начиная с двенадцатого века, и некоторых имений в Англии, а также некоторых немецких и швейцарских городов, ясно доказывают это.

С другой стороны, обратите внимание на художественную отделку, на количество орнаментов, которыми работник того времени украшал не только настоящие произведения искусства, как например городскую ратушу, или собор, но даже самую простую домашнюю утварь, какую-нибудь решетку, какой-нибудь подсвечник, чашку или горшок,—и вы сейчас же поймете, что он не знал ни торопливости, ни спешности, ни переутомления нашего времени; он мог ковать, лепить, ткать, вышивать, не спеша,—что теперь могут делать лишь очень немногие работники-артисты.

Если же мы взглянем на работы, делавшиеся рабочими бесплатно, для украшения церквей и общественных зданий, принадлежавших приходам, гильдиям или всему городу, а также на их приношения этим зданиям, будь то произведения искусства, как художественные панели, скульптурные произведения, изделия из кованного железа, чугуна или даже серебра,—или же простая работа столяра или каменьщика, то мы сразу увидим, какого благосостояния сумели достигнуть тогдашние города. Мы увидим также на всем, что бы ни делалось в то время, отпечаток духа изобретательности и искания нового: дух свободы, вдохновлявший весь их труд, и чувство братской взаимности. Она не могла не развиваться в гильдиях, где люди одного и того же ремесла об'единялись, не только ради практических нужд или технической стороны своего ремесла, но и связаны были узами братства и общественности. Гильдейскими правилами предписывалось, например, чтобы два „брата“ всегда присутствовали у постели каждого „брата“, в случае болезни—что в те времена чумы и повальных зараз требовало не мало самоотвержения. В случае же смерти, гильдия брала на себя все хлопоты и расходы по похоронам умершего, брата или сестры, и считала своим долгом проводить до могилы его тело и позаботиться об его вдове и детях.

Ни отчаянной нищеты, ни подавленности, ни неуверенности в завтрашнем дне, ни оторванности в бедности, которые висят над большинством населения современных городов, в этих „оазисах, возникших в двенадцатом веке среди феодальных лесов“—совершенно не было известно.

Под защитой своих вольностей, выросших на почве свободного соглашения и свободного почина, в этих городах возникла и развилась *новая цивилизация*, с такой быстротой, что ничего

подобного этой быстроте не встречается в истории, ни раньше, ни позже.

Вся современная промышленность ведет свое начало от этих городов. В течение трех столетий ремесла и искусства достигли в них такого совершенства, что наш век превзошел их разве только в быстроте производства, редко—в качестве и почти никогда в художественности изделий. Несмотря на все наши усилия оживить искусство, разве мы можем сравняться в живописи, по красоте с Рафаэлем? по силе и смелости—с Миккель Анжело? в науке и искусстве—с Леонардо да Винче? в поэзии и красоте языка—с Данте? или в архитектуре с творцами соборов в Лаоне, Реймсе, Кельне, Пизе, Флоренции, которых „строителями", по прекрасному выражению Виктора Гюго, „был сам народ"? И где же найти такие сокровища красоты, как во Флоренции и Венеции, как ратуши в Бремене и Праге, как башни Нюренберга и Пизы и т. д. до бесконечности? Все эти памятники искусства творения того периода вольных городов.

Если вы захотите смерить одним взглядом все, что было внесено нового этою цивилизациею, сравните купол собора Св. Марка в Венеции,—с неумелыми норманскими сводами; или картины Рафаэля—с наивными вышивками и коврами Байе; нюренбергские математические и физические инструменты и часы —с песочными часами предыдущих столетий; звучный язык Данте—с варварской латынью десятого века... Между этими двумя эпохами вырос целый новый мир!..

За исключением еще одной славной эпохи—опять-таки эпохи вольных городов в древней Греции человечество никогда еще не шло так быстро вперед, как в этот период. Никогда еще человек в течение двух или трех веков не переживал такого глубокого изменения, никогда еще ему не удавалось развить до такой степени свое могущество над силами природы.

Вы, может быть, подумаете о нашей современной цивилизации, успехами которой мы так гордимся. Но она, во всех своих проявлениях, есть лишь дитя той цивилизации, которая выросла среди вольных средневековых городов. Все великие открытия, создавшие современную науку, как компас, часы, печатный станок, открытие новых частей света, порох, закон тяготения, закон атмосферного давления, развитием которого явилась паровая машина, основания химии, научный метод, указанный Роджерсом Бэконом и прилагавшийся в итальянских университетах—что все это, как не наследие вольных городов и той цивилизации, которая развилась в них под охраной общинных вольностей?

Мне, может быть, скажут, что я забываю внутреннюю борьбу партий, которой полна история этих общин, забываю уличные

схватки, отчаянную борьбу с феодальными владельцами, восстания „молодых ремесл“ против „старых ремесл“, кровопролития и репрессалии этой борьбы...

Нет, я вовсе не забываю этого. Но, вместе с Лео и Ботта, двумя историками средневековой Италии, с Сисмонди, с Феррари, Джино Каппони и многими другими, я вижу в этих столкновениях партий залог вольной жизни этих городов. Я вижу, как после каждого из таких столкновений, жизнь города делала новый и новый шаг вперед. Лео и Ботта заканчивают свой подробный обзор этой борьбы, этих кровавых уличных столкновений, происходивших в средневековых итальянских городах, и совершавшегося одновременно с ними громадного движения вперед (обеспечение благосостояния для всех жителей, возрождение новой цивилизации) следующею очень верною мыслью, которая часто мне приходит в голову; я желал бы, чтобы каждый революционер нашего времени запомнил ее. „Коммуна только тогда и представляет, говорят они, картину нравственного целого, только тогда и носит общественный характер, *когда она*, подобно самому человеческому уму, *допускает в своей среде противоречия и столкновения*“.

Да, столкновения, но разрешающиеся свободно, без вмешательства какой-то внешней силы, без вмешательства государства, давящего своею громадною тяжестью на одну из чашек весов, в пользу той или другой из борющихся сил.

Подобно этим двум писателям, я также думаю, что „*навязывание*“ мира часто причиняет гораздо больше вреда, чем пользы, потому что таким образом противоположные вещи насильно связываются, ради установления однообразного порядка; отдельные личности и мелкие организмы приносятся в жертву одному огромному, поглощающему их телу—бесцветному и безжизненному“.

Вот почему вольные города, до тех пор, пока они не стремились сделаться государствами и распространять свое господство над деревнями и пригородами, т. е. создать „огромное тело, бесцветное и безжизненное“—росли и выходили из этих внутренних столкновений, с каждым разом моложе и сильнее. Они процветали, хотя на их улицах гремело оружие, тогда как двести лет спустя та же самая цивилизация рушилась под шум войн, которые стали вести между собою государства.

Дело в том, что в вольных городах борьба шла для завоевания и сохранения свободы личности, за принцип федерации, за право свободного союза и совместного действия; тогда как государства воевали из-за уничтожения всех этих свобод, из-за подавления личности, за отмену свободного соглашения, за об‘единение всех своих подданных в одном общем рабстве, перед королем, судьей и попом, т. е, перед государством.

В этом вся разница. Есть борьба, есть столкновения, которые убивают, и есть такие, которые двигают человечество вперед.

VI.

В течение пятнадцатого века явились новые, современные варвары и разрушили всю эту цивилизацию средневековых вольных городов. Им, конечно, не удалось уничтожить ее совершенно; но во всяком случае, они задержали ее рост по крайней мере на два или на три столетия, и дали ей другое направление, заведя человечество в тупик, в котором оно бьется теперь, не зная, как из него выйти на свободу.

Они сковали по рукам и по ногам личность, отняли у нее все вольности; они потребовали, чтобы люди забыли свои союзы, строившиеся на свободном почине и свободном соглашении. Они требовали, чтобы все общество подчинилось решительно во всем единому повелителю. Все непосредственные связи между людьми были разрушены, на том основании, что отныне только государству и церкви должно принадлежать право об‘единять людей; что только они призваны ведать промышленные, торговые, правовые, художественные, общественные и личные интересы, ради которых люди двенадцатого века обыкновенно соединялись между собою непосредственно.

И кто же были эти варвары? – Никто иной, как государство—вновь возникший тройственный союз между военным вождем, судьей (наследником римских традиций) и священником: тремя силами, соединившимися ради взаимного обеспечения своего господства и образовавшими единую власть, которая стала повелевать обществом во имя интересов общества и в конце концов раздавила его.

Естественно является вопрос, — каким образом новые варвары могли одолеть такие могущественные организмы как средневековые вольные города? Откуда почерпнули они силу для этого?

Эту силу, прежде всего, дала им деревня. Как древне-греческие города не сумели освободить рабов и погибли от этого, так и средневековые города, освобождая горожан, не сумели в то же время освободить от крепостного рабства крестьян.

Правда, почти везде, во время освобождения городов, горожане, сами соединявшие ремесло с земледелием, пытались привлечь деревенское население к делу своего освобождения. В течение двух столетий горожане Италии, Испании и Германии вели упорную войну с феодальными баронами и проявили в этой борьбе чудеса героизма и настойчивости. Они отдавали последние

силы на то, чтобы победить господские замки и разрушить окружавший их феодальный строй.

Но успех, которого они достигли, был неполный, и, утомившись борьбой, они заключили с баронами мир, в котором пожертвовали интересами крестьянина. Вне пределов той территории, которую города отбили для себя, они предали крестьянина в руки барона — только, чтобы прекратить войну и обеспечить мир. В Италии и Германии города даже признали барона гражданином, с условием, чтобы он жил в самом городе. В других местах они разделили с ним господство над крестьянами, и горожане сами стали владеть крепостными.

И за то-же бароны отомстили горожанам, которых они и презирали и ненавидели, как „черный народ“. Они начали заливать кровью улицы городов, из за вражды и мести между своими дворянскими родами, которые не отдавали, конечно, своих раздоров на суд презираемых ими общинных судей и городских синдиков, а предпочитали разрешать их на улицах, с оружием в руках, натравливая одну часть горожан на другую.

Кроме того, дворяне стали развращать горожан своею расточительностью, своими интригами, своей роскошной жизнью, своим образованием, полученным при королевских или епископских дворах. Они втягивали граждан в свои бесконечные ссоры. И граждане, в конце концов, начали подражать дворянам; они сделались в свою очередь господами и стали обогащаться внешней торговлей и на счет труда крепостных, живших в деревнях, вне городских стен.

При таких условиях, короли, императоры, цари и паны нашли поддержку в крестьянстве, когда они начали собирать свои царства и подчинять себе города. Там, где крестьяне не шли прямо за ними, они во всяком случае предоставляли им делать, что хотят. Они не защищали городов.

Королевская власть постепенно складывалась именно в деревне, в укрепленном замке, окруженном сельским населением. В двенадцатом веке она существовала лишь по имени; мы знаем теперь, что такое были те предводители мелких разбойничьих шаек, которые присвоивали себе титул короля, не имевший тогда - как доказал Огюстен Тьерри — почти никакого значения. Скандинавские рыбаки имели своих „королей над неводом“, даже у нищих были свои „короли“; король, князь, конунг, был просто временный предводитель.

Медленно и постепенно, то тут, то там, какому-нибудь более сильному или более хитрому князю, или тому, у кого был лучше расположен в данной местности замок, удавалось возвыситься над остальными. Церковь, конечно, была всегда готова поддер-

жать его. Путем насилия, интриг, подкупа, а где нужно, и кинжала и яда, он достигал господства над другими феодалами. Так складывалось, между прочим, московское царство[1]). Но местом возникновения королевской власти никогда не были вольные города с их шумным вечем, с их Тарпейской скалой, или рекой для тиранов; эта власть всегда зарождалась в провинции, в деревнях.

Во Франции, после нескольких неудачных попыток основаться в Реймсе или Лионе, будущие короли избрали для этого Париж, который был собранием деревень и маленьких городков, окруженных богатыми деревнями, но где не было вольного вечевого города. В Англии королевская власть основалась в Вестминстере—у ворот многолюдного Лондона; в России—в Кремле, построенном среди богатых деревень на берегу Москвы-реки, после неудачных попыток в Суздале и Владимире; но она никогда не могла укрепиться в Новгороде или во Пскове, в Нюренберге или во Флоренции.

Соседние крестьяне снабжали королей зерном, лошадьми и людьми; кроме того, нарождающиеся тираны обогащались и торговлей—уже не общинной, а королевской. Церковь окружала их своими заботами, защищала их, поддерживала их своей казной: наконец изобретала для королевского города особого святого и особые чудеса. Она окружала благоговением Парижскую Богоматерь и Московскую Иверскую. В то время, как вольные города, освободившись из под власти епископов, с юношеским пылом стремились вперед, Церковь упорно работала над восстановлением своей власти, через посредство нарождающихся королей; она окружала в особенности нежными заботами, фимиамом и золотом фамильную колыбель того, кого она в конце концов избирала, чтобы в союзе с ним восстановить свою силу и влияние. Повсюду—в Париже, в Москве, в Мадриде, в Вестминстере, мы видим, как Церковь заботливо охраняет колыбель королевской или царской власти с горящим факелом для костров в руках, и рядом с ней всегда находится палач.

Упорная в работе, сильная своим образованием в государственном духе, опираясь в своей деятельности на людей с твердой волей и хитрым умом, которых она умело отыскивала во всех классах общества; искушенная опытом в интригах и сведущая в Римском и Византийском праве, Церковь неустанно работала над достижением своего идеала—утверждением сильного короля в библейском духе, т. е. неограниченного в своей власти,

---

[1]) См. Костомарова, „Начало единодержавия на Руси",—особенно статью в „Вестнике Европы". Для издания в его „Материалах", Костомаров ослабил эту статью,—вероятно, по требованию цензуры.

но послушного первосвященнику: короля, который был бы простым гражданским орудием в руках Церкви.

В шестнадцатом веке совместная работа этих двух заговорщиков—короля и церкви—была в полном ходу. Король уже господствовал над своими соперниками баронами, и его рука уже была занесена над вольными городами, чтобы раздавить в свою очередь и их.

Впрочем, и города шестнадцатого столетия были уже не тем, чем мы их видели в двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом.

Родились они из освободительной революции двенадцатого века; но у них не достало смелости распространить свои идеи равенства, ни на окружающее деревенское население, ни даже на тех горожан, которые позднее поселились в черте городских стен, как в убежище свободы, и которые создавали там новые ремесла.

Во всех городах явилось различие между *старыми* родами, сделавшими революцию двенадцатого века—иначе просто „родами" и молодыми, которые поселились в городах позднее. Старая „Торговая Гильдия" не выказывала желания принимать в свою среду новых пришельцев и отказывалась допустить к участию в своей торговле „молодые ремесла". Из простого торгового агента города, который прежде продавал товары за счет города, она превратилась в маклера и посредника, который сам богател на счет внешней торговли и вносил в городскую жизнь восточную пышность. Позднее, „Торговая гильдия" стала ростовщиком, дававшим деньги городу, и соединилась с землевладельцами и духовенством против „простого народа"; или же она искала опоры для своей монополии, для своего права на обогащение, в ближайшем короле, давая ему денежные пособия для борьбы с его соперниками, или даже с городами. Переставши быть *общинной* и сделавшись *личной,* торговля наконец убивала вольный город.

Кроме того, старые ремесленные гильдии, которые вначале составляли город и его вече, сперва не хотели признавать за юными гильдиями более молодых ремесл те же права, какими пользовались сами. Молодым ремеслам приходилось добиваться равноправия путем революции; и о каждом из городов, которого история нам известна, мы узнаем, что в нем происходила такая революция. Но если в большинстве случаев она вела к обновлению жизни, ремесл и искусств — что очень ясно заметно во Флоренции — то в других городах она иногда кончалась победой *богатых* (popolo grasso) над *бедными* (popolo basso), подавлением движения, бесчисленными ссылками и казнями, осо-

бенно в тех случаях, где в борьбу вмешивались бароны и духовенство.

Нечего и говорить, что впоследствии, когда короли, прошедшие через школу маккиавелизма, стали вмешиваться во внутреннюю жизнь вольных городов, они избрали предлогом для вмешательства „защиту бедных от притеснения богатых“,—чтобы покорить себе и тех и других, когда король станет господином города. То, что происходило в России, когда московские великие князья, а впоследствие цари, шли покорять Новгород и Псков, под предлогом защиты „черных сотен“ и „мелких людишек“ от богатых, случилось также повсеместно: в Германии, во Франции, в Италии, в Испании и т. д.

Кроме того, города должны были погибнуть еще потому, что *самые понятия людей изменились.* Учения канонического и римского права совершенно извратили их умы.

Европеец двенадцатого столетия был по существу федералистом. Он стоял за свободный почин, за свободное соглашение, за добровольный союз, и видел в собственной личности исходный пункт общества. Он не искал спасения в повиновении, не ждал пришествия спасителя общества. Понятие христианской или римской дисциплины было ему совершенно чуждо.

Но под влиянием, с одной стороны, христианской церкви, всегда стремившейся к господству, всегда старавшейся наложить свою власть на души, и в особенности на труд верующих; а с другой, под влиянием римского права, которое, уже начиная с двенадцатого века проникало ко дворам сильных баронов, королей и пап, и скоро сделалось любимым предметом изучения в университетах—под влиянием этих двух, так хорошо отвечающих друг другу, хотя и яро враждовавших вначале учений—умы людей постепенно развращались, по мере того, как поп и юрист приобретали больше и больше влияния.

Человек начинал любить власть. Если в городе происходило восстание низших ремесл, он звал к себе на помощь какого-нибудь спасителя: выбирал диктатора или городского царька, и наделял его неограниченной властью для уничтожения противной партии. И диктатор пользовался ею со всей утонченной жестокостью, заимствованной от церкви и от восточных деспотий.

Церковь оказывала ему поддержку: ведь ее мечта была библейский король, преклоняющий колена перед первосвященником и становящийся его послушным орудием! Кроме того, она ненавидела всем сердцем и тот дух светской науки, который царствовал в вольных городах в эпоху первого возрождения —

т. е. возрождения двенадцатого века [1]); она проклинала „языческие идеи“, которые, под влиянием вновь-открытой древне-греческой цивилизации, звали человека назад к природе; и в конце концов Церковь подавила впоследствии движение, выливавшееся в восстание против папы, духовенства и церкви вообще. Костер, пытки и виселица — излюбленное оружие церкви — были пущены в ход против еретиков. Для церкви, в этом случае, было безразлично кто бы ни был ее орудием — папа, король или диктатор, — лишь бы костер, дыбы и виселица делали свое дело против еретиков...

Под давлением этих двух влияний — римского юриста и духовенства — старый федералистский дух, создавший свободную общину, дух свободного почина и свободного соглашения вымирал и уступал место духу дисциплины, духу правительственной и пирамидальной организации. И богатые классы, и народ одинаково требовали спасителя себе извне.

И когда этот спаситель явился, когда король, разбогатевший вдали от шумного городского веча, в им самим созданных городах, поддерживаемый церковью со всеми ее богатствами и окруженный подчиненными ему дворянами и крестьянами, постучался в городские ворота с обещанием „бедным“ своей мощной защиты от богатых, а „богатым“ — защиты от мятежных бедных, города, уже носившие в себе самих яд власти, не были в силах ему сопротивляться. Они отперли королю свои ворота.

Кроме того, уже с тринадцатого века монголы покоряли и опустошали Восточную Европу, и теперь в Москве возникало под покровительством татарских ханов и православной церкви, новое царство. Затем турки вторгнулись в Европу и основали свое государство, опустошая все на своем пути и дойдя в 1453 году до самой Вены. И, чтобы дать им отпор, в Польше, в Богемии, в Венгрии — в центре Европы — возникали сильные государства. В то же время на другом конце Европы, в Испании, жестокая война против мавров и их изгнание дали возможность основаться в Кастилии и Арагоне новой могущественной державе, — испанской монархии, опиравшейся на Римскую церковь и инквизицию, на меч и застенок.

Эти набеги и войны вели неизбежно к вступлению Европы в новый период жизни — в период военных государств, которые стремились „об'единить“, т. е. подчинить все другие города одному королевскому, или велико-княжескому городу.

А раз сами города превращались уже в мелкие государства, то последние были неизбежно обречены на поглощение крупными...

---

[1]) См. Костомарова „Русские рационалисты двенадцатого века“

VII.

Победа государства над вольными общинами и федералистическими учреждениями средних веков не совершились, однако, беспрепятственно. Было даже время, когда можно было сомневаться в его окончательной победе.

В городах и обширных сельских областях в средней Европе возникло громадное народное движение — религиозное по своей форме и внешним проявлениям, но чисто коммунистическое и проникнутое стремлением к равенству по своему содержанию.

Еще в четырнадцатом веке мы видим два таких крестьянских движения: во Франции (около 1358 года) и в Англии (около 1380 года); первое известно в истории под названием жакерии, а второе носит имя одного из своих крестьянских вождей — Уата Тэйлора. Оба они потрясли тогдашнее общество до основания. Оба были направлены, впрочем, главным образом, против феодальных помещиков. И хотя оба были разбиты, они разбили феодальное могущество. В Англии, народное восстание решительно положило конец крепостному праву; а во Франции жакерия настолько остановила его развитие, что дальнейшее его существование было скорее прозябанием, и оно никогда не могло достигнуть такого развития, какого достигло впоследствии в Германии и восточной Европе.

И вот, в шестнадцатом веке подобное же движение вспыхнуло и в центральной Европе, под именем движения „гусситов" в Богемии, и „анабаптистов" в Германии, Швейцарии и Нидерландах. В западной Европе, это было восстание, не только против феодальных баронов и помещиков, но полное восстание против церкви и государства, против канонического и римского права, во имя первобытного христианства [1]).

В течение многих и многих лет смысл этого движения совершенно искажался казенными и церковными историками, и только теперь его до некоторой степени начинают понимать.

Лозунгами этого движения были, с одной стороны, полная свобода личности, не обязанной повиноваться ничему, кроме предписаний своей совести, а с другой — коммунизм. И только уже гораздо позднее, когда государству и Церкви удалось истребить самых горячих защитников движения, а самое движение ловко повернуть в свою пользу, восстание лишилось своего революционного характера и выродилось в реформацию Лютера.

---

[1]) Смутное „время" в России, в начале XVII века, представляет аналогичное движение, направленное против крепостного права и государства, но без религиозного оттенка.

С Лютером оно было принято и князьями, но началось оно с проповеди безгосударственного анархизма, а в некоторых местах и с практического его применения—к сожалению однако с примесью религиозных форм. Но если откинуть религиозные формулы, составлявшие неизбежную дань тому времени, то мы увидим, что это движение по существу подходило к тому направлению, представителями которого являемся теперь мы. В основе его было: отрицание всяких законов, как государственных, так и якобы божественных, на том основании, что собственная совесть человека должна быть единственным его законом; а затем — признание общины единственною распорядительницею своей судьбы; причем она должна отобрать свои земли от феодальных владельцев и, вступая в вольные союзы с другими общинами, она переставала нести какую-бы то ни было денежную или личную службу государству. Одним словом, выражалось стремление осуществить на практике коммунизм и равенство. Так, когда Денка, одного из философов анабаптистского движения, спросили, признает ли он авторитет Библии, он ответил, что единственными обязательными для поведения человека он признает только два правила, которые он сам находит *для себя* в библии. — Но эти самые неопределенные выражения, заимствованные из церковного языка, — этот самый авторитет „книги", в которой легко найти доводы за и против коммунизма, за и против власти, эта особая неясность, когда речь заходит о решительном провозглашении свободы, эта самая религиозная окраска движения уже заключала в себе зародыши его поражения.

Возникши в городах, движение скоро распространилось и на деревни. Крестьяне отказывались повиноваться кому-бы то ни было и, надевши старый сапог или лапоть на копье, вместо знамени, отбирали у помещиков захваченные ими общинные земли, разрывали цепи крепостного рабства, прогоняли попов и судей и организовывались в вольные общины. И только при помощи костра, пытки и виселицы, только вырезавши в течение нескольких лет больше 100,000 крестьян, королевской или императорской власти, при поддержке папства и реформированной церкви — Лютер толкал на убийства даже больше, чем сам папа, — удалось положить конец этим восстаниям, которые, одно время, угрожали самому существованию зарождавшихся государств.

Лютеранская реформация, сама родившаяся из анабаптизма, но потом поддержанная государством, помогала истреблению народа и подавлению того самого движения, которому она была обязана, в начале своего существования, всей своей силой. Остатки этого громадного умственного течения укрылись в общинах „моравских братьев", которые в свою очередь были раздавлены сто

лет спустя церковью и государством. И только небольшие уцелевшие группы их спаслись, переселившись, кто в юго-восточную Россию (меннонитские общины, позднее переселившиеся в Канаду), кто в Гренландию, где они и до сих пор еще живут общинами и отказываются нести какую бы то ни было службу государству.

С тех пор существование государства было обеспечено. Законовед, поп, помещик и солдат, сомкнувшись в дружный союз вокруг трона, могли теперь снова продолжать свою гибельную работу.

И сколько лжи было нагромождено историками-государственниками, находившимися на службе у государства, об этом периоде! Всех нас учили в школе, что государство сослужило человечеству огромную службу, создавши национальные союзы на развалинах феодального общества; что такие союзы оказывались прежде неосуществимыми, вследствие соперничества городов, и только государства сумели об'единить народы! Все мы учились этому в школьные годы и почти все верили этому и в зрелом возрасте.

И вот теперь мы узнаем, что, несмотря на все свое соперничество, средне-вековые города в течение четырех сот лет работали над сплочением этих союзов путем федерации, основанной на добровольном соглашении, и что они вполне успели в этом.

Ломбардский союз, например, охватывал все города северной Италии и имел свою федеральную казну в Милане. Другие федерации, как Тосканский союз, Рейнский союз (включавший 60 городов), федерация вестфальских, богемских, сербских, польских и русских городов — покрывали собою всю Европу. Торговый Ганзейский союз одно время обнимал города Скандинавии, северной Германии, Польши и России вокруг Балтийского моря. Все элементы, нужные для образования добровольных союзов и даже само практическое осуществление их здесь на лицо.

До сих пор можно еще видеть живые примеры таких союзов Посмотрите на Швейцарию. Там союз возник прежде всего между сельскими общинами (так наз. „старые кантоны"), и такой же союз возник в то-же время во Франции, в области Лана (Laon). Затем, так как в Швейцарии города никогда не отделялись вполне от деревень (как это было в других странах, где города вели обширную внешнюю торговлю), то швейцарские города помогли деревням во время восстания крестьян в шестнадцатом веке; а потому, швейцарскому союзу удалось об'единить и те и другие в одну федерацию и уцелеть до сих пор.

Но государство, по самой сущности своей, не может терпеть вольного союза; для государственного законника он составляет пугало: „государство в государстве“! Государство не хочет терпеть внутри себя добровольного союза людей, существующего самого по себе. Оно признает только *подданных*. Только государство и его сестра — Церковь присвоили себе исключительное право быть соединительным звеном между отдельными личностями.

Понятно, поэтому, что государство непременно должно было стремиться уничтожить города, основанные на прямой связи между гражданами. Оно *обязано* было уничтожить всякую внутреннюю связь в таком городе, уничтожить самый город, уничтожить всякую прямую связь между городами. На место федеративного принципа оно должно поставить подчинение и дисциплину. „В этом—самое основное его начало. Без него оно перестает быть *государством* и превращается в федерацию.

И вот весь шестнадцатый век, век резни и войн, — вполне поглощается этой борьбой на жизнь и смерть, которую нарождающееся государство об'явило городам и их союзам. Города осаждаются, берутся приступом и разграбляются; их население избивается и ссылается, и в конце концов Государство одерживает победу по всей линии! И вот каковы последствия этой победы.

В пятнадцатом веке Европа была покрыта богатыми городами; их ремесленники, каменщики, ткачи и резчики производили чудеса искусства; их университеты клали основания современной опытной науке; их караваны пересекали материки, а корабли бороздили моря и реки.

И что же осталось от всего этого через двести лет? — Города с 50.000 и 100.000 жителей, как Флоренция, где было больше школ и больше постелей в госпиталях, на каждого жителя, чем теперь в наилучше обставленных в этом отношении столицах, — превратились в захудалые местечки. Их жители были либо перебиты, либо сосланы, либо разбежались. Их богатства — присвоены государством, или церковью. Промышленность увядала под мелочной опекой чиновников; торговля умерла. Самые дороги, которые соединяли между собой города, в семнадцатом веке сделались непроходимыми.

Государство и война — нераздельно; и войны опустошали Европу и доканчивали разорение тех городов, которых государство не успело разорить непосредственно.

Если города были раздавлены, то может быть, хоть деревни выиграли от государственной централизации? Нисколько! Посмотрите, что говорят историки о жизни в деревнях Шотлан-

дии, Тосканы и Германии, в четырнадцатом веке, и сравните, это с описаниями деревенской нищеты в Англии в 1648-м году, во Франции при „короле солнце" Людовике XIV, в Германии, в Италии, — одним словом повсюду, после столетнего господства Государства.

В России это было нарождающееся государство Романовых, которые ввели крепостное право и придали ему скоро формы рабства.

Везде нищета, которую единогласно признают и отмечают все. Там, где крепостное право было уже уничтожено, оно под самыми разнообразными формами было восстановлено, а где еще не было уничтожено, оно оформилось, под покровом государства, в свирепое учреждение, обладавшее всеми характерными особенностями древнего рабства, и даже хуже того.

Но разве можно было ожидать чего-нибудь другого от Государства, раз главной его заботой было уничтожить, вслед за вольными городами, сельскую общину, разрушить все связи, существовавшие между крестьянами, отдать их земли на разграбление богатым и подчинить их, каждого в отдельности, власти чиновника, попа и помещика?

VIII

Уничтожить независимость городов, разграбить богатые торговые и ремесленные гильдии; сосредоточить в своих руках всю внешнюю торговлю городов и убить ее; забрать в свои руки внутреннее управление гильдий и подчинить внутреннюю торговлю и все производство, все ремесла, во всех мельчайших подробностях, стаду чиновников, и тем самым убить и промышленность, и искусства; задушить местное управление; уничтожить местное ополчение; задавить слабых налогами в пользу сильных, и раззорить страну войной — такова была роль нарождающегося государства в шестнадцатом и семнадцатом столетиях по отношению к городским союзом.

То же самое, конечно, происходило и в деревнях, среди крестьян. Как только государство почувствовало себя достаточно сильным, оно поспешило уничтожить сельскую общину, раззорить крестьян, вполне предоставленных его произволу, и разграбить общинные земли.

Правда, историки и политико-экономы, состоящие на жалованьи у государства, учили нас всегда, что сельская община представляет собою устарелую форму землевладения, мешающую развитию земледелия, и что потому она осуждена была на исчез-

новение под „влиянием естественных экономических сил". Политики и буржуазные экономисты продолжают говорить это и до сих пор, и, к сожалению, есть даже революционеры и социалисты (претендующие на название „научных" социалистов), которые повторяют эту заученную ими в школе басню.

А между тем, это — самая возмутительная ложь, которую только можно встретить в науке. История кишит документами, несомненно доказывающими всякому, кто только желает знать истину (относительно Франции для этого достаточно хотя бы одного сборника законов, Даллоза), — что государство сперва лишило сельскую общину независимости, всяких судебных, законолательных и административных прав; а затем ее земли были, или просто разграблены богатыми, под покровительством государства, или же конфискованы непосредственно самим государством.

Во Франции грабеж этот начался еще в шестнадцатом столетии и продолжался еще более деятельно в семнадцатом. Еще в 1659-м году государство взяло общины под свое особое покровительство, и достаточно прочесть указ Людовика XIV (1667-го года), чтобы понять, что грабеж общинных земель начался с этого времени. „Люди присваивали себе земли, когда им вздумается... земли делились... чтобы оправдать грабеж, выдумывались долги, яко-бы числившиеся за общинами", - говорит король в этом указе... а два года спустя он конфискует в свою собственную пользу все доходы общин. Вот что называется „естественной смертью" на яко-бы научном языке.

В течение следующего столетия половина, по крайней мере, всех общинных земель была просто на просто присвоена аристократией и духовенством под покровительством государства. И несмотря на это, общины всетаки продолжали существовать до 1787-го года. Общинники все еще собирались где нибудь под вязом, распределяли земли, назначали налоги; сведения об этом вы можете найти у Бабо, „Община при старом режиме" (Babeau, Le village sous l'ancien régime). Тюрго нашел, однако, что общинные советы „слишком шумны", и уничтожил их в той провинции, которой он управлял; на место их он поставил собрания выборных, — из состоятельной части населения. В 1787-м году, т. е. накануне революции, государство распространило эту меру на всю Францию. *Мир* был уничтожен, и управление делами общин перешло в руки немногих синдиков, избранных наиболее зажиточными буржуа и кретьянами.

„Учредительное Собрание" поспешило подтвердить этот закон в декабре 1789 года; после чего буржуазия, занявшая место дворян, стала грабить остатки общинных земель. И потребовался целый ряд крестьянских бунтов, чтобы заставить

Конвент, в 1793 году, утвердить то, что было уже сделано восставшими крестьянами в восточной Франции, т. е. он и дал распоряжение о возвращении крестьянам общинных земель. Но это случилось только тогда, когда *крестьяне своим восстанием и так уже отбили землю.* — и проведено это было только там, где они сами совершили это на деле.

Такова, пора бы это знать, судьба всех революционных законов: они осуществляются на практике только тогда, когда уже являются совершившимся фактом.

Тем не менее, признавая право общин на землю, которая была у них отнята после 1669 года, Законодательное Собрание не упустило случая подпустить в этот закон буржуазного яда. В нем сказано, что земли, отнятые у дворян, должны быть разделены по-ровну, только между „гражданами“ — то есть между деревенской буржуазией. Одним почерком пера Конвент лишил, таким образом, права на землю „присельщиков“, т. е. массу обедневших крестьян, которые больше всего и нуждались в общинных угодьях. К счастью, в ответ на это крестьяне опять стали бунтоваться в 1793-м году, и тогда только Конвент издал новый закон, предписывавший разделение земель между всеми крестьянами. Но это распоряжение никогда не было приведено в исполнение, и послужило лишь предлогом для новых захватов общинных земель.

Всех этих мер, казалось, было бы достаточно, чтобы заставить общины „умереть естественной смертью“— как выражаются эти господа. И однако общины продолжали существовать. 24-го августа 1794 года, господствовавшая тогда реакционная власть нанесла им новый удар. Государство конфисковало все общинные земли, сделало из них запасный фонд, обеспечивающий национальный долг, и начало продавать их с аукциона крестьянам, а больше всего сторонникам буржуазного переворота, кончившегося казнью якобинцев, т. е. „термидорцам“.

К счастью, 2-го Прериаля пятого года, этот закон был отменен, после трехлетнего существования. Но в то же время были уничтожены и общины, на место которых были учреждены „кантональные советы“, чтобы государство легко могло наполнять их своими чиновниками. Так продолжалось до 1801 года, когда сельские общины опять были восстановлены; но за то правительство присвоило себе право назначать мэров и синдиков во всех 36.000 общинах Франции! Эта нелепость продолжала существовать до революции 1830-го года, после которой был возобновлен закон 1784 года. В промежуток между этими мерами общинные земли подверглись опять конфискации государством в 1813 году; затем

втечение трех лет предавались разграблению. Остатки земель были возращены только в 1816 году.

Но и это еще был не конец. Каждое новое правительство видело в общинных землях источник, из которого можно было черпать награды для людей, которые служили правительству поддержкой. После 1830 года, три раза — первый в 1837 году и в последний, уже при Наполеоне III — издавались законы, *предписывавшие* крестьянам разделить общинные леса и пастбища подворно; и все три раза правительства были вынуждены отменять эти законы, в виду сопротивления крестьян. Тем не менее, Наполеон III умел всетаки воспользоваться этим и утянуть для своих любимцев несколько крупных имений.

Таковы факты, и таковы на „научном" языке „экономические законы", под ведением которых общинное землевладение во Франции умерло „естественною смертью". После этого, может быть, и смерть на поле сражения ста тысяч солдат есть также „естественная смерть"?

То, что произошло во Франции, случилось также в Бельгии, в Англии, в Германии, в Австрии; короче говоря, во всей Европе, за исключением славянских стран[1]).

Страннее всего то, что и периоды разграбления общин во всех странах Западной Европы также совпадают. Разница была только в приемах. Так, в Англии не решались проводить общих мер, а предпочли издать несколько тысяч отдельных *актов об обгораживании*, которыми дворянско-буржуазный Парламент, в каждом отдельном случае утверждал конфискацию земли, облекая помещика правом удерживать за собой обгороженную им землю. *И Парламент делает это до сих пор.* Несмотря на то, что в Англии до сих пор еще видны следы тех борозд, которые служили для временных переделов общинных земель на участки, по столько-то на семью, и что мы находим в сочинениях Маршаля ясное описание этого рода землевладения, существовавшего еще в начале 19-го века, *и что общинное хозяйство сохранилось еще в некоторых коммунах*[2]) до сих пор еще находятся ученые люди (вроде Сибома, достойного ученика Фюстель де Куланжа), которые утверждают, что в Англии сельских общин никогда не существовало, помимо крепостного права!

Те же приемы мы видим и в Бельгии, и в Германии, и в Италии, и в Испании. Присвоение в личную собственность преж-

---

[1]) Это произошло теперь и в России, где правительство разрешило захват общинных земель по закону 1906 года и поощряло этот захват через своих чиновников.

[2]) Смотри статью Д. Слэтера. „Обгораживание общинных земель" в „Географическом Журнале" Лондонского Географического Общества, *с чертежами и планами*, январь 1907 г. С тех пор вышла книгой.

них общинных земель было таким образом почти завершено к пятидесятым годам 19-го столетия. Крестьяне удержали за собой лишь жалкие клочки своих общинных земель.

Вот к чему привел союз взаимного страхования между помещиком, попом, солдатом и судьей — т. е. Государство — в отношении к крестьянам, которых он лишил последнего средства обеспечения от нищеты и экономического рабства.

Теперь спрашивается, организуя и покрывая, таким образом, грабеж общинных земель, могло ли государство допустить существование общины, как органа местной жизни?

Очевидно, нет.

Допустить, чтобы граждане образовали в своей среде союз, которому были бы присвоены обязанности государства, было бы противоречием государственному принципу. Государство требует прямого и личного подчинения себе подданных, без посредствующих групп: оно требует равенства в рабстве; оно не может терпеть „государства в государстве“.

Поэтому, в шестнадцатом столетии, как только государство начало складываться, оно приступило к разрушению связей, существовавших между гражданами в городах и в деревнях. Если оно иногда и мирилось с некоторой тенью самоуправления в городских учреждениях — но никогда с независимостью, — то это делалось исключительно ради фискальных целей, ради возможно большего облегчения общего государственного бюджета; или же для того, чтобы дать возможность состоятельным людям в городах обогащаться на счет народа; это происходило, например, в Англии до самого последнего времени, и отражается до сих пор в ее учреждениях и обычаях: все городское хозяйство, вплоть до самого последнего времени, было в руках нескольких богатых лавочников.

И это вполне понятно. Местная жизнь развивается из обычного права, тогда как римский закон ведет к сосредоточению власти в немногих руках. Одновременное существование того и другого невозможно: одно из двух должно исчезнуть.

Вот почему, напр., в Алжире, при французском управлении, когда кабильская *джемма*, или сельская община, ведет какой-нибудь процесс о своих землях, каждый член общины должен обратиться к суду с отдельной просьбой, так как суд скорее выслушает пятьдесят или двести отдельных просителей, чем одно коллективное ходатайство целой джеммы. Якобинский устав Конвента (известный под именем кодекса Наполеона) не признал обычного права: для него существует только римское, или скорее византийское право.

Вот почему, если где-нибудь во Франции буря сломает

...о на большой дороге, или, если какой-нибудь крестьянин ...делает заплатить каменщику два или три франка, вместо того, ...бы самому набить щебня для починки его участка общинной ...роги, то для этого должны засесть и царапать перьями целых ...надцать чиновников министерства внутренних дел и государ...енного казначейства; эти великие дельцы должны обменяться ...ее, чем *пятьюдесятью бумагами* и отношениями, раньше чем ...рево будет продано, и крестьянин получит разрешение внести ...и два-три франка в общинную кассу.

Вам это, может быть, покажется невероятным? Посмотрите в ...nal des Economistes (апрель 1893 г.) статью Трикоша, кото...й составил подробный список всех этих пятидесяти бумаг.

И это, не забудьте, происходит при третьей республике! ...говорю здесь не о „варварских“ приемах старого порядка, ко...рый ограничивался всего пятью или шестью бумагами. Понятно, ...почему ученые говорят, что в то варварское время контроль го...сударства был только номинальный.

Но еслибы дело было только в этом! Что значило бы, в конце концов, лишних 20.000 чиновников и несколько сот лишних миллионов рублей в бюджете! Ведь это сущие пустяки для любителей „порядка“ и единообразия!

Но важно то, что в основании всего этого лежит нечто гораздо худшее: самый *принцип*, убивающий все живое.

У крестьян одной и той же деревни всегда есть тысячи общих интересов: интересы хозяйственные, отношения между соседями, постоянное взаимное общение; им по необходимости приходится соединяться между собою ради всевозможнейших целей. Но такого соединения государство не любит — оно не желает и не может позволить, чтобы они соединялись. Оно дает им школу, попа, полицейского и судью; чего-же им больше? И если у них явятся еще какие-нибудь нужды, они должны в установленном порядке обращаться к церкви и к государству.

Так, вплоть до 1883 года во Франции строго запрещалось крестьянам составлять между собою какие бы то ни было союзы, хотя бы для того, напр., чтобы покупать вместе химическое удобрение, или осушать свои поля. Республика решилась, наконец, даровать крестьянам эти права только в 1883—86 годах, когда был издан закон о синдикатах, хотя и урезанный всевозможными ограничениями и мерами предосторожности. Раньше этого, во Франции всякое общество, имевшее более 19-ти членов, считалось противозаконным.

И наш ум так извращен полученным нами государственным образованием, что мы способны радоваться например, даже тому, что земледельческие синдикаты начали с тех пор быстро распро-

страняться во Франции; мы даже не подозреваем того, что право союзов, которого крестьяне были лишены целые столетия, составляло их *естественное достояние* в средние века: что это было бесспорное достояние всякого и каждого, свободного или крепостного. А мы настолько пропитались рабским духом, что воображаем, будто это право составляет одно из „завоеваний демократии“.

Вот до какого невежества довели нас наше исковерканное и извращенное государством образование и наши государственные предрассудки!

IX.

— „Если у вас есть какие-нибудь общие нужды в городе или в деревне, обращайтесь с ними к церкви и к государству. Но вам строго воспрещается соединяться вместе непосредственно и заботиться о них самим“. Эти слова раздаются по всей Европе, начиная с шестнадцатого столетия.

Уже в указе английского короля Эдуарда III, обнародованном в конце 14-го столетия, сказано что „все союзы, товарищества, собрания, организованные общества, статуты и присяги, уже установленные или имеющие быть установленными среди плотников и каменщиков, отныне будут считаться недействительными и упраздненными“. Но когда восстания городов и другие народные движения, о которых говорилось выше, были подавлены, и государство почувствовало себя полным хозяином, оно решилось наложить руку на все, без исключения, народные учреждения (гильдии, братства и т. д.), которые соединяли до тех пор и ремесленников, и крестьян. Оно прямо уничтожило их и конфисковало их имущества.

Особенно ясно это видно в Англии, где существует масса документов, отмечающих каждый шаг этого уничтожения. Мало по малу государство накладывает руку на гильдии и братства, — оно давит их все сильнее и сильнее. Оно постепенно отменяет, сначала их союзы, потом их празднества, их суды, их старшин, которых оно заменило своими собственными чиновниками и судьями. Затем, в начале шестнадцатого века, при Генрихе VIII, государство уже прямо и без всяких церемоний, конфискует имущества гильдий. Наследник „великого“ протестанского короля, Эдуард VI, докончил работу своего отца[1]).

Это был настоящий дневной грабеж, „без всякого оправдания“, как совершенно верно говорит Торольд Роджерс. И этот

[1]) См. работы Toulmin Smith'a о Гильдиях.

...ный грабеж, так называемые „научные“ экономисты выдают ...м теперь за „естественную“ смерть гильдий, в силу „экономических законов“.

И в самом деле, могло-ли государство терпеть ремесленные гильдии или корпорации, с их торговлей, с их собственным судом, собственной милицией, казной и организацией, скрепленной присягой? Для государственных людей они были „государством в государстве“! настоящее Государство было *обязано* раздавить их; и оно, действительно, раздавило их повсюду — в Англии, во Франции, в Германии, в Богемии, в России, сохранивши от них лишь внешнюю форму, удобную для его фискальных целей и составляющую просто часть огромной административной машины.

Удивительно-ли после этого, что гильдии и ремесленные союзы, лишенные всего того, что прежде составляло их жизнь, и подчиненные королевским чиновникам, ставши при этом частью администрации, превратились в 18-м столетии лишь в бремя, в препятствие для промышленного развития, вместо того, чтобы быть самой сущностью его, какой они были за четыреста лет до того?—Государство убило их.

В самом деле, оно не только уничтожило ту независимость и самобытность, которые были необходимы для жизни гильдий и для защиты их от вторжения государства; оно не только конфисковало все богатства и имущества гильдий: оно вместе с тем присвоило себе и всю их экономическую жизнь.

Когда внутри средневекового города случалось столкновение промышленных интересов, или когда две гильдии не могли придти к обоюдному соглашению,—за разрешением спора не к кому было больше обращаться, как ко всему городу. Спорящие стороны бывали принуждены сойтись на чем-нибудь, найти какой-нибудь компромисс, потому что все гильдии города были заинтересованы в этом. И такую сделку находили; иногда, в случае нужды, в качестве третейского судьи приглашался соседний город.

Отныне единственным судьей являлось государство. По поводу каждого мельчайшего спора, в каком-нибудь ничтожном городке в несколько сот жителей — в королевских и парламентских канцеляриях скоплялись вороха бесполезных бумаг и кляуз. Английский парламент, например, был буквально завален тысячами таких мелких местных дрязг. Пришлось держать в столице тысячи чиновников (большею частью продажных), чтобы сортировать, читать, разбирать все эти бумаги и постановлять по ним решения; чтобы регулировать и упорядочивать ковку лошадей, беление полотна, соление селедок, деланье бочек и т. д. до бесконечности... а кучи дел все росли и росли!

Но и это было еще не все. Скоро государство наложило

свою руку и на внешнюю торговлю. Оно увидело в ней средство к обогащению и поспешило захватить ее. Прежде, когда между двумя городами возникало какое-нибудь разногласие по поводу стоимости вывозимого сукна, чистоты шерсти или вместимости боченков для селедок, города сносились по этому поводу между собою. Если спор затягивался, они обращались к третьему городу и призывали его в третейские судьи (это случалось сплошь да рядом); или же созывался особый с'езд гильдий ткачей; или бочаров, чтобы придти к международному соглашению насчет качества и стоимости сукна или вместимости бочек.

Теперь явилось государство, которое взялось решать все эти споры из одного центра, из Парижа или из Лондона. Оно начало предписывать через своих чиновников об'ем бочек, качество сукна, оно учитывало число ниток и их толщину в основе и утке, оно начало вмешиваться своими распоряжениями в подробности каждого ремесла. . . .

Результаты вам известны. Задавленная этим контролем, промышленность в 18-м столетии вымирала. Куда, в самом деле, девалось искусство Бенвенуто Челлини под опекой государства? — Оно умерло! — А что сталось с архитектурой тех гильдий каменщиков и плотников, произведениям которых мы удивляемся до сих пор? — Стоит лишь взглянуть на уродливые памятники государственного периода, чтобы сразу ответить, что архитектура замерла, замерла настолько, что и до сих пор еще не может оправиться от удара, нанесенного ей государством.

Что сталось с брюжскими полотнами, с голландскими сукнами? Куда девались те кузнецы, которые умели так искусно обращаться с железом, что чуть-ли не во всяком европейском городке из под их рук выходили изящнейшия украшение из этого неблагодарного металла? Куда девались токари, часовщики, те мастера, которые создали в средние века славу Нюренберга своими точными инструментами? Вспомните хотя бы Джемса Уатта, который в конце восемнадцатого века напрасно искал в продолжение тридцати лет работника, умеющего выточить точные цилиндры для его паровой машины; его мировое изобретение в течение тридцати лет оставалось грубой моделью, за неимением мастеров, которые могли бы сделать по ней машину.

Таковы были результаты вмешательства государства в промышленность. Все что оно сумело сделать — это придавить, принизить работника, обезлюдить страну, посеять нищету в городах, довести миллионы людей в деревнях до голодания, — выработать систему промышленного рабства!

И вот эти-то жалкие остатки старых гильдий, эти-то организмы, раздавленные и задушенные государством, эти-то беспо-

лезные части государственной администрации — „научные“ экономисты смешивают в своем невежестве со средневековыми гильдиями! То, что было уничтожено великой революцией, как помеха промышленности, были уже не гильдии, и даже не рабочие союзы: это были бесполезные и даже вредные части государственной машины.

Французская революция смела много мусора. Но, что якобинцы, вынесенные Революциею ко власти, тщательно сохранили, это — власть государства над промышленностью, над промышленным рабом — рабочим.

Вспомните, что говорилось в Конвенте — в страшном террористическом Конвенте — по поводу одной стачки. На требование стачечников Конвент ответил:

„Одно государство имеет право блюсти интересы граждан. Вступая в стачку, вы составляете коалицию, вы создаете государство в государстве. А потому — смертная казнь за стачку!“

Обыкновенно в этом ответе видят только буржуазный характер французкой революции. Но, нет-ли в нем еще и другого, более глубокого смысла? Не указывает ли он на отношение государства ко всему обществу вообще — отношение, нашедшее себе самое яркое выражение в якобинстве 1793 года?

„Если вы чем-нибудь недовольны, обращайтесь к государству! Оно одно имеет право удовлетворять жалобы своих подданных. Но соединяться вместе для самозащиты – этого нельзя!“ Вот в каком смысле республика называла себя „единой и *нераздельной*“.

И разве не так же думает и современный социалист-якобинец? Разве Конвент, с присущей ему свирепой логикой, не выразил сущности его мыслей?

В этом ответе Конвента выразилось отношение *всякого* государства во всем сообществам, ко всем частным организациям, каковы бы ни были их цели.

Что касается стачки в России, она и теперь еще считается преступлением против государства. В значительной степени то же можно сказать и о Германии, где император Вильгельм еще недавно говорил углекопам: „Обращайтесь ко мне; но если вы когда-нибудь посмеете действовать в своих интересах сами, вы скоро познакомитесь со штыками моих солдат!“

То же самое почти всегда происходит и во Франции. И даже в Англии, только после столетней борьбы путем тайных обществ, путем кинжала, пускаемого в ход против предателя и хозяина, путем подкладывания пороха под машины (не дальше, как в 1860-м г.), наждака в подшипники и т. п., английским рабочим почти удалось добиться права стачек. Они скоро добьются его окончательно, если только не попадутся в ловушку уже расстав-

ленную им государством, которое хочет навязать им обязательное посредничество в столкновениях с хозяевами, в обмен на закон о восьми-часовом рабочем дне.

Больше ста лет ужасной борьбы! И сколько страданий, сколько рабочих умерло в тюрьмах, сколько сослано в Австралию, убито, повешено! И все это для того, чтобы возвратить себе то право, соединяться в союзы, которое — повторяю опять — составляло достояние каждого человека, свободного или крепостного, в те времена, когда Государство еще не успело наложить свою тяжелую руку на общество [1]).

Но разве только одни рабочие подверглись этой участи? Вспомните о той борьбе, которую пришлось выдержать с государством буржуазии, чтобы добиться права образовывать торговыя общества - права, которое государство предоставило ей только тогда, когда увидело в таких обществах способ создавать монополии в пользу своих служителей и пополнять свою казну. А борьба за то, чтобы сметь говорить, писать или даже думать не так, как велит государство посредством своих академий, университетов и церкви! А борьба которую пришлось выдержать за то, чтобы иметь право учить детей хотя бы только грамоте,—право, которое государство оставляет за собой, и которым оно не пользуется! А право даже веселиться сообща? Я уже не говорю о выборных судьях, или о том, что в средние века человеку очень часто предоставлялось самому выбирать, у какого судьи он желает судиться и по какому закону. И я не говорю также о той борьбе, которая еще предстоит нам, прежде чем наступит день, когда будет сожжена книга возмутительных наказаний, порожденных духом инквизиции и восточных деспотий, — книга, известная под названием Уголовного Закона!

Или посмотрите на систему налогов, — учреждение чисто государственного происхождения, являющееся могучим орудием в руках государства, которое пользуется им, как во всей Европе, так и в молодых республиках Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы держать под своей пятою массы населения, доставлять выгоды своим сторонникам, раззорять большинство в

---

[1]) Даже и теперь не далее, как в 1903-м году, при консервативном министерстве, право стачек снова было подорвано. Палата Лордов, действуя как высшая судебная инстанция, постановила следующее: в случае стачки, если будет доказано, что рабочий союз *организовал* — просто организовал через своих пикетов без устранения силою рабочих, собиравшихся заступить места забастовавших рабочих, то весь рабочий союз отвечает всею своей кассой за убытки, понесенные хозяевами. В известной Taff-Vale забастовке, рабочий союз должен был уплатить хозяевам свыше 30,000 фунтов, т. е. более полу-миллиона рублей. Второй такой же случай был потом недавно, и рабочий союз вынужден был признать себя должным 300,000 рублей.

угоду правящему меньшинству, и поддерживать старые общественные деления, старые касты.

Подумайте затем о войнах, без которых государство не может ни образоваться, ни существовать, — войны, которые делаются фатальными, неизбежными, как только мы допустим, что известная местность (только потому, что она составляет одно государство) может иметь интересы противоположные интересам соседних местностей, составляющих часть другого государства. Подумайте только о прошлых войнах, и будущих, которые грозят нам и которые покоренные народы принуждены будут вести, чтобы завоевать себе право дышать свободно; о войнах за торговые рынки, о войнах для создания колониальных империй... А мы все знаем слишком хорошо во Франции, какое рабство несет с собой война, все равно, кончается ли она победой или поражением.

Но из всех перечисленных мною зол, едва ли не самое худшее — это воспитание, которое нам дает государство, как в школе, так и в последующей жизни. Государственное воспитание так извращает наш мозг, что само понятие о свободе в нас исчезает и заменяется понятиями рабскими.

Грустно видеть, как глубоко многие из тех, которые считают себя революционерами, глубоко ненавидят анархистов, только потому, что анархическое понятие о свободе не укладывается в то узкое и мелкое представление о ней, которое они почерпнули из своего, проникнутого государственным духом воспитания. А между тем, нам приходится встречаться с этим на каждом шагу.

Зависит это от того, что в молодых умах всегда искусно развивали, и до сих пор развивают, дух добровольного рабства, с целью упрочить на веки подчинение подданного государству. Философию, проникнутую любовью к свободе, всячески стараются задушить ложною религиозно-государственною философией. Историю извращают, начиная уже с самой первой страницы, где рассказываются басни о меровингских, каролингских и рюриковских династиях, — и до самой последней, где воспевается якобинство, а народ и его роль в создании общественных учреждений обходятся молчанием. Даже естествознание ухитряются извратить в пользу двуголового идола, церкви и государства; а психологию личности, и еще больше общества, искажают на каждом шагу, чтобы оправдать тройственный союз — из солдата, попа и палача. Даже теория нравственности, которая в течение целых столетий проповедовала повиновение церкви, или той или другой якобы священной книге, освобождается теперь от этих пут, только затем, чтобы проповедовать повиновение

государству. „У вас нет никаких прямых обязанностей по отношению к вашему ближнему, в вас нет даже чувства взаимности; все ваши обязанности — обязанности по отношению к государству; без государства вы перегрызли бы друг другу горло",—учит нас эта новая религия, называющая себя „научною", в то время как она молится все тому же, престарому, римскому и кесарьскому божеству. Сосед, друг, общинник, со-гражданин, — ты должен забыть все это! ты должен сноситься с другими не иначе, как чрез посредство одного из органов твоего государства. И все вы должны упражняться в одной добродетели: учиться быть рабами государства. Государство — твой бог!"

И это прославление государства и дисциплины, над которыми трудятся и церковь, и университет, и печать, и политические партии, производится с таким успехом, что даже революционеры не смеют смотреть этому новому идолу прямо в глаза.

Современный радикал — централист, государственник и якобинец до мозга костей. По его же стопам идут и социалисты. Подобно флорентинцам конца пятнадцатого столетия, которые отдались в руки диктатуры государства, чтобы спастись от деспотизма патрициев, современные социалисты не находят ничего лучшего, как призвать тех же богов — ту же диктатуру, то же государство, чтобы спастись от гнусностей экономической системы, созданной тем же государством!

X

Если вы вникнете глубже во все разнообразные факты, которых мы могли лишь поверхностно коснуться в этом кратком очерке; если вы посмотрите на государство, каким оно явилось в истории, и каким, по существу своему, оно продолжает быть и теперь; если вы убедитесь, как убедились мы, что общественное учреждение не может служить безразлично *всем* желаемым целям, потому что, как всякий орган, оно развивается посредством того, что оно выполняет ради одной известной цели, а не ради всех возможных целей — вы поймете, почему мы неизбежно приходим к заключению о необходимости уничтожения государства.

Мы видим в нем учреждение, которое, развиваясь в течение всей истории человеческих обществ, служило для того, чтобы мешать всякому прямому союзу людей между собою, чтобы препятствовать развитию местного почина и личной предприимчивости, душить уже существующие вольности и мешать возникновению

новых, и все это—чтобы подчинить народные массы ничтожному меньшинству. И мы знаем, что учреждение, которое прожило уже несколько столетий и прочно сложилось в известную форму, ради того, чтобы выполнить такую роль в истории, уже не может быть приноровлено к роли противоположной.

Что-же нам говорят в ответ на этот довод,—неопровержимый для всякого, кто только задумывался над историей?

Нам противопоставляют возражение почти детское: „Государство уже есть; оно существует и представляет готовую и сильную организацию. Зачем же разрушать ее, если можно ею воспользоваться? Правда, теперь она вредна, но это потому, что она находится в руках эксплуататоров. А раз она попадет в руки народа, почему же ей не послужить для благой цели, для народного блага?“

Это — все то же мечта маркиза Позы в драме Шиллера, пытавшегося превратить самодержавие в орудие освобождения, или мечта аббата Фромана в романе Золя, „Рим“, пытающегося сделать из католической церкви рычаг социализма!..

Не грустно ли, что приходится отвечать на такие доводы? Ведь те, кто рассуждает таким образом, или не имеют ни малейшего понятия об истинной исторической роли государства, или же представляют себе социальную революцию в таком жалком и ничтожном виде, что она не имеет ничего общего с социалистическими стремлениями.

Возьмем, как живой пример, Францию.

Всем нам, мыслящим людям, известен тот поразительный факт, что третья республика во Франции, несмотря на свою республиканскую форму, остается по существу монархической. Все мы упрекаем ее за то, что она оказалась неспособной сделать Францию республиканской; я уже не говорю о том, что она ничего не сделала для *социальной* революции: я хочу только сказать, что она даже не внесла *республиканских* нравов и *республиканского* духа. В самом деле, ведь все то немногое, что, действительно, *было* сделано в течение последних двадцати-пяти лет для демократизации нравов или для распространения просвещения, — делалось повсюду, даже и в европейских монархиях, под давлением духа того времени, которое мы переживаем.

Откуда же явился во Франции этот странный государственный строй — республиканская монархия?

Происходит он от того, что Франция была и осталась Государством, в той же мере, в какой она была сорок лет тому назад. Держатели власти переменили свое имя, но все это огромное чиновничье здание, созданное во Франции по образцу императорского Рима, осталось. Вся эта ужасная централизованная организация, созданная для того, чтобы облегчить и увеличить

эксплоатацию народных масс в пользу нескольких привилегированных масс, и составляющая самую сущность государства—осталась; колеса этого громадного механизма продолжают попрежнему обмениваться пятидесятью бумагами каждый раз, когда ветром снесет дерево на большой дороге, и миллионы, собранные с народа продолжают сыпаться в карманы привилегированных. Штемпель на бумагах изменился; но государство, его дух, его органы, его территориальная централизация и централизация действий, его фаворитизм, т. е. покровительство „своим", его роль создателя монополий - остались без перемены. Мало того: как всякие паразиты, они день ото дня все больше и больше расползаются по всей стране.

Республиканцы—по крайней мере, искренние долго льстили себя надеждой, что им „удастся" воспользоваться государственной организацией для того, чтобы произвести перемену в республиканском смысле: мы видим теперь, как они ошиблись в расчетах.

Вместо того, чтобы уничтожить старую организацию, уничтожить *государство* и создать новые формы об'единения, исходя из самых основных единиц каждого общества из сельской общины, свободного союза рабочих и т. д. — они захотели „воспользоваться старой, уже существующей организацией". И за это непонимание той истины, что историческое учреждение нельзя заставить по произволу работать, то в том, то в другом направлении, что оно имеет свой собственный путь развития, которым оно шло втечение веков,—они поплатились тем, что были сами поглощены этим учреждением.

А между тем, здесь дело еще не шло об изменении всех экономических отношений общества, как это ставим мы: их вопрос был лишь в изменении некоторых политических отношений между людьми! И это даже оказалось невозможно!

И несмотря на эту полную неудачу, несмотря на такой жалкий результат, нам все еще с упорством продолжают повторять, что завоевание государственной власти народом будет достаточно для совершения социальной революции! Нас хотят уверить, несмотря на все неудачи, что старая машина, старый организм, медленно выработавшийся в течение хода истории с целью убивать свободу, порабощать личность, подыскивать для притеснения законное основание, создавать монополии, отуманивать человеческие умы, постепенно приучая их к рабству мысли — вдруг окажется пригодным для новой роли, вдруг явится и орудием, и рамками, в которых каким-то чудом создастся новая жизнь... водворится свобода и равенство на экономическом основании исчезнут монополии, наступит пробуждение общества и завое-

вание им лучшего будущего! — Какая печальная, трагическая ошибка!..

Какая нелепость! Какое непонимание истории!

Чтобы дать простор широкому росту социализма, нужно вполне перестроить все современное общество, основанное на узком лавочническом индивидуализме. Вопрос не только в том, чтобы, как иногда любили выражаться на метафизическом языке, „возвратить рабочему целиком весь продукт его труда", но в том, чтобы изменить самый характер всех отношений между людьми, начиная с отношений отдельного обывателя к какому-нибудь церковному старосте или начальнику станции, — и кончая отношениями между различными ремеслами, деревнями, городами и областями. На каждой улице, во всякой деревушке, в каждой группе людей, сгруппировавшихся около фабрики или железной дороги должен проснуться творческий, созидательный и организационный дух, — для того, чтобы и на фабрике, и на железной дороге, и в деревне, и в лавке, и в складе продуктов, и в потреблении, и в производстве, и в распределении все перестроилось по новому. Все отношения между личностями и человеческими группами должны будут подвергнуться перестройке, с того самого часа, когда мы решимся дотронуться впервые до современной общественной организации, до ее коммерческих или административных учреждений.

И вот эту-то гигантскую работу, требующую свободной деятельности народного творчества, хотят втиснуть в рамки государства! хотят ограничить пределами пирамидальной организации, составляющей сущность государства! Из государства, самый смысл существования которого заключается, как мы видели, в подавлении личности, в уничтожении всякой свободной группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в торжестве *одной* идеи, которая по необходимости должна быть идеей посредственности, — из этого-то механизма хотят сделать орудие для выполнения гигантского превращения!... Целым общественным обновлением хотят управлять путем указов и избирательного большинства!.. Какое ребячество!

Через всю историю нашей цивилизации проходят два течения, две враждебные традиции: римская и народная; императорская и федералистская; традиция власти и традиция свободы.

И теперь, накануне великой социальной революции, эти две традиции опять стоят лицом к лицу.

Которое нам выбрать из этих двух, всегда борящихся в человечестве течений — течение народное или течение правительственного

меньшинства, стремящегося к политическому и религиозному господству, — сомнения быть не может. Наш выбор сделан.

Мы присоединяемся к тому течению, которое еще в двенадцатом веке приводило людей к организации, построенной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной федерации тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются, если хотят, цепляться за традиции канонического и императорского Рима!

История не представляет одной, непрерывной линии развития. По временам развитие останавливалось в одной части света, а затем возобновлялось в другой. Египет, Азия, берега Средиземного моря, центральная Европа поочередно перебывали очагами исторического развития. И каждый раз развитие начиналось с первобытного племени; затем оно переходило к сельской общине; затем наступал период вольных городов и, наконец, период государства, во время которого развитие продолжалось некоторое время, но затем вскоре замирало.

В Египте цивилизация началась в среде первобытного племени, достигла ступени сельской общины; потом пережила период вольных городов, и позднее приняла форму государства, которое, после временного процветания, привело к смерти страны.

Развитие снова началось в Ассирии, в Персии, в Палестине. Снова оно прошло через те же ступени — первобытного племени, сельской общины, вольного города, всесильного государства, и затем опять наступила — смерть!

Новая цивилизация возникла в Греции. Опять начавшись с первобытного племени, медленно пережив сельскую общину, она вступила в период республиканских городов. В этой форме греческая цивилизация достигла своего полного расцвета. Но вот с востока на нее повеяло ядовитым дыханием восточных деспотических традиций. Войны и победы создали македонскую империю Александра. Водворилось государство, и начало сосать жизненные соки из цивилизации, пока не настал тот же конец — смерть!

Образованность перенеслась тогда в Рим. Здесь мы опять видим зарождение ея из первобытного племени; потом сельскую общину, и затем вольный город. Опять в этой форме римская цивилизация достигла своей высшей точки. Но затем явилось государство, империя, и с нею конец — смерть!

На развалинах римской империи цивилизация возродилась среди кельтских, германских, славянских и скандинавских племен. Медленно вырабатывало первобытное племя свои учреждения, пока они не приняли формы сельской общины. На этой ступени они дожили до двенадцатого столетия. Тогда возникли республиканские вольные города, породившие тот славный расцвет человеческого ума, о котором свидетельствуют нам памятники архи-

тектуры, широкое развитие искусств и открытия, положившие основания нашему естествознанию. Но затем, в 16-м веке, явилось на сцену государство и... неужели опять смерть?

Да, смерть — или возрождение! Смерть, если мы не сумеем перестроить общество на свободном, противогосударственном фундаменте.

Одно из двух. Или государство раздавит личность и местную жизнь; завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собою войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов и, как неизбежный конец, — смерть!

Или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения.

Выбирайте сами!

IV.

Современное Государство.

IV.

Современное Государство.

I.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ.

Для нас особенно важно разобраться в отличительных чертах современного общества и государства, чтобы определить, куда мы идем, что нами уже приобретено теперь, и что мы надеемся завоевать в будущем.

Общество, в настоящем его виде, конечно, не является результатом какого-нибудь основного начала, логически развитого и приложенного ко всем потребностям жизни. Как всякий живой организм, общество представляет собой, наоборот, очень сложный результат тысячи столкновений и тысячи соглашений, вольных и невольных, множества пережитков старого и молодых стремлений к лучшему будущему.

Подчиненный язычеству и духовенству дух древности, рабство, империализм, крепостничество, средневековая община, старые предрассудки и современный дух, все это представлено в теперешнем обществе, более или менее, со всеми оттенками, под всеми формами всевозможных оттенков. Тени прошлого и облики будущего, обычаи и понятия, сохранившиеся еще от каменного века, и стремления к будущему, еле обрисовывающемуся на горизонте, все это существует в нем, в состоянии постоянной борьбы в каждом человеке, в каждом общественном слое и в каждом поколении, как и во всем обществе, взятом в целом.

Однако, если мы посмотрим на крупные столкновения и великие народные революции, совершившиеся в Европе начиная с двенадцатого столетия, мы увидим, что в них выражается одно стремление. Все эти восстания были направлены на разрушение того, что осталось в виде пережитка от древнего

рабства в более мягкой форме, против крепостного права. Все они имели целью освобождание или крестьян, или горожан, или тех и других, *от принудительного труда*, который был навязан им силой закона в пользу тех или других господ. Признать за человеком право располагать своею личностью и работать над тем, что он хочет, и сколько он хочет, без того, чтобы кто-либо имел право принуждать его к этому, — иначе говоря, *освободить личность* крестьянина и ремесленника, такова была цель всех народных революций: великого восстания коммун двенадцатого века, крестьянских войн в пятнадцатом и шестнадцатом веках, в Богемии, Германии и Голландии, революций 1381 и 1648 годов в Англии и, наконец, Великой Революции во Франции.

Правда, что эта цель была достигнута только отчасти. По мере того, как человек освобождался и завоевывал себе личную свободу, новые экономические условия навязывались ему, чтобы урезать его свободу, выковать для него новые цепи и угрозой голода подвести его под ярмо. Мы видели недавно пример в наши дни, когда русские крепостные, освобожденные в 1861 году, очутились в положении, при котором им пришлось дорогой ценой выкупать земли, которые они обрабатывали руками в течение многих веков, — что привело их к упадку и нищете, и таким образом их порабощение было восстановлено. То, что происходило в России в наше время, было также и прежде, в том или ином виде, везде в западной Европе. Когда физическое принуждение исчезало вследствие восстания или революции, то устанавливались новые формы того же принуждения. Личное рабство было уничтожено, но порабощение возникало в новой форме, — экономической форме.

И однако, несмотря на все, господствующее начало современного общества есть начало личной свободы, провозглашенное, по крайней мере в теории, для каждого члена общества. Согласно букве закона труд не является более принудительным ни для кого. Нет более класса рабов, принужденных работать для своих господ: и в Европе, по крайней мере, нет более крепостных, обязанных отдавать своему господину три дня работы в неделю в обмен на кусок земли, к которому они оставались прикованными всю их жизнь. Каждый волен работать, если он хочет, сколько хочет и что он хочет. — таков по крайней мере в теории основной принцип современного общества.

Мы знаем однако — и социалисты всех оттенков не перестают доказывать это каждый день, — насколько эта свобода кажущаяся. Миллионы и миллионы людей, женщин и детей постоянно принуждаются под угрозой голода продать свою свободу, отдать свой труд хозяину на тех условиях, на которых он поже-

дает заставить их работать. Мы знаем — и мы стараемся ясно показать это народным массам, — что под формой аренды, найма и процента, платимых капиталисту, рабочий и крестьянин продолжают отдавать, нескольким господам вместо одного господина, те же три дня работы в неделю; очень часто даже больше, чем три дня в неделю, только бы получить право обрабатывать землю, или даже жить хоть где-нибудь под защитой крова.

Мы знаем также, что если господа экономисты дадут себе труд заняться, однажды, случайно, политической экономией и вычислят все, что различные господа (хозяин, капиталист, посредники, землевладелец и так далее, не говоря о государстве) берут прямо или косвенно из заработной платы рабочего, то мы будем поражены скудной долей, которая остается рабочему для оплаты труда тех других работников, которых продукты труда он потребляет: для уплаты крестьянину, выращивающему хлеб, который он ест; каменщику, строющему дом, в котором он живет; тем, кто сделал его мебель, платье и так далее. Мы были бы поражены, видя, как мало возвращается всем этим работникам, которые производят все, что потребляет рабочий, по сравнению с громадной долей, которая идет баронам современного феодализма.

Заметьте, что это ограбление рабочего не делается более одним господином, сидящим законно на шее у каждого работника. Для этого существует механизм, чрезвычайно сложный, безличный и неответственный. Как и в прежнее время — рабочий отдает значительную часть своего труда привилегированным; но, он более не делает этого под кнутом господина. Принуждение перестало быть телесным. Его выбросят на мостовую, его заставят жить в конуре, умирать с голоду, видеть, как его дети гибнут от истощения, побираться милостыней в старости; но его не разложат в полицейском участке на скамье, чтобы высечь за скверно сшитое платье или плохо обработанное поле, как это делалось еще при нашей жизни в восточной Европе, а раньше практиковалось везде в Европе.

При теперешнем режиме, часто более жестоком и более неумолимом, чем старый режим, человек сохраняет однако чувство личной свободы. Мы знаем, что это чувство — почти иллюзия, самообман для пролетария. Но мы должны признать, что весь современный прогресс и все наши надежды на будущее еще основываются на этом чувстве свободы, как бы ограничена она ни была в действительности.

Самый несчастный из босоногих нищих, в самый черный момент его несчастий, не согласится променять своей постели из камней под сводом моста на тарелку супа, которая давалась бы

ему каждый день, но с цепью рабства на шее. Более того. Это чувство, это требование личной свободы так дороги современному человеку, что мы постоянно видим, как целые массы рабочих терпят голод месяцами и идут с голыми руками на штыки государства, чтобы только удержать известные завоеванные права.

В самом деле, самые упорные стачки и самые отчаянные восстания происходили из-за вопросов о свободе, о завоеванных правах,—более, чем из-за вопросов о заработной плате.

Таким образом, право работать над тем, чего хочет человек, и сколько хочет, остается *принципом* современного общества. И самое сильное обвинение, которое мы выдвигаем против современного общества, состоит в том, что эта свобода, столь дорогая сердцу рабочего, остается все время воображаемой и призрачной, благодаря тому, что он вынужден продавать свою силу капиталисту; так что современное государство есть могучее орудие для удержания рабочего в таком вынужденном положении: и достигает оно этого при помощи привилегий и монополий, которые оно постоянно дает одному классу граждан, к невыгоде и в ущерб рабочему. В самом деле, теперь начинают понимать, что принцип личной свободы, который так дорог всем, завоевавшим ее, и на котором все пришли к соглашению, ловко обходится, благодаря целому ряду монополий; что те, кто ничем не владеет, делаются рабами тех, кто владеет, раз они вынуждены принимать условия владельца земли или фабрики, чтобы иметь возможность работать; что таким образом они платят богачам — всем богачам—громадную дань, благодаря монополиям, созданным в пользу богатых. Народ нападает на монополии не затем, чтобы помешать праздности, какую они дают привилегированным классам, но вследствие того господства над рабочим классом, которое они обеспечивают.

Серьезный упрек, который мы ставим современному обществу, состоит не в том, что оно пошло по ложной дороге, провозглашая, что отныне каждый будет работать над тем, что он хочет, и сколько хочет. Мы его упрекаем в том, что оно создало такие условия собственности, которые *не позволяют рабочим работать над тем, что он хочет, и сколько хочет.* Мы считаем это общество ненормальным и несправедливым, потому что, провозгласив начало личной свободы, оно поместило работника полей и фабрик в такие условия, которые уничтожают это начало; потому что оно низводит рабочего до состояния замаскированного рабства, -до состояния человека, которого нищета заставляет работать для обогащения хозяев и для увековечения самому своего рабского состоония, — заставляет самого ковать себе свои цепи.

Но если так: если право „работать над тем, что хочешь, и

сколько хочешь" действительно дорого современному человеку; если всякая форма принудительного и рабского труда ему противна; если личная свобода для него важнее всего, — то ясно, что должен делать революционер.

Он отбросит всякие формы скрытого и замаскированного рабства. Он будет стремиться к тому, чтобы эта свобода не была пустым словом. Он постарается узнать, что мешает рабочему быть действительно единственным господином своих способностей и своих рук; и он будет работать над тем, чтобы разбить эти препятствия,—если нужно силой. Но он будет остерегаться в то же время ввести новые препятствия, которые, увеличивая, может быть, его благосостояние, снова доведут человека до того, что он потеряет свою свободу.

Посмотрим же, что это за препятствия, которые в современном обществе обрезали свободу рабочего и сделали его рабом.

II.

РАБЫ ГОСУДАРСТВА.

Никто не может быть принужден по закону работать на другого. Такова, сказали мы, основа современного общества, завоеванная рядом революций. И те среди нас, кто знал крепостное право в первой половине последнего века или только видели его следы [1]), те из нас, кто знал отпечаток, оставленный этим учреждением на физиономии всего общества, те поймут с одного слова важность перемены, произведенной окончательной отменой легального крепостного права. Но если законной обязанности работать для другого более не существует среди частных лиц, то государство сохраняет за собой до сего времени право налагать на своих подданных обязательный труд. Более того. По мере того, как отношения господина и раба исчезают в обществе, государство расширяет все более и более свое право на принудительный труд граждан; так что права современного государства заставили бы покраснеть от зависти законников пятнадцатого и шестнадцатого века, которые старались тогда обосновать королевскую власть.

---

[1]) В Англии, например, [illegible] сохранилось до 18[illegible] года в виде принудительного [illegible] есть послед[illegible] [illegible] на хлопчатобумажных фабриках.

Теперь государство налагает, например, на всех граждан обязательное обучение. Вещь в сущности прекрасная если смотреть на нее с точки зрения *права* ребенка идти в школу, когда родители хотят удержать его дома для работы, посылают работать на фабрику, или даже учиться у невежественной монахини. Но в действительности,—во что превратилось теперь обучение, даваемое в первоначальной школе? Ребенку набивают голову целой кучей учений сочиненных именно для того, чтобы обеспечить права государства над гражданином; чтобы оправдать монополии, даваемые государством над целыми классами граждан; чтобы провозгласить как святую-святых права богатого эксплоатировать бедного и делаться богатым, благодаря этой бедности; чтобы внушить детям, что судебное преследование, производимое обществом, есть высшая справедливость, и что завоеватели были величайшие люди человечества. Но что говорить! Государственное обучение, достойное наследие иезуитского воспитания,—есть усовершенствованный способ убить всякий дух личного почина и независимости, и научить ребенка рабству мысли и действия.

А когда ребенок вырастет, государство явится затем, чтобы принудить его к обязательной воинской повинности, и предпишет ему, кроме, того различные работы для коммуны и для государства, в случае нужды. Наконец, при помощи налогов оно заставит каждого гражданина произвести громадную массу работы для государства, а также для фаворитов государства, все время заставляя его думать, что это он сам добровольно подчиняется государству, что это он сам распоряжается через своих представителей деньгами, поступающими в государственную казну.

Таким образом, здесь провозглашен новый принцип. Личного рабства более не существует. Нет более рабов государства, как было раньше в течение прошедших веков, даже во Франции и Англии. Король не может более приказывать десяти или двадцати тысячам своих подданных являться к нему для постройки крепостей, или для разбивки садов и возведения дворцов в Версале, несмотря на „чудовищную смертность среди рабочих, которых каждую ночь увозят, навалив полные телеги трупов" как писала Мадам де-Севинье. Дворцы в Виндзоре, Версале и Петергофе не строются более путем принудительных работ. Теперь государство требует всех этих услуг от подданных путем налогов под предлогом производства полезных работ, охраны свободы граждан и увеличения их богатств.

Мы готовы первые радоваться уничтожению былого рабства и засвидетельствовать, насколько это важно для общего прогресса освободительных идей. Быть притащенным из Нанси или Лиона в Версаль, чтобы строить там дворцы, предназначенные для увеселения фаворитов короля, было гораздо тяжелее,

чем платить такую-то сумму налогов, представляющую столько-то дней работы, хотя бы даже эти налоги были потрачены на бесполезные, или даже вредные для народа работы. Мы — более чем признательны деятелям 1793 года за то, что они освободили Европу от принудительного труда.

Но тем не менее верно, что по мере того, как освобождение от личных обязательств человека по отношению к человеку завершалось в течение девятнадцатого века, обязательства по отношению к государству все продолжали рости. Каждые десять лет они увеличивались в числе, разнообразии и количестве труда, требуемого государством от каждого гражданина. К концу девятнадцатого века мы видим даже, что государство вновь берет себе право на принудительный труд. Оно налагает, например, на железнодорожных рабочих (недавний закон в Италии) обязательный труд в случае стачки; и это — ни что иное, как прежний принудительный труд в пользу больших акционерных компаний, владеющих железными дорогами. А от железной дороги до рудника, и от рудника до фабрики - не более, чем один шаг. И раз будет признан предлог *общественного блага*, или даже только общественной необходимости или *общественной полезности*, то нет более границ для власти государства.

Если с углекопами или со служащими железных дорог еще не обращаются, как с уличенными в государственной измене, каждый раз, когда они начинают забастовку, и если их не вешают направо и налево, то это единственно потому, что необходимость в этом еще не чувствуется. Считают более удобным воспользоваться угрожающими жестами нескольких стачечников, чтобы расстрелять толпу в упор и послать вожаков на каторгу. Это делается теперь постоянно и в республиках, и в монархиях.

До сих пор довольствовались „добровольным подчинением. Но в тот день, когда почувствовалась в Италии необходимость в этом, или вернее страх такой необходимости, Парламент не поколебался ни одной минуты голосовать карательный закон, хотя железные дороги в Италии остаются еще в руках частных компаний. Для „себя", во имя „общественного блага" государство конечно не поколеблется сделать даже с большей суровостью то, что оно уже сделало для своих любимцев, для акционерных компаний. Оно уже сделало это в России. А в Испании оно доходит даже до пыток, чтобы охранять монополистов. Действительно, после ужасных пыток, применявшихся в 1907 году в Монтжуйской тюрьме, пытка стала снова в Испании учреждением на пользу нынешних любимцев государства, — владетельных финансистов.

Мы идем так быстро в этом направлении, и вторая половина девятнадцатого века, воодушевленная тем, что подсказывали при-

вилегированные фавориты правительства, так далеко зашла в направлении централизации, что, если мы не примем мер предосторожности, то в скором времени мы увидим, что стачечников и забастовщиков и всех недовольных не только будут расстреливать как мятежников и грабителей, но будут гильотинировать или ссылать в болотистые, вредные для здоровья места в какой-нибудь колонии, только за то, что они не выполнили *общественной службы*.

Так делают в армии и так будут делать в рудниках. Консерваторы уже громко требовали этого в Англии.

Вообще, не надо обманываться. Два великих движения, два больших течения мысли и действия характеризовали девятнадцатый век. С одной стороны мы видели борьбу против всех следов древнего рабства. Мало того, что армии первой французской республики прошли через всю Европу, уничтожая крепостное право, но когда эти армии были изгнаны из стран, которые они освободили, и когда там было восстановлено крепостное право, то оно не могло продержаться долго. Веяние революции 1848 года унесло его окончательно из Западной Европы; а в 1861 году оно, как мы знаем, было уничтожено в России и **17 лет спустя на Балканах.**

Более того. В каждой нации человек работал для утверждения своих прав на личную свободу. Он освобождался от предрассудков относительно дворянства, церковной власти и высших классов; и путем тысячи и тысячи мелких восстаний, произведенных в каждом углу Европы, человек утвердил, посредством созданных им же обычаев, свое право считаться свободным.

С другой стороны, все умственное движение века: поэзия, роман, драма, как только они перестали быть простой забавой для праздных, носили тот же характер. Беря Францию, вспомним о Викторе Гюго, о Евгении Сю в его „Тайнах Народа" („Mystères du Peuple"), Александре Дюма (отце, конечно), в его истории Франции, написанной в романах, о Жорж-Занде и т. д.; далее, о великих конспираторах Барбесе и Бланки, об историках, как Огюстен Тьерри, Сисмонди, Мишлэ, о публицистах, как П. Л. Курье; наконец, о реформаторах-социалистах: Сен-Симоне, Фурье, Консидеране, Луи Блане и Прудоне, и, наконец, об основателе позитивной философии Огюсте Конте. Все они выразили в литературе движение мысли, которое происходило в каждом углу Франции, в каждой семье, в каждом мыслящем человеке, чтобы освободить человека от нравов и обычаев, оставшихся от эпохи личной власти человека над человеком. И что происходило во Франции, происходило везде, более или менее, чтобы освободить человека, женщину, ребенка от обычаев и идей, установленных веками рабства.

Но рядом с этим великим освободительным движением развивалось в то же время и другое, которое, к несчастью, также вело свое происхождение от Великой Революции. Оно имело своею целью — развить всемогущество государства во имя неопределенного, двусмысленного выражения, которое открывало дверь не только всем лучшим намерениям, но также и тщеславию и вероломству—во имя *общественного блага*.

Происходя от эпохи, когда церковь стремилась завоевать души человеческие, чтобы вести их к спасению, и перейдя в наследие нашей цивилизации от римской империи и римского права, идея всемогущества государства молча усиливалась и прошла громадный путь в течение последней половины 19-го века.

Сравните только обязанность военной службы в той форме, как она существует сейчас, в наши дни, с тем, что она была в прошедшие века,—и вы будете поражены тем, насколько выросла эта обязанность по отношению к государству, под предлогом равенства.

Никогда крепостной в средние века не позволял лишать себя человеческих прав до такой степени, как современный человек, который отказывается от них добровольно, просто по духу добровольного рабства. В двадцать лет, то-есть в возрасте, когда человек жаждет свободы и склонен даже „злоупотреблять" этой свободой, молодой человек смиренно позволяет запереть себя на два или три года в казарму, где он разрушает свое физическое, умственное и моральное здоровье. Почему? Зачем?.. Затем, чтобы изучить ремесло, которое швейцарцы изучают в шесть недель, а буры изучили лучше, чем европейские армии, в процессе работы по расчистке девственной земли, об'езжая свои прерии верхом.

Он не только рискует своею жизнью, но в своем добровольном рабстве он идет дальше, чем раб. Он позволяет своим начальникам контролировать его любовные дела, он бросает свою любимую женщину, дает обет целомудрия и гордится тем, что повинуется, как автомат, своим начальникам, хотя он не может ни судить, ни знать их военные таланты, ни даже их честность. Какой крепостной, в средние века, кроме разве прислуги, следовавшей за военными сзади с обозом, согласился бы идти на войну на таких условиях, которым современный крепостной, одурелый от идеи дисциплины, подчиняется по своей доброй воле? Да, что говорить!. Крепостные рабы двадцатого века подчиняются даже ужасам и безобразиям исправительного батальона в Африке (Бириби) без всякого протеста с своей стороны!

Когда же крепостные — крестьяне и ремесленники — отказывались от права противопоставлять свои тайные общества — таким же обществам своих господ и защищать силой оружия

свое право соединяться в союзы и общества? Было ли в средние века такое черное время, когда народ городов отказался бы от своего права судить своих судей и бросить их в реку, когда он не одобрял бы их приговоров? И когда, даже в самые темные времена притеснений в древности видно было, чтобы государство имело полную возможность развращать своей школьной системой все народное образование, от первоначального обучения и до университета? Макиавели страстно желал этого, но вплоть до девятнадцатого века его мечтания не были осуществлены!

Одним словом в первой половине 19-го века имелось громадное *прогрессивное* движение, стремившееся к освобождению личности и мысли: и такое же громадное *регрессивное* движение взяло верх над предыдущим во второй половине века, и теперь стремится восстановить старую зависимость, но уже по отношению к государству: увеличить ее, расширить и сделать ее *добровольной*! Такова характерная черта нашего времени.

Но это относится только к прямым обязанностям. Что же касается обязанностей непрямых, вводимых посредством налогов и капиталистических монополий, то хотя они не сразу бросаются в глаза, тем не менее они все время растут и становятся столь угрожающими, что настало уже время заняться серьезным их изучением.

III.

НАЛОГ, СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ МОГУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВА.

Если государство, при помощи воинской повинности, народного образования, которым оно управляет в интересах богатых классов, при помощи церкви и тысячи своих чиновников обладает уже колоссальной властью над своими подданными, то эта власть еще усиливается при помощи налогов.

Безвредный в начале, даже может быть благословляемый самими плательщиками, когда он заменил принудительные работы, налог становится ныне все более и более тяжелым бременем. Теперь, налог—могучее орудие, обладающее тем большей силой, что он скрывается под тысячью форм, и что правители сознают его силу и способность управлять всею экономической и политической жизнью общества в интересах правящих и богатых классов. Ибо те, кто стоят у власти, пользуются теперь налогами, не

только затем, чтобы получать свои жалованья, но в особенности затем, чтобы создавать и разрушать состояния, накоплять громадные богатства в руках немногих привилегированных, чтобы создавать монополии, раззорять народ и порабощать его богатым; — и все это происходит так, что плательщики и не догадываются даже о той власти, которую они дали в руки своему правительству.

— „Но, что же может быть более справедливо, чем налог“, скажут нам, конечно, защитники государства.

— „Вот, например“, скажут нам, „мост, построенный жителями такой-то общины. Река, вздувшаяся от дождей, готова унести этот мост, если его сейчас же не перестроят. Разве не естественно и не справедливо призвать всех жителей общины к работам по перестройке моста? А так как у большинства жителей есть свои дела, то разве не разумно заменить личную работу каждого, то есть неопытный, вынужденный труд, налогом, который позволит призвать рабочих и инженеров-специалистов?“

„Или, вот, ручей, который в половодье становится непереходимым. Почему жители соседних общин не возьмутся за постройку моста через него? Почему им не заплатить постольку-то с головы, вместо того, чтобы приходить самим и работать лопатами для исправления канавы, или для мощения дороги? Или зачем строить самим хлебный магазин, куда каждый житель должен будет сложить постольку-то хлеба в год на случай недорода, когда вместо этого можно предоставить государству заботиться о прокормлении во время голода, платя ему за то небольшой налог?“

Все это кажется столь естественным, справедливым и разумным, что самый упрямый индивидуалист не имеет ничего возразить против этого, — при том условии, конечно, что известное равенство условий существует в общине.

И, приводя все больше и больше подобных примеров экономисты и защитники государства вообще спешат сделать заключение, что налог справедлив, желателен со всех точек зрения и..: „Да здравствует налог!“

И все таки, все эти рассуждения ложны и не верны. Ибо если некоторые общинные налоги действительно ведут свое происхождение из *общинного труда, произведенного сообща*, то вообще налог или скорее многочисленные и громадные налоги, которые мы платим государству, имеют своим источником совсем другое происхождение, — а именно *завоевание*.

Восточные монархии и позднее императорский Рим налагали *принудительные работы* именно на *покоренные народы*. Римский гражданин был освобожден от этой обязанности и перелагал ее на народы, подчиненные его владычеству. И вплоть до

Великой Революции (а отчасти и до наших дней) предполагаемые потомки расы завоевателей (римской, германской, нормандской), то-есть „так называемые благородные дворяне", были избавлены от налогов. Мужики, черная кость, завоеванные белою костью, фигурировали одни на месте тех, кто подлежит принудительному труду и обложению налогами. Во Франции, земли благородных, или „тех, кто был возведен в благородное состояние" не платили ничего до 1789 года. И до сих пор самые богатые землевладельцы в Англии не платят почти ничего за свои громадные владения и оставляют их необработанными, в ожидании того, когда их стоимость удвоится вследствие недостатка земли.

Не из общинного труда, произведенного с свободного общего согласия, а именно из завоевания, из крепостного права происходят налоги, которые мы платим теперь государству. Действительно, когда государство заставляло подданных производить принудительные работы в шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом веках, то дело шло вовсе не о тех работах, которые села и деревни предпринимали на основании свободного соглашения своих жителей. Общинные работы продолжали производиться жителями общин. Но рядом с этими работами, кроме них, сотни тысяч крестьян приводились под военным конвоем из отдаленных сел, для постройки национальной дороги или крепости, для перевозки провизии, необходимой для питания армии, для следования на своих голодных лошадях за богатыми, отправлявшимися для завоевания новых замков. Другие работали в рудниках и на фабриках государства; третьи подгоняемые хлыстами управляющих, должны были повиноваться преступным фантазиям своих господ, занимаясь рытьем прудов у дворянских замков, или строя дворцы для королей, для господ и их содержанок, тогда как жены и дети этих крепостных должны были питаться лебедой, или просить милостыню по дорогам, а их отцы бросались голодные под пули солдат, чтобы отнять у конвоиров увозимый ими награбленный хлеб.

Принудительный труд, налагаемый сначала силой на покоренные народы (как это теперь еще делают и французы, и англичане, и германцы с неграми в Африке), а потом на всех „неблагородных", на „черную кость", — таково было истинное происхождение налога, который мы платим теперь государству. Нужно ли удивляться что налог сохранил до наших дней отпечаток своего происхождения?

Для деревень было большим облегчением, когда, с приближении Великой Революции начали заменять принудительные работы на государство своего рода выкупом — налогом, платимым в виде денег. Когда Революция принесла, наконец, с

собой луч света в крестьянские хижины и уничтожила часть акцизных сборов и налогов, ложившихся тяжелым бременем на беднейшие классы, и когда идея более справедливого (и также более выгодного для государства) налога начала осуществляться, это вызвало, говорят нам, всеобщую радость в деревнях, — особенно среди тех крестьян, кто наживался торговлей и ростовщичеством.

Но по сию пору налог остался верен своему первоначальному происхождению. В руках буржуазии, завладевшей властью, он не переставал расти, и его рост шел особенно на пользу буржуазии. Посредством налога, которого тягость не сразу чувствуется, клика правящих, то-есть государство, которое представляет четверной союз короля, церкви, судьи и военноначальника, не переставало расширять свои дела и обращалось с народом, как с завоеванной расой. Налог поражает так хорошо, что ныне, благодаря этому драгоценному орудию, мы почти так же порабощены государством, как наши отцы когда-то были порабощены своими господами и барами.

Какое количество труда каждый из нас дает государству? Ни один экономист не попытался оценить число трудовых дней, которые рабочий на полях и на заводах отдает каждый год этому вавилонскому идолу; так что мы напрасно стали бы искать в трактатах политической экономии хотя бы приблизительной оценки того, что человек, производящий богатства, отдает государству из своего труда. Простая оценка, основаная на бюджетах государства, губерний, волостей и общин (которые также участвуют в расходах государства), ничего бы не сказала нам, потому что необходимо оценить не то, что входит в кассы казначейства, но то, что уплата каждого рубля, внесенного в казначейство, представляет собой из фактических расходов, произведенных плательщиком. Все, что мы можем сказать, это то, что количество труда, отдаваемого каждый год производителем государству, огромно. Это количество должно достигнуть, и для некоторых классов намного превзойти, три дня работы в неделю, которые крепостной раб отдавал некогда своему господину.

И заметьте, что как бы мы ни старались перестроить систему налогов, главная их тяжесть в конечном счете всегда падает на рабочего. Каждая копейка, уплаченная в казну, платится в конце концов работником, производителем.

Государство может накладывать руку, более или менее, на доходы богачей. Но для этого еще требуется, чтобы богатые имели доходы, чтобы эти доходы были сделаны, произведены кем-нибудь; а они могут быть произведены только тем, кто производит что-нибудь своим трудом. Государство требует у богатого своей части его добычи, но откуда происходит эта добыча,

представляющая собой в конечном счете определенное количество хлеба, железа, фарфора или проданных тканей, — вообще всех результатов труда рабочего-производителя? Оставляя в стороне богатства, привозимые из-заграницы, и представляющие собой результат эксплоатации других работников, живущих в России, на Востоке, в Аргентине, в Африке, работники самой страны должны отдать государству такое-то количество дней своего труда, не только чтобы уплатить свой налог, а также чтобы обогатить богатых.

Если налог, взимаемый государством, кажется в сравнении с его громадными расходами не столь тяжелым в Англии, как у других народов Европы, то это происходит по двум причинам. Прежде всего Парламент, состоящий наполовину из лордов землевладельцев, покровительствует им и позволяет брать громадные деньги с жителей городов и деревень, в то время, как сами землевладельцы платят всего лишь ничтожный налог. Во вторых, — и это самое главное, — Англия больше всех европейских стран облагает налогами труд рабочих других народов [1]).

Нам говорят иногда о прогрессивном налоге на доходы, который, по словам наших правителей, ударяет по карману богачей к выгоде бедняков. Такова была действительно идея Великой Революции когда она ввела эту форму налога. Но теперь все, что мы получаем от налога, который только слегка прогрессивен, это то, что он слегка задевает доходы богачей: т. е. у них берется немного больше, чем ранее, из того, что они выжали из рабочих. Но это все. И всетаки всегда платит рабочий,—и платит он обыкновенно *больше*, чем государство берет у богатого.

---

[1]) Оценивают различно суммы, получаемые Англией на те капиталы, которые она дала в долг другим народам. Известно только, что сумма свыше 100 миллионов фунтов стерлингов, т. е. 1000 миллионов золотых рублей, представляет доход англичан на деньги, которые они ссудили различным *государствам* и *железнодорожным* компаниям. Если к этому прибавить проценты, получаемые каждый год на те деньги, которые англичане ссудили иностранным *городам*, затем различным компаниям морского и речного судоходства (везде, особенно в Америке), на *маяки*, подводные *кабели*, *телеграфы*, *банки* в Азии, Африке, Америке и Австралии (эти доходы огромны), и, наконец, те суммы, которые были помещены в тысячи *производств* всех стран мира, то английские статистики приходят к минимальной цифре втрое большей только что названной. Между тем, чистый доход, реализованный Англией на всем ее вывозе (менее полу-миллиарда рублей, так мал по сравнению с доходом, получаемым от обрезания ножницами купонов на акциях, что можно сказать, что главная промышленность Англии состоит в торговле капиталами. Она сделалась тем, чем была Голландия в начале XVII века именно главным ростовщиком мира. За ней следует Франция, потом Бельгия (пропорционально количеству ее населения). Действительно согласно оценке Альфреда Неймарка Франция имеет от 26 до 30 миллиардов иностранных ценностей, что дает ежегодный доход от одного миллиарда до миллиарда с половиной, не говоря о ценностях, котируемых оффициально на Парижской Бирже.

Таким образом мы сами видели в городе Бромлей, что когда налог на жилые дома был увеличен нашей ратушей приблизительно на два рубля в год на каждую квартиру рабочего (полудомик, как говорят в Англии), сейчас же плата за эти квартиры повысилась на двенадцать рублей в год. Таким образом домовладелец немедленно перекладывал на своих квартирантов увеличение налога и одновременно пользовался этим для увеличиния своего дохода и эксплоатации.

Что же касается до косвенных налогов, мы знаем, не только, что особенно задеваюся этим налогом предметы, потребляемые всеми (другие - меньше), но также, что всякое увеличение на несколько копеек налога на напитки, на кофе или хлеб отражается гораздо большим увеличением на ценах, платимых потребителем.

Кроме того, вполне очевидно, что единственно тот, кто *производит, кто создает богатства своим трудом*, может *платить* налог. *Остальное есть ничто иное, как дележка добычи, полученной предпринимателем того, кто производит*—дележка, которая всегда сказывается для работника лишь увеличением эксплоатации.

Таким образом мы можем сказать, что, оставляя в стороне налоги, взимаемые с богатств, производимых за границей, миллиарды, вносимые каждый год в казну (в любой стране) ложатся почти всецело на труд миллионов работников, имеющихся в стране. Тут рабочий платит, как потребитель напитков, сахара, спичек, керосина; там, платя за свою квартиру, он выплачивает налог, накладываемый государством на владельца дома. Здесь, покупая свой хлеб, он платит земельные налоги, земельную ренту, квартирную плату и налоги булочника, оплачивает инспекцию, министерство финансов и т. д. Там, наконец, покупая себе платье, он оплачивает права на ввезенный из-заграницы хлопок и монополию, созданную протекционизмом. Покупая уголь, путешествуя в вагоне железной дороги, он оплачивает монополию на угольные рудники и железные дороги созданную государством к выгоде для капиталистов, владельцев этих рудников и железных дорог. Коротко говоря, всегда он платит всю кучу налогов, налагаемых государством, округом, общиной на землю и ее продукты, на сырье, на мануфактуру, на доход хозяина, на привилегии образования, -на все, что стекается в кассы коммуны, округа и государства.

Сколько же дней труда в год представляют собой все эти налоги? Разве не вполне вероятно, что, подсчитав итог, мы увидим, что современный рабочий работает более для государства, чем даже крепостной раб некогда работал на своего господина?

Но если бы только было это!

В действительности же налог дает правительству не только средство сделать эксплоатацию более усиленной, но также средство удерживать народ в бедности и создавать легально, не говоря о воровстве и о Панамских мошенничествах, такие состояния, которых капитал один никогда не смог бы создать.

IV.

НАЛОГ,—СРЕДСТВО ОБОГАЩАТЬ БОГАТЫХ.

Налог так удобен! Наивные люди — „дорогие граждане", как их именуют во время выборов — привыкли видеть в налоге средства для совершения великих дел цивилизации, полезных для народа. Но правительства великолепно знают, что налог представляет им самый удобный способ создавать большие состояния за счет малых, делать народ бедным и обогащать некоторых, отдавать с большими удобствами крестьянина и рабочего во власть фабриканта и спекулянта, поощрять одну промышленность за счет другой, и все вообще промышленности - за счет земледелия и в особенности за счет крестьянина или же всего народа.

Если бы завтра в Палате Депутатов решили ассигновать 20 миллионов рублей в пользу крупных землевладельцев (как Лорд Сольсбюри сделал в Англии в 1900 году чтобы вознаградить своих избирателей-консерваторов), то вся страна завопила бы, как один человек; министерство было бы немедленно низвергнуто. А при помощи налога правительство перекачивает те же миллионы из карманов бедняков в карманы богачей, так что бедные даже не замечают этой проделки. Никто не кричит, и та же цель достигается удивительным образом — настолько ловко, что это назначение налогов проходит незамеченным даже теми, кто делает своей специальностью изучение налогов.

Это так просто! Достаточно, например, увеличить на несколько копеек налоги платимые крестьянином за каждую лошадь, телегу, корову и т. д., чтобы сразу раззорить десятки тысяч земледельческих хозяйств. Те, кто уже с большим трудом едва-едва сводят концы с концами, и кого малейший удар может окончательно раззорить и отправить в ряды пролетариата, гибнут на этот раз от самого ничтожного увеличения налогов. Они продают свои участки земли и уходят в города, предлагая свой труд владельцам фабрик и заводов. Другие продают лошадь и с удвоенным усердием начинают работать лопатой, надеясь еще

поправить свое положение. Но новое увеличение налогов, неизбежно вводимое через несколько лет, добивает их до конца и они становятся также пролетариями.

Эта пролетаризация слабых государством, правительством производится постоянно из года в год, и никто не кричит об этом кроме самих раззоренных, голос которых не доходит до широких кругов публики. Мы видели, как это производилось в грандиозном масштабе в течение последних сорока лет в России, особенно в центральной России, где мечты крупных промышленников о создании пролетариата осуществлялись потихоньку при помощи налогов, между тем как, если бы был издан закон, который стремился бы одним почерком пера раззорить несколько миллионов крестьян, то это вызвало бы протесты всего мира даже в России при самодержавном правительстве. Налог, таким образом, мягко достигает того, что правительство не смеет делать открыто.

И экономисты, присваивающие себе название „научных", говорят нам об „установленных" законах экономического развития, о „капиталистическом фатализме" и о „самоотрицании", — между тем как простое изучение налогов легко об'яснило бы добрую половину того, что они приписывают предполагаемой фатальности экономических законов. Таким образом раззорение и экспроприация крестьянина, которое происходило в семнадцатом веке, и которое Маркс назвал „первоначальным накоплением капитала" продолжается до наших дней из года в год, при помощи такого удобного орудия, — налога.

Вместо того, чтобы увеличиваться согласно неизбежным законам, сила капитала была бы значительно парализована в своем распространении, если бы она не имела к своим услугам государства, которое с одной стороны создает все время новые монополии (рудники, железные дороги, вода для жилых помещений, телефоны, меры против рабочих союзов, судебное преследование забастовщиков и т. д.), а с другой стороны создает состояния и раззоряет массы рабочих посредством налога.

Если капитализм помог создать современное государство, то также — не будем забывать этого — современное государство создает и питает капитализм.

Адам Смит, в прошедшем столетии, уже подчеркнул эту силу налога, и наметил главные линии, по которым должно было идти изучение налога; но после Смита такое изучение не продолжалось, и чтобы показать теперь эту мощь налога, нам приходится собирать там и сям соответствующие случаи и примеры.

Так, возьмем земельный налог, являющийся одним из самых могучих орудий в руках государства. Восьмой отчет Бюро Труда

Штата Иллинойса, дает массу примеров, доказывающих, как — даже в демократическом государстве — создаются состояния миллионеров, просто при помощи того, как государство облагает земельную собственность в городе Чикаго.

Этот громадный город рос очень быстро, достигнув втечение пятидесяти лет 1.500 000 жителей. Облагая налогами застроенные земли, в то время, как незастроенные земли, даже на самых центральных улицах, облагались лишь слегка, государство создало состояния миллионеров. Участки земли на одной такой большой улице, которые стоили пятьдесят лет тому назад 2400 рублей за одну десятую часть десятины, ныне стоят от двух до двух с половиною миллионов.

При том вполне очевидно, что, если бы налог был постольку-то за каждую квадратную сажень застроенной или незастроенной, земли или, если бы земля была муниципализована, то никогда подобные состояния не могли бы накапливаться. Город воспользовался бы ростом своего населения, чтобы понизить налоги на дома, заселяемые рабочими. Теперь же наоборот, так как именно дома в шесть или десять этажей, населенные рабочими, выносят главную тяжесть налога, то следовательно рабочий должен работать, чтобы позволять богатым сделаться еще более богатыми. В вознаграждение за это он должен жить в нездоровых, плохих помещениях, — что, как известно, останавливает духовный и умственный рост того класса, который живет в этих помещениях, и вместе с тем отдает всецело во власть фабриканта. *Восьмой Двугодичный Отчет Бюро Рабочей Статистики Иллинойса 1894 года*, полон поразительных сведений на эту тему.

Или возьмем английский арсенал в Вуличе. Некогда земли на которых вырос Вулич, представляли из себе дикие луга, обитаемые только кроликами. Но с тех пор, как государство построило там свой большой арсенал, Вулич и соседние деревни сделались большим городом с значительным населением, где 20,000 человек работают на фабриках государства, изготовляя орудия разрушения.

Однажды в июне 1890 года один депутат потребовал от правительства увеличения заработной платы рабочим. — „Зачем?" ответил министр-экономист Гошен. „Это все равно будет отобрано у них домовладельцами!.. Втечение последних лет заработная плата увеличилась на 20 процентов, но плата за квартиры рабочих увеличилась за это время на 50%. Увеличение заработной платы (цитирую дословно) вело таким образам только к тому, что в карманы домовладельцев (уже миллионеров) поступала гораздо большая сумма денег". Рассуждение министра очевидно верно,

и факт, что миллионеры отбирают большую часть увеличения заработной платы, заслуживает того, чтобы его хорошенько запомнили. Он совершенно точен.

С другой стороны, все время жители Вулича, как жители всякого другого большого города, были принуждены платить двойные и тройные налоги для устройства канализации, дренирования, мощения улиц, и город, таким образом, из полного всяких болезней превратился теперь в здоровый город. Благодаря-же существующей системе земельного налога и земельной собственности, вся эта масса денег пошла на то, чтобы обогатить уже богатых земледельцев и домовладельцев. „Они перепродают плательщикам налогов по частям те выгоды, которые они получили, благодаря санитарным улучшениям, и которые были уже оплачены этими самыми плательщиками“, — замечает совершенно верно газета Вуличских кооператоров *„Comradeship“* („Товарищество“).

Или еще: в Вуличе завели паровой паром для переезда через Темзу и сообщения с Лондоном. Сначала это была монополия, которую Парламент создал в пользу одного капиталиста, поручив ему установить сообщение с паровым паромом. Затем, по прошествии некоторого времени, так как монополист ввел слишком высокие цены за переезд, муниципалитет выкупил у него право держания парома. Все это стоило плательщикам более 2,000,000 руб. налогов втечение восьми лет! И вот маленький кусок земли, расположенный у парома, поднялся в цене на 30.000 рублей, которые, конечно, были положены в карман землевладельцем. И так как этот кусок земли будет продолжать всегда возростать в цене, то вот вам новый монополист, новый капиталист в добавление к легионам других, уже созданных английским государством.

Но этого мало! Рабочие государственных заводов Вулича кончили тем, что основали профессиональный союз и в результате долгой борьбы удерживали свою заработную плату на более высоком уровне, чем на других заводах подобного рода. Они основали также кооператив и уменьшили этим на одну четверть свои расходы на существование. Но „лучшая часть жатвы“ все таки идет в карманы господ! Когда кто-нибудь из этих господ решается продать кусочек своих земель, то его агент помещает в местных газетах следующее об‘явление (цитирую дословно):

„Высокая заработная плата, платимая арсеналом рабочим, благодаря их профессиональному союзу, и существование в Вуличе прекрасного кооператива делают эту местность в высшей степени подходящей для постройки домов с рабочими квартирами“. Иными словами это значит: „Вы можете дорого заплатить за этот кусок, господа строители домов с рабочими квартирами.

Вы получите все это назад очень легко с рабочих квартирантов". И строители платят, строят и затем с излишком собирают затраченные деньги с рабочего.

Но это еще не все. Вот, несколько энтузиастов сумели после ужасных затруднений и колоссального труда основать в самом Вуличе род кооперативного городка с домиками для рабочих. Земля была куплена кооперативом, дренирована, канализована: были проведены улицы; затем участки земли продавались рабочим, которые, благодаря кооперативу могли на хороших условиях выстроить себе свои домики. Основатели радовались и торжествовали. Успех был полный, и они захотели узнать, на каких условиях им можно будет купить соседний кусок земли, чтобы увеличить кооперативный городок. Они платили раньше за свой участок 15,000 рублей за десятину, — теперь же, с них спросили тридцать тысяч... Почему?..

— „Но господа, ваш городок идет очень хорошо, и поэтому стоимость нашей земли удвоилась", говорили им.

— „Великолепно! Значит, так как государство создало и поддерживало земельную монополию в пользу какого-нибудь капиталиста, то кооператоры работали только затем, чтобы еще обогатить этого капиталиста, и чтобы сделать дальнейшее распространение их рабочего городка невозможным!

— „Да, здравствует государство!

— „Работай для нас, бедное животное, раз ты веришь, что можешь улучшить свою судьбу кооперативами, не осмеливаясь затрогивать в то же время собственность, налог и государство!"

Но оставим Чикаго и Вулич, — разве мы не видим в каждом большом городе, как государство, воздвигая дом в шесть этажей, гораздо больший, чем частный особняк богача, создает этим самым новую привилегию в пользу богача? Оно позволяет ему забирать себе в карман излишек стоимости, приданной его земле увеличением и украшением города, особенно домом в шесть этажей, в котором гнездится беднота, работающая за нищенскую плату над украшением города!

Удивляются тому, что города растут так быстро за счет деревни, и не желают видеть, что вся финансовая политика девятнадцатого столетия направлена к тому, чтобы обложить как можно больше налогами земледельца — истинного производителя, так как он умеет добыть из земли в три, четыре, в десять раз больше продуктов, чем раньше, — в пользу городов; то есть в пользу банкиров, адвокатов, торговцев и всей банды прожигателей жизни и правителей.

И пусть нам не говорят, что создание монополий в пользу богатых не есть самая главная суть современного госу-

дарства и симпатий, которые оно встречает среди богатых и образованных людей прошедших через школы государства. Вот, последний великолепный пример того, как употребляли налоги в Африке.

Всем известно, что главной целью войны Англии против буров было уничтожение бурского закона, не позволявшего принуждать негров работать в золотых копях. Английские компании, основанные для эксплоатации этих мин, не давали тех доходов, на которые они расчитывали. Вот, что недавно заявил по этому поводу в Парламенте лорд Грей: „Вы должны оставить навсегда идею о возможности разрабатывать ваши копи при помощи труда белых. Нужно найти средства, как притянуть к этому негров... Это можно было бы сделать, например, при помощи налога в один фунт на каждую хижину негров, как мы это уже делаем в Басутоланде, а также при помощи небольшого налога (12 шилингов), который будет взиматься с тех негров, которые не смогут пред'явить удостоверения о том, что они четыре месяца в году работали у белых“. (Гобсон *„Война в Южной Африке„* Hobson *„The War in South-Africa*, p. 234).

Вот вам крепостное право, которое не осмеливались вводить открыто, но которое ввели *при помощи налога.* Представьте себе каждую жалкую хижину, обложенную налогом в десять рублей, и вы имеете перед собой крепостное рабство! И Рэдд, агент известного Родса, пояснил это предложение, написав следующее:

„Если, под предлогом цивилизации, мы истребили от 10,000 до 20,000 дервишей нашими пушками Максима, то конечно не будет насилием заставить туземцев Южной Африки *отдавать три месяца в году честному труду*“. Всегда те-же два, три дня в неделю! Больше этого не нужно. Что же касается оплаты честного труда", то Рэдд высказался по этому поводу очень определенно: от 24 до 30 рублей в месяц, это „болезненный сентиментализм“. Четверти, этого хватит за глаза (там же стр. 235). При таких условиях негр не разбогатеет и останется рабом. Нужно *отобрать* у него назад при помощи налога то, что он зарабатывает как жалованье; нужно помешать ему давать себе отдых!

Действительно, с тех пор, как англичане сделались господами Трансвааля и „черных“, добыча золота поднялась с 125 миллионов рублей до 350 миллионов. Около 200.000 „черных“ принуждены теперь работать в золотых копях, чтобы обогащать компании, которые были главной причиной возникновения войны.

Но то, что англичане сделали в Африке, чтобы довести черных до нищеты и навязать им силой работу в рудниках, государство делало втечение трех веков в Европе по отношению к

крестьянам; и оно еще делает это теперь чтобы навязать тот же принудительный труд рабочим городов.

А универсанты нам еще толкуют о „незыблемых законах“ политической экономии!

Оставаясь все время в области новейшей истории, мы могли бы привести другой пример ловкой операции, проведенной при помощи налога. Это можно было бы назвать: „Как Британское Правительство взяло с народа 2.000.000 рублей, чтобы отдать их крупным чае-торговцам — водевиль в одном акте“. В субботу 3 марта 1900 года в Лондоне разнеслось известие, что правительство собирается увеличить ввозные пошлины на чай на два пенса (8 копеек) на фунт. Немедленно после этого в субботу и понедельник 22.000.000 фунтов чаю, который лежал на Лондонской таможне, ожидая уплаты пошлин, были взяты коммерсантами, уплатившими пока пошлину по *старой* ставке; а во вторник цена чая в лондонских магазинах была повсюду увеличена на два пенса. Если будем считать только 22.000.000 фунтов, взятых в субботу и понедельник, это составляет уже *чистую* прибыль в 44.000.000 пенса (около 4.600.000 франков или почти 2.000.000 рублей), взятых из карманов плательщиков и переложенных в карманы чае-торговцев. Но то же самое было проделано и в других таможнях, — в Ливерпуле, в Шотландии и т. д., не считая чая вышедшего из таможен раньше, чем узнали о предстоящим увеличении пошлины. Это, без сомнения, выразится в сумме около пяти миллионов рублей, подаренных государством купцам.

То же самое с табаком, пивом, водкой, винами, — и, вот, вам богатые обогатились приблизительно на десяток миллионов, взятых из карманов бедных. А по сему: „Да, здравствует налог! и да здравствует государство!“

И вас, детей бедных, учат в первоначальной школе (дети богатых узнают совсем другое в университетах), что налог был создан для того, чтобы дать возможность бедным жителям деревень не отбывать более принудительных работ, заменив их небольшим ежегодным взносом в кассу государства. И скажите вашей матери, согнувшейся под бременем многих лет труда и домашней экономии, что вас учат там великой и прекрасной науке — политической экономии!..

Возьмемте на самом деле образование. Мы прошли длинный путь с тех пор, когда коммуна находила сама дом для своей школы и для учителя, где мудрец, физик и философ окружали себя добровольными учениками, чтобы передать им секреты своей науки или своей философии. Теперь мы имеем так-называемое бесплатное обучение, доставляемое государством за наш же счет; мы имеем гимназии, университеты, академии, на-

учные общества, существующие на субсидии от государства, научные миссии, — и так далее.

Так как государство всегда чрезвычайно радо расширять сферу своих отправлений, а граждане не желают ничего лучшего, как избавляться от обязанности думать о делах общего интереса и —„освободиться“от своих сограждан, предоставляя общие дела кому-нибудь третьему, все устраивается удивительным образом.— „Образование?“ говорит государство, „прекрасно, милостивые государыни и милостивые государи, мы очень рады дать его вашим детям! Чтобы облегчить вам заботы, мы даже *запретим* вам вмешиваться в образование. Мы составим программы, и пожалуйста, чтобы не было никакой критики! Сначала мы забьем головы вашим детям изучением мертвых языков и прелестей римского права. Это сделает их податливыми и покорными. Затем, чтобы отнять у них всякую наклонность к непокорности, мы расскажем им о добродетелях государств и правительств и научим презирать управляемых. Мы внушим им, что они, выучив латынь, сделались солью земли, дрожжами прогресса, что без них человечество погибло бы. Это вам будет льстить, а что же касается до них, то они проглотят это с величайшим удовольствием и станут до-нельзя тщеславными. Это именно то, что нам нужно. Мы научим их, что нищета народных масс есть „закон природы“, — и они будут рады узнать это и повторять. Видоизменяя однако народное обучение сообразно изменяющемуся вкусу времени, мы также скажем им, что такова воля Божия, что таков „незыблемый закон“, согласно которому рабочий должен впасть в нищету, как только он начнет немного богатеть, потому что в своем благосостоянии он забывается до того, что хочет иметь детей. Все обучение будет иметь целью заставить ваших детей поверить, что вне государства, ниспосланного провидением, нет спасения! А вы будете нас хвалить за это, — не правда ли?

„После того, заставив народ заплатить расходы на народное образование всех ступеней, — первоначальное, второй ступени, университеты, академии, мы устроим дела таким образом, чтобы сохранить наиболее жирные, лучшие части бюджетного пирога для сыновей буржуазии. А этот большой добродушный богатырь, народ, гордясь своими университетами и своими учеными, даже не заметит, как из правительства мы устроим монополию для тех, кто сможет платить за роскошь гимназии и университетов для своих детей. Если бы мы сказали всем прямо и открыто о нашей цели: „что мол вами будут управлять, вас будут судить, защищать, учить и дурачить богатые в интересах богатых“, то они конечно возмутились бы и восстали. Это ясно. Но с помощью [illegible] и нескольких хороших и очень „либеральных“ законов — например, заявив народу, что для того, чтобы

занять высокий пост судьи или министра, нужно пройти и выдержать по крайней мере двадцать различных экзаменов, — добродушный богатырь найдет, что все идет очень хорошо!"

Вот каким образом, потихоньку и постепенно управление народа аристократиею и богатыми буржуа,—против которых народ некогда бунтовал, когда он встречался с ними лицом к лицу,—теперь устраивается с согласия и даже одобрения народа—под маской налога!

О налоге военном, мы не станем говорить, так как все должны-бы уже знать, что думать о нем. Когда-же постоянная армия не была средством держать народ в рабстве? И когда регулярная армия могла завоевать страну, если ее встречал вооруженный народ?

Но возьмите какой угодно налог, — прямой или косвенный: на землю, на доходы или на потребление, чтобы заключать государственные долги, или под предлогом уплаты их (потому что они ведь никогда не выплачиваются, а все ростут да ростут); возьмите налог для войны или для народного образования — рассмотрите его, разберите, к чему он вас ведет в конечном счете, и вас поразит громадная сила, могущество, которое мы передали нашим правителям.

Налог — самая удобная для богатых форма, чтобы держать народ в нищете. Он дает средство для разорения целых классов землевладельцев и промышленных рабочих, когда они, после ряда неслыханных усилий, добиваются небольшого улучшения своего благосостояния. В то же время он есть самый удобный способ для того, чтобы сделать правительство вечною монополиею богатых. Наконец, он позволяет, под благовидными предлогами, подготовлять оружие, которое в один прекрасный день послужит для подавления народа, если он восстанет.

Как морское чудовище старинных сказок, он дает возможность опутывать все общество и направлять все усилия отдельных личностей к обогащению привилегированных классов и правительственной монополии.

И пока государство, вооруженное налогом, будет существовать, освобождение пролетариата не сможет совершиться никаким образом, — ни путем реформ, ни путем революции. Потому что, если революция не раздавит это чудище, то она сама будет им задушена: и в таком случае она сама очутится на службе у монополии, как это случилось с революцией 1793 года.

V.

МОНОПОЛИИ.

Рассмотрим теперь, как современное государство, установившееся в Европе после шестнадцатого века, а впоследствии и в молодых республиках Америки, работало над тем, чтобы поработить личность. Признав освобождение нескольких слоев общества, которые разбили в свободных городах крепостное рабство, государство как мы видели, постаралось удержать рабство, как можно дольше, для крестьян, и восстановило экономическое рабство для всех в новой форме, поставив всех своих подданных под иго чиновников и целого класса привилегированных: бюрократии, церкви, земельных собственников, купцов и капиталистов. И мы только что видели, как государство воспользовалось для этой цели налогом.

Теперь мы бросим взгляд на другое орудие, которым государство умело так хорошо пользоваться, - создание привилегий и монополий в пользу некоторых из своих подданных и к невыгоде остальных. Здесь мы видим государство в его настоящей работе: оно выполняет свое настоящее назначение. Оно начало это делать с самого своего возникновения, — именно это и дало ему возможность сорганизоваться и сгруппировать под своей защитой барина, солдата, священника и судью. За эту защиту и был признан король. Этому назначению он остается верен до наших дней; и если иногда он не выполнял этого, если он переставал охранять права привилегированных сословий, то смерть грозила этому историческому учреждению, которое приняло определенную форму для определенной цели и которое мы зовем государством.

Поразительно, в самом деле, до какой степени созидание различных преимуществ в пользу тех, кто уже имел их по рождению или в силу церковной или военной власти, является самой существенной чертой организации, которая начала развиваться в Европе в шестнадцатом веке и заменила собой вольные города средних веков.

Мы можем взять какую угодно нацию: Францию, Англию, германские государства, итальянские или славянские, — везде мы встречаем у зарождающегося государства тот же характер. Поэтому нам будет достаточно бросить взгляд на развитие монополий у одного народа — Англии, например, где это развитие лучше изучено, — чтобы понять существенную роль государства

у современных народов[1]). Ни один из них не представляет в этом отношении исключения.

Мы видим совершенно ясно, как образование современного государства, зародившегося в Англии после конца шестнадцатого столетия, и образование монополий в пользу привилегированных шло рука об руку[2]).

Уже перед царствованием Елизаветы, когда английское государство только что начиналось, короли Тюдорской династии создавали все время монополии для своих фаворитов. При Елизавете, когда морская торговля начала развиваться, и ряд новых отраслей промышленности выростал в Англии, это стремление еще более усилилось. Каждая новая промышленность обращалась в монополию, или в пользу иностранцев, плативших королеве, или в пользу царедворцев, которых желали вознаградить.

Эксплоатация залежей квасцов в Иоркшире, соли, свинцовых и угольных копей в Ньюкастле, стеклянная промышленность, усовершенствованная выделка мыла, булавок и так далее, — все это было превращено в монополии, которые мешали развитию промышленности и убивали мелкие промыслы. Чтобы защитить интересы царедворцев, которым была пожалована мыльная монополия, доходили, например, до того, что частным лицам было запрещено выделывать мыло из дому при их собственном щелоке.

При короле Джемсе II создание концессий и распределение патентов шло, все увеличиваясь, до 1624 года, когда наконец, при приближении Революции, был издан закон против монополий. Но этот закон был двуличний: с одной стороны он осуждал монополии, а в то же время не только поддерживал существующие уже монополии, но и утверждал новые и очень важные. Кроме того, едва лишь он был издан, как его сейчас же стали нарушать. Для этого воспользовались одним из его параграфов, который был в пользу старых городских корпораций, и стали сначала устанавливать монополии в отдельных городах, а потом распространяли их на целые области. С 1630-го по 1650-й год пра-

---

[1]) Для Англии мы имеем труд профессора Германа Леви, „Монополия, картели и тресты", напечатанный в 1909 году, и переведенный на английский язык под заглавием: "Монополия и Конкурренция" (Лондон 1914 г.). Эта работа представляет то удобство, что автор даже не интересуется ролью государства — его занимают экономические причины монополии. У него нет предвзятого мнения против государства.

[2]) Смотри Д. Энвин: „Промышленная Организация" (G. Unwin, „Industrial Organisation"), Оксфорд, 1904 г.; Г. Прайс, „Английские монопольные патенты" Бостон, 1906 г. (H. Price, „English Patents of Monopolies"). У. Кэннингэм, „Рост английской промышленности" (W. Cunningham „The Growth of English Industry") и в особенности работы Германа Леви и Макрости.

вительство воспользовалось также „патентами“, чтобы учредить новые монополии.

Потребовалась революция 1688 года, чтобы наложить узду на эту оргию монополий.

И только в 1689 году, когда новый Парламент (представлявший собой союз между торговой буржуазией и промышленностью и земельной аристократией, против королевского самодержавия и придворных) начал действовать, были приняты новые меры против создания монополий королем. Историки-экономисты говорят даже, что втечение почти целого века после 1689 года, английский Парламент ревностно охранял свое право не позволять создания промышленных монополий, которые могли покровительствовать некоторым промышленникам во вред другим.

Нужно действительно признать, что Революция и усиление власти буржуазии дали этот результат, и что крупные отрасли промышленности как хлопок, шерсть, железо, уголь и т. п., могли развиваться без помех со стороны монополий. Они могли даже развиться настолько, что стали *национальными* отраслями, в которых участвовала масса мелких предпринимателей. А это позволило тысячам рабочих вносить в небольшие мастерские много всяких улучшений, без которых производство никогда не могло бы совершенствоваться.

Но тем временем сорганизовывалась и укреплялась государственная буржуазия. Правительственная централизация, которая есть суть всякого государства, шла вперед, — и скоро снова началось образование новых монополий, но уже в новых областях, и на этот раз в совсем другом масштабе, чем при Тюдорах. Тогда это был только детский период искусства. Теперь же государство достигло зрелого периода.

Если Парламент сдерживался до некоторой степени представителями местной буржуазии и не мог вмешиваться в самой Англии в нарождавшиеся отрасли и покровительствовать одним за счет других, то он перенес свою монополистскую деятельность на колонии. Там он действовал на широкую ногу. Индийская Компания, Канадская Компания Гудзонова Залива сделались своего рода богатейшими государствами, отданными нескольким группам частных лиц. Позднее, концессии на земли в Америке, на золотоносные россыпи в Австралии, привилегии на судоходство и захват новых отраслей промышленности сделались в руках государства средствами для жалованья своих любимцев баснословными доходами. Колоссальные состояния были накоплены таким путем.

Верный своей природе, Английский Парламент, состоявший из двух частей: буржуазии в Палате Общин и земельной аристо-

кратии в Палате Лордов, занялся в течение всего 18-го века обращением крестьян в пролетариев крестьянства и передачей их, со связанными руками и ногами, во власть земельных собственников. При помощи законов об „огораживании“ (Inclosure Acts), посредством которых Парламент об‘явил общинные земли личной собственностью господина-лорда, если последний огородил их какой-нибудь изгородью, около 3.000.000 десятин общинных земель перешли из рук общин в руки господ между 1709 и 1869 годами [1]). Вообще результат монополистского законодательства английского Парламента был тот, что одна *треть* земли, годной для обработки в Англии, принадлежит теперь только 523 семьям.

Огораживанье было актом открытого грабежа; но в 18-ом веке государство, обновленное революцией, уже чувствовало себя достаточно сильным, чтобы не обращать внимания на недовольство и случайные восстания крестьян. Притом, его в этом поддерживала буржуазия.

Действительно, одаривая таким образом лордов земельной собственностью, Парламент покровительствовал также промышленной буржуазии. Изгоняя крестьян из деревень в города, он давал промышленникам дешевые „рабочие руки“ голодных людей. А вследствие толкования, данного Парламентом закону о бедных, агенты хлопчатобумажных фабрикантов об'езжали работные дома (workhouses), то-есть собственно тюрьмы, куда запирали безработных пролетариев с их семьями; и из этих тюрем агенты увозили фургоны, полные детей, которые под именем „учеников работных домов“, должны были работать четырнадцать и шестнадцать часов в день на хлопчатобумажных фабриках. Города Ланкаширской провинции носят до сих пор на своем народонаселении отпечаток своего происхождения. Худосочная кровь голодных детей, которые были привезены из рабочих домов южных провинций для обогащения буржуазии, и которых заставляли работать из-под кнута надсмотрщиков, очень часто с семи лет, видна еще теперь в хилом малокровном населении этих городов. Это продолжалось вплоть до 19-го века.

Наконец, чтобы помочь новым рождающимся промышленностям, Парламент уничтожал своим законодательством местную промышленность в колониях. Так было убито ткацкое производство, которое достигло было высокой степени артистического

---

[1]) Относительно бедствий, причиненных огораживанием читатель найдет подробные сведения, с картами, подтверждающими их, в последней английской работе на эту тему доктора Джильберта Слэтера „Английские крестьяне и огораживание общинных земель“ (The English Peasantry and the Inclosure of Common Fields. London 1907). Относительно земельного вопроса вообще и ограбления [illegible] земледельцами [illegible] см. книгу Альфреда Рассела Уоллеса, „Национализация земли, ее необходимость и ее цели“.

совершенства в Индии. Таким образом этот богатейший рынок был отдан в распоряжение английских коммерсантов. Выделка холста в Ирландии была таким же образом убита, к выгоде хлопчатобумажников Манчестера.

Мы видим, следовательно, что если буржуазный Парламент, заботившийся об обогащении своих избирателей путем развития национальной промышленности, противился втечение 18-го века тому, чтобы отдельные промышленники или отрасли английской промышленности обогащались в ущерб другим, то он все свое внимание отдал пролетаризации масс земледельческого населения Англии и колоний, которых он отдал на самую низкую эксплоатацию могущественных монополистов. В то же время, по мере сил, он поддерживал и покровительствовал в Англии даже горнопромышленные монополии, установленные еще в предыдущем веке, как монополия угольных промышленников Ньюкастля, которая продержалась до 1844 года, и медная монополия, продолжавшаяся до 1820 года.

VI

МОНОПОЛИИ В 19-М ВЕКЕ.

С первой половины 19-го века начали возникать, под покровительством закона, новые монополии, перед которыми старые были детской игрой.

Сначала внимание дельцов устремилось на железные дороги и на океанские пароходные линии, субсидируемые государством. Колоссальные состояния были созданы втечение немногих десятков лет в Англии и во Франции с помощью „концессий", полученных частными лицами и компаниями на постройку железных дорог, обыкновенно с гарантией известного дохода.

К этому прибавились большие металлургические и горнопромышленные общества для поставки железным дорогам железа на рельсы, железных или стальных мостов, подвижного состава и топлива, все эти общества умели получать баснословные доходы и страшно спекулировали приобретенными землями. За ними следовали крупные общества для постройки железных морских судов и для выделки железа, стали, меди для военного снаряжения, и самого снаряжения: брони, пушек, ружей, холодного оружия и т. д.; затем предприятия для постройки каналов (Суец, Панама и т. д.); и, наконец, то, что называют „развитием" запоздалых

в индустрии стран, т. е. попросту грабежом их, при помощи субсидий от своего государства. Миллионеры фабриковались тогда быстро, как грибы, наполовину — голодными рабочими, которых расстреливали без всякой пощады, или ссылали на принудительные работы, как только они делали малейшую попытку мятежа.

Постройка широкой сети железных дорог в России (начатая в шестидесятых годах), на полуостровах Европы, в Соединенных Штатах, в Мексике, в республиках Южной Америки, — все это было источником неслыханных богатств, собранных посредством настоящего грабежа, под покровительством государства. Какое жалкое зрелище представлял, бывало, феодальный барон, когда он грабил купеческий караван, проходивший близь его замка! Теперь биржевые дельцы, грабили сразу миллионы человеческих существ, при открытом содействии государства, и его правительств: самодержавных, парламентарных и республиканских.

Но это было не все. Скоро к этому присоединились еще: постройка судов для торгового флота, субсидируемая различными государствами; пароходные линии, также субсидируемые; затем подводные кабели и телеграфы; постройка туннелей и пересечение перешейков; украшение городов начатое в грандиозном масштабе при Наполеоне III; и, наконец, возвышаясь под всем этим, как Эйфелева Башня над соседними домами, царили государственные займы и субсидированные банки!

Весь этот танец миллиардов совершался при помощи „концессий“. Финансы, торговля, война, вооружение, образование все было использовано для создания монополий, для фабрикации, уже не миллионеров, а миллиардеров — владельцев миллиардов.

И пусть не стараются оправдать эти монополии и концессии, говоря, что таким путем люди всетаки выполнили и завершили многие полезные предприятия. Потому что на каждый полезно-затраченный миллион капитала для этих предприятий, учредители компаний обременяли государственные долги тремя, четырьмя, пятью, иногда десятью миллионами. Стоит вспомнить только Панаму, где миллионы были выброшены, чтобы „пустить в ход“ компании, и только десятая часть денег, внесенных акционерами пошла на действительные работы по пересечению перешейка. Но что происходило с Панамой, происходит со всеми компаниями без исключения в Америке, в Республике Соединенных Штатов так же, как и в европейских монархиях. „Почти все наши компании, железнодорожные и другие“, сказал Генри Джордж в своей работе: „Прогресс и Бедность“, „перегружены таким образом. Там, где действительно пущен в дело доллар, выпускают облигации на два, три, четыре, пять и даже де-

сять долларов; *проценты же и дивиденды уплачиваются именно на эти фиктивные суммы*".

И если бы только было это! Когда сформированы большие компании, то их власть над человеческими обществами такова, что ее можно сравнить только с властью разбойников, захватывавших некогда дороги и бравших дань с каждого путешественника, будь он пешеход или начальник торгового каравана [1]). И с каждым миллиардером, появляющимся с помощью государства, в министерства сыплются дождем миллионы.

Грабеж народного богатства, который производился и производится с согласия и с помощью государства — особенно там, где еще остались естественные богатства для захвата, — просто ужасен и отвратителен. Нужно видеть, например, великую Транс-Канадскую железную дорогу, чтобы иметь представление о грабеже, одобренном государством. Все, что есть лучшего в плодоносных землях великих озер Северной Америки или в больших городах на берегу рек, принадлежит компании, получившей привилегию на постройку этой линии. Полоса земли в семь с половиной верст шириной, по обеим сторонам дороги на всем ее протяжении, была отдана капиталистам, взявшим на себя постройку линии; и когда эта линия, подвигаясь к западу, достигла до мало-плодородных равнин, то вместо полосы земли вдоль дороги, столько же десятин было отведено в местах плодородных, где земля скоро достигла очень высокой стоимости. Там, где государство еще раздавало землю бесплатно новым колонистам, земли отданные Транс-Канадской дороге, были разделены на участки в одну квадратную милю, расположенные, как черные квадраты на шахматной доске, среди земель, отданных государством колонистам. В результате, теперь квадраты, принадлежа-

---

[1]) Генри Джордж в своей работе: „Протекционизм и свободный обмен" привел следующий пример железного рудника в Штате Мичигане. Собственники купили его, заплатив за землю по 15 франков за десятину. Они уступили право добычи руды некому Кольби, выговорив себе плату в 2 франка с тонны добытой руды. Кольби уступил это право акционерной компании: „Морз и Ко" за 2 фр. 62 сант. за тонну, а „Морз" переуступил это Сельвуду за 4 фр. 37 сант. с тонны. Сельвуд не занимался сам разработкой рудника, но организовал это при помощи подрядчика, которому он платил 62½ сант. с тонны, и которому добыча одной тонны руды стоила, считая все вместе (заработную плату, машины, надсмотр, администрацию), 50 сант., что давало чистой прибыли 12½ сант. Так как добыча достигала 1200 тонн в день, то это давали чистого дохода: 150 франков в день подрядчику, который сам добывал руду, 450 франков Сельвуду, 840 франков „Морз и Ко", 750 франков Кольби и 2400 франков собственникам земли. Всего чистого доходу 12150 франков в день, сверх стоимости труда и прибыли, которую извлекал подрядчик из работы. Такова была цена монополии, гарантированной государством, — т. е. излишек, который потребитель уплатит за то, что он дал государству право создавать монополии. Этот пример есть малый пример того, что в большом масштабе делается во всех концессиях: на железные дороги, каналы, морские суда, подвижной состав, вооружения и т. д.

щие государству и отданные эмигрантам, все заселены, а земли, отданные капиталистам Транс-Канадской дороги, получили громадную ценность. Что-же касается капитала, который, как предполагалось, Компания затратила на постройку линии, то он представляет собой по общему мнению сумму, раздутую в три или четыре раза по сравнению с действительно затраченным капиталом.

Куда мы ни посмотрим, везде мы находим одно и то же, настолько, что становится трудно указать хоть одно крупное богатство, обязанное своим возникновением только промышленности, без помощи какой-нибудь монополии правительственного происхождения. В Соединенных Штатах, как уже заметил Генри Джордж, найти такое богатство совершенно невозможно.

Точно также громадное состояние Ротшильдов обязано всецело своим происхождением займам, сделанным королями у банкира-основателя этого рода, чтобы сражаться против других королей, или против своих собственных подданных.

Не менее колоссальное состояние герцогов Вестминстерских обязано своим происхождением всецело тому, что их предки получили по простому капризу королей те земли, на которых теперь построена большая часть Лондона; и это состояние поддерживается единственно потому, что английский Парламент, вопреки всякой справедливости, не желает поднимать вопроса о вопиющем присвоении лордами земель, принадлежащих английскому народу.

Что касается до богатств крупных американских миллиардеров, Астора, Вандербильта, Гульда, до королей *трестов* нефти, стали, рудников, железных дорог, даже спичек и т. д., то все они ведут свое происхождение от монополий, созданных государством.

Одним словом, если бы кто-нибудь составил список богатств, которые были присвоены финансистами и дельцами с помощью привилегий и монополий, созданных государством; если бы кто-нибудь сумел оценить богатства, которые были урезаны из общественного достояния всеми правительствами — парламентарными, монархическими или республиканскими, — чтобы отдать их частным лицам в обмен за более или менее замаскированную взятку, — то рабочие, везде, были бы глубоко поражены и возмущены. Получились бы неслыханные цифры, с трудом понимаемые теми, кто живет на свою скудную заработную плату.

Рядом с этими цифрами, которые являются продуктом узаконенного грабежа, те, о которых нам красноречиво говорят трактаты политической экономии, — просто пустяки, выеденное яйцо. Когда буржуазные экономисты желают нас уверить, что в происхождении капитала мы находим несчастные копейки, накопленные, с лишениями для себя, хозяевами промышленных пред-

приятий из доходов с этих предприятий, то или эти господа невежды, или сознательно говорят то, что не правда. Грабеж, присвоение и расхищение народных богатств, с помощью государства, заинтересовывая в этом „сильных мира сего“, — вот истинный источник происхождения колоссальных богатств и состояний, накопляемых каждый год землевладельцами и буржуазией.

„Но вы нам говорите“, возразят нам может быть, „о захвате богатств в девственных странах, только недавно завоеванных для промышленной цивилизации 19-го века. Дело обстоит совсем иначе в странах более зрелых в политической жизни, как Англия и Франция“.

Между тем, в странах передовых, с более развитой политической жизнью происходит совершенно то же самое. Правительства этих государств находят постоянно новые предлоги для ограбления граждан в пользу своих любимцев. Разве „Панама“, которая обогатила стольких финансовых дельцов, не была чисто французским делом? Разве она не была приложением знаменитой фразы: „обогащайтесь!“, произнесенной Гизо; и рядом с „Панамой“, которая окончилась скандалом, разве не было сотен подобных ей, которые процветают вплоть до наших дней? Нам стоит только вспомнить о Марокко, о Триполитанской авантюре, об авантюре на реке Ялу в Корее, о разграблении Персии и т. д. Эти акты высокого мошенничества происходят все время, и они прекратятся только после социальной революции.

Капитал и Государство — два параллельно растущих организма, которые невозможны один без другого, и против которых, поэтому, нужно всегда бороться вместе, — зараз против того и другого. Никогда государство не смогло бы организоваться и приобрести силу и мощь, которую оно теперь имеет, ни даже ту, которую оно имело в Риме императоров, в Египте фараонов, в Ассирии и т. д., если бы оно не покровительствовало росту земельного и промышленного капитала и эксплоатации — сначала племен пастушеских народов, потом земледельческих крестьян и еще позднее промышленных рабочих. Таким образом эта страшная, колоссальная организация, известная под именем государства, образовалась постепенно, мало по малу, покровительствуя своим кнутом и мечом тем, кому она давала возможность захватить себе землю и обзавестись (сначала посредством грабежа, позднее при помощи принудительной работы побежденных) некоторыми орудиями для обработки земли, или для производства промышленных фабрикатов. Тех, у кого нечем было работать, государство заставляло работать для тех, кто владел землями, железом, рабами.

И если капитализм никогда не достиг бы своей настоящей

формы без обдуманной и последовательной поддержки государством, то государство, с своей стороны, никогда не достигло бы своей страшной силы, своей все-поглащающей мощи, и возможности держать в своих руках всю жизнь каждого гражданина, какую оно имеет теперь, если бы оно не работало сознательно, терпеливо и последовательно над тем, чтобы образовался капитал. Без помощи капитала королевская власть никогда даже не смогла бы освободиться от церкви; и без помощи капиталиста она никогда не могла бы наложить свою руку на все существование современного человека, с первых дней его школьного возраста до могилы.

Вот, почему, когда говорят, что капитализм начинается с 15-го или 16-го века, то это утверждение может рассматриваться, как имеющее некоторую полезность, *постолько, посколько оно служит к утверждению параллелизма* развития государства и капитала. Но факт состоит в том, что эксплоатация капиталиста существовала уже там, где были первые зародыши индивидуальной собственности на землю, там, где было установлено право таких-то людей пускать скот пастись на такой-то земле и, позднее, возможность обрабатывать такую-то землю при помощи принудительного или наемного труда. Даже теперь мы сами можем видеть, как капитал ведет уже свою зловредную работу у пастушеских монгольских народностей (монголы, буряты), которые едва выходят из стадии родового быта. Действительно, достаточно, чтобы торговля вышла из правил родового быта (в силу которых ничто не может быть продано одним членом рода другому того-же рода); достаточно, чтобы торговля стала *личной*, — чтобы уже появился капитализм. И когда государство (приходя извне, или развиваясь в данном племени) накладывает свою руку на племя посредством налога и своих чиновников, как это оно уже делает с монгольскими племенами, то пролетариат и капитализм уже появились и неизбежно начинают совершать свое развитие. И именно для того, чтобы отдать кабилов, марокканцев, триполитанских арабов, египетских феллахов, персов и т. д. во власть капиталистов, привезенных из Европы, а также и местных эксплоататоров, — европейские государства делают теперь свои завоевания в Африке и Азии. В странах, недавно завоеванных, можно видеть своими глазами, как государство и капитал тесно связаны между собой, как одно порождает другое, как они определяют взаимно свое параллельное развитие.

———

VII

МОНОПОЛИИ В КОНСТИТУЦИОННОЙ АНГЛИИ. — В ГЕРМАНИИ. — КОРОЛИ ЭПОХИ.

Экономисты, изучавшие в последнее время развитие монополий в различных государствах, отметили, что в Англии — не только в 18-ом веке, как это мы видели сейчас, но также и в 19-м веке, созидание монополий *в народной промышленности*, а также созидание договоров между хозяевами для поднятия цен на их продукты, которые называют *картелями* или *трестами*, не достигало такой степени, какой оно достигло за последнее время в Германии.

Однако этот факт об'ясняется не превосходством политической организации английского государства — оно так же создает монополии, как и все другие, — но, как указывают эти самые экономисты, островным положением Англии, которое позволяет привозить по дешевым ценам товары (даже малой стоимости сравнительно с их количеством) и держаться свободной торговли.

С другой стороны, завоевав такие богатые колонии, как Индия, и колонизировав (также благодаря морскому положению), территории, как Северная Америка и Австралия, английское государство нашло в этих странах столь многочисленные возможности для монополий колоссального масштаба, что оно направило на это свою главную деятельность...

Без этих двух причин, положение в Англии было бы совершенно такое же, как везде.

Действительно, уже Адам Смит отметил, что никогда трое хозяев не встречаются без того, чтобы не конспирировать против своих рабочих — и, очевидно, против потребителей. Стремление к созиданию *картелей* и *трестов* всегда существовала в Англии, и читатель найдет в работе Макрости множество фактов, показывающих, как хозяева устраивают заговоры против потребителей.

Английский Парламент, как и все другие правительства, покровительствовал этим конспирациям хозяев; закон карал только соглашения среди рабочих, которые считались конспирацией против безопасности государства.

Но рядом с этим существовал беспошлинный ввоз товаров, начиная с сороковых годов, и дешевизна подвозки их по морю, что часто расстраивало конспирации хозяев. Но, так как Англия первая сумела создать у себя крупную промышленность, мало боявшуюся иностранной конкуренции и требовавшую свободного ввоза сырых материалов, и так как Англия в то же время отдала

две трети своей земли кучке лордов, которые выгнали крестьян из своих имений, и так как она поэтому была вынуждена существовать на привозимые извне рожь, пшеницу, овес, мясо, то Англия была *принуждена* ввести и поддерживать у себя свободную торговлю [1]).

Но свободная торговля позволяла также ввозить изделия мануфактурной промышленности. А потому — это очень хорошо рассказано в книге Германа Леви — каждый раз, когда хозяева устраивали между собой заговор для поднятия цен на нитки, или цемент, или стеклянные изделия, эти товары ввозились из заграницы. Хотя низшие по качеству в большинстве случаев, они тем не менее составляли конкурренцию там, где низшее качество продукта уже принималось в рассчет. Таким образом планы хозяев, задумывавших устроить *картель*, или своего рода *трест*, расстраивались. Но—сколько пришлось потратить борьбы на то, чтобы удержать свободную торговлю, которая была совсем не по вкусу крупным лордам-землевладельцам и их фермерам!

Однако, начиная приблизительно с 1886—1895 годов создание больших *картелей* или *трестов* хозяев, монополизировавших некоторые отрасли, начало происходить в Англии, как и в других странах. И причиной этого — как мы теперь знаем — было то, что синдикаты хозяев начали организовываться *интернационально*, —чтобы включать предпринимателей одних и тех же отраслей, как в Англии, так и в странах, удержавших у себя ввозные пошлины [2]).

Таким образом привилегия, установленная где нибудь в Германии или России в пользу немецких или русских фабрикантов, распространяется на страны свободной торговли, а влияние этих международных синдикатов начинает чувствоваться уже повсюду. Они поднимают — это нужно хорошенько заметить — не только цены на те специальные товары, которыми интересуется синдикат, ***но и на все товары.***

---

[1]) В Англию ввозят даже пищу для скота, хотя его разводят не очень много, а также мясо, сено, различные сорта муки, отруби. Что касается мяса, то английские крестьяне начали есть говядину и баранину лишь после того, как в шестидесятых годах начали ввозить мясо из Америки, а позднее из Австралии и Новой Зеландии. До этого, мясо было недоступной роскошью для крестьян.

[2]) Эти синдикаты, которые, например, включают в себя сверх английских фабрикантов, более всего фабрикантов ниток, стекла, цемента и т. п. в протекционистских странах, мешают тому, чтобы иностранная конкурренция понижала цены в Англии. Некогда германские или русские фабриканты тех же товаров, продав известное количество этих товаров у себя дома по высокой цене (благодаря покровительственному тарифу) могли посылать часть их в Англию, когда английские фабриканты этих товаров сговаривались между собой и образовывали синдикат для того, чтобы поднять на них цены. Теперь же, когда в *международный синдикат* входят также германские и русские фабриканты, они обязываются больше не делать того и не мешать сбыту по приподнятым ценам.

Нужно ли прибавлять, что эти синдикаты или тресты пользуются высоким покровительством государства под тысячью разнообразных видов (банки и т. д.), тогда как международные синдикаты рабочих ставятся теми же правительствами под запрет. Так, французское правительство запрещает Интернационал, а бельгийское и германское правительства изгоняют немедленно агитатора, приехавшего из Англии, чтобы пропагандировать организацию рабочего международного союза. Но мы никогда не видим, чтобы откуда-нибудь выгнали агента трестов[1]).

Возвращаемся к английскому Парламенту. Он никогда не упускал из виду миссию всех правительств, древних и современных государств: покровительствовать эксплуатации бедных богатыми. В девятнадцатом столетии, как и раньше, он никогда не пропускал создавать монополии, если к тому представлялся удобный случай. Так профессор Леви, который желает показать, насколько Англия выше в этом отношении Германии, принужден тем не менее признать, что, поскольку условия ввоза этому не препятствовали, английский Парламент не пропускал случая воспользоваться этим для покровительства монополиям.

Так, монополия угольных промышленников Ньюкастля в отношении лондонского рынка поддерживалась законом до 1830 года, и картель этих промышленников была распущена только в 1844 г. после сильной чартистской агитации. А в 1870—1880 годах образовались коалиции судоходных компаний (Shipping Rings), о которых столько говорили в последнее время. Они, конечно, пользуются покровительством государства.

---

[1]) Говоря об этом современном росте международных *картелей*, я позволю себе резюмировать здесь то, что Андрэ Моризэ рассказал нам в газете „Guerre Sociale“ от 6 февраля 1912 года о международном соглашении, существующем относительно поставки [illegible] снаряжения для броненосцев. Это соглашение [illegible] включало в себя [illegible] участников — Круппа, Шнейдера, Максима, [illegible] и т. д., которые были разделены на четыре группы: английскую, [illegible], французскую и даже [illegible] участники [illegible] условились между собою относительно дележа заказов [illegible] так, чтобы не составлять друг другу конкуренции. Тот из участников, которому предназначался какой-нибудь заказ, представлял известную [illegible] цену, а другие участники картели представляли цены, немного более высокие. Кроме того, был устроен pool, то есть особый фонд, составленный из взносов [illegible] процентов с каждого заказа, и служивший для урегулирования [illegible] с различных заказов. Начиная с 1899 года три новых больших [illegible] были приняты в число участников картели, чтобы избежать конкуренции [illegible] их стороны. Понятна та огромная сила, которой обладает этот синдикат. Он не только [illegible] средство для ограбления казны в государствах и для [illegible] богатств, но он заинтересован в том, чтобы толкать все государства, большие и маленькие, к усилению вооружений. Вот почему мы видим [illegible] настоящую лихорадку в постройке *дредноутов и супер-дредноутов*. Банкиры, заинтересованные в этом синдикате, не желают [illegible] дать необходимые деньги [illegible] не были их долги. [illegible], и [illegible] государство“.

Но если бы только это! Все, что можно было монополизировать, было отдано Парламентом монополистам.

С тех пор, как начали освещать города газом, проводить в города чистую воду, устраивать канализацию для отвода нечистот, строить трамваи, и наконец, в самое последнее время проводить телефоны, английский Парламент никогда не упускал случая обращать эти общеполезные предприятия в монополии, в пользу привилегированных компаний. Так что теперь, например, жители городов в провинции Кент и во многих других графствах должны платить нелепые цены за воду, и им невозможно даже провести самим и распределять необходимую воду, потому что Парламент уже отдал эту привилегию компаниям. То же было с газом и трамваями, и везде, до 1 Января 1912 года, существовала монополия на телефоны.

Первые телефоны были введены в Англии несколькими частными компаниями. И государство, Парламент, поспешил уступить им монополию на постройку телефонов в городах и в округах, сроком на тридцать один год. Скоро большинство этих компаний об'единилось в одну, могущественную национальную компанию, и получилась скандальная монополия. Благодаря своим магистралям и „концессиям", Национальная Компания заставила англичан платить за телефон в пять и десять раз больше, чем где-либо в Европе. А так как Компания, пользуясь своей монополией, при ежегодных расходах в 75 миллионов получала чистого *доходу 27 миллионов* (согласно оффициальным цифрам), то она и не старалась, конечно, увеличивать число своих станций, предпочитая платить жирные дивиденды своим акционерам и увеличивать свой резервный фонд (который уже втечение 15 лет достиг цифры свыше 100 миллионов). Это повышало „стоимость" компании и следовательно сумму, которую государство должно было уплатить ей, чтобы выкупить назад привилегию, если бы оно увидело себя вынужденным сделать это до истечения тридцати-одного года.

В результате получилось то, что частный телефон, ставший обычным явлением на континенте, существовал в Англии только у коммерсантов и богатых людей. И только 1 Января 1912 года вся сеть телефонов этой монопольной компании была выкуплена министерством почт и телеграфов, после того, как монополисты обогатились от нее на много сотен миллионов.

Вот каким образом создают все растущую и баснословно богатую буржуазию, в стране, где половина взрослых мужчин, живущих на заработок, то-есть свыше 4.000.000 человек получают *менее* 14-ти рублей в неделю, и свыше 3.000.000 человек менее 10-и рублей. Но 14 рублей в неделю, в Англии, при существующих ценах на продукты, едва составляют тот *необходимый минимум*,

на который семья, состоящая из двух взрослых и двух детей, может жить и оплачивать комнату, стоющую два рубля в неделю. Подробные исследования профессора Боуэйя и Раунтри в Норке, дополненные работами Киоцца-Моней, устанавливают это с полной ясностью.

Если так создавались монополии в стране свободной торговли, то что же сказать о протекционистских странах, где не только невозможна конкурренция иностранных товаров, но большие индустрии железа, выделки рельсов, сахара и т. д. всегда испытывают затруднения в приискании денег и постоянно субсидируются государством? Германия, Франция, Россия, Америка являются настоящими рассадницами монополий и синдикатов хозяев, покровительствуемых государством. И эти организации, очень многочисленные и часто очень могущественные, имеют возможность поднимать цены на свои товары в ужасающей пропорции.

Почти все минералы, металлы, сырой сахар и рафинад, спирт для промышленности и множество производств (гвозди, фаянсовые изделия, табак, очистка нефти и т. п.) — все это обращено в монополии, в картели или тресты, — всегда благодаря вмешательству государства и очень часто под его покровительством.

Один из ярких примеров этого рода мы находим в германских синдикатах сахара. Так как производство сахара здесь подчинено надзору государства и до известной степени его управлению, то 450 сахарных заводов об'единились под покровительством государства, чтобы эксплоатировать публику. Эта эксплоатация продолжалась до Брюссельской конференции, которая немного ограничила заинтересованное покровительство сахарной промышленности германским и русским правительствами, чтобы „поддержать" английских сахаропромышленников.

То же самое происходит в Германии по отношению к другим производствам, каковы, например, водочный синдикат, вестфальский угольный синдикат, покровительствуемый синдикат фарфоровых фабрик, союз фабрикантов гвоздей, делаемых из германского железа и т. д., не говоря уже о судоходных линиях, железных дорогах, заводах военного снаряжения и т. д., и не считая монополистские синдикаты для разработки минералов в Бразилии и множество других.

Мы напрасно стали бы искать другого в Америке: — там та же картина. Не только во времена колонизации и в начале современной промышленности, но даже и теперь еще, каждый день, в каждом американском городе образуются скандальные монополии. Везде то же стремление поддержать и укрепить под покровительством государства эксплоатацию бедных богатыми и бесчестными. Каждый новый шаг прогресса цивилизации вызы-

вает новые монополии и новые акты эксплоатации под покровительством государства, — в Америке точно так же, как и в старых государствах Европы.

Аристократия и демократия, поставленные в рамки государства, действуют совершенно одинаково. И та, и другая, достигнув власти, являются одинаковыми врагами самой простой справедливости по отношению к производителю всех богатств — работнику[1]).

И если бы это была только бесчестная эксплоатация, какой отдаются государствами целые народы, чтобы дать разбогатеть известному количеству промышленников, компаний или банкиров! Если бы только было это! Но зло бесконечно более глубоко. Дело в том, что большие компании железных дорог, стали, угля, нефти, меди и т. д., крупные компании банков и больших финансистов становятся колоссальной *политической* силой во всех современных государствах. Стоит только подумать о том, как банкиры и крупные финансисты господствуют над правительствами в вопросах войны. Известно, например, что личные симпатии не только Александра II, но и королевы Виктории к Германии влияли на русскую и английскую политику в 1870 году и способствовали разгрому Франции. Известно также, насколько личные симпатии короля Эдуарда III содействовали образованию франко-английского соглашения. Но не будет никакого преувеличения, если мы скажем, что симпатии и предпочтения семьи Ротшильда, интересы высоких банковских кругов в Париже и католического банка в Риме гораздо более сильны и могущественны, чем предпочтения и интересы королей и королев. Мы знаем, например, что отношения Соединенных Штатов к Кубе и Испании зависели гораздо больше от сенаторов, имевших монополии сахарной промышленности, чем от симпатий государственных деятелей Америки по отношению к повстанцам Кубы.

[1]) Делэзи привел замечательный пример Сент-Обенского синдиката, появившегося еще при Людовике XV и сумевшего с тех пор всегда процветать, беря себе акционеров в высших правительственных сферах. Приобретая себе защитников и акционеров сначала при королевском дворе, потом среди императорской знати Наполеона I, затем среди высшей аристократии времен реставрации и, наконец, в республиканской буржуазии, и изменяя сферу эксплоатации сообразно времени, этот синдикат процветает еще, под высоким покровительством легитимистов, бонапартистов и республиканцев, соединившихся в деле эксплоатации. Форма государства меняется, но так как сущность его остается та же, то монополии и тресты всегда уживаются в нем, и эксплоатация бедных в пользу богатых продолжается.

VIII.

ВОЙНА.

Промышленное соперничество.

Уже в 1883 году, когда Англия, Германия, Австрия и Румыния, воспользовавшись изолированием Франции, заключили союз против России, и когда ужасная европейская война была готова вспыхнуть, мы указывали в газете: „Le Révolté“, каковы были истинные причины соперничества между государствами и вытекавших отсюда войн.

Причина современных войн всегда одна и та же: это — соперничество из-за рынков и из-за права эксплоатировать отсталые в промышленности нации. В Европе уже не сражаются больше из-за чести королей. Теперь бросают одни армии против других ради неприкосновенности доходов Всемогущих Господ Ротшильда или Шнейдера, Почтенной Анзенской Компании, или Святейшего Католического Банка в Риме. Короли — более не в счет.

В самом деле, все войны, какие происходили в Европе за последние полтораста лет, были войнами ради интересов торговли, ради права эксплоатации.

К концу восемнадцатого столетия, крупная промышленность и мировая торговля, опираясь на военный флот и на колонии в Америке (Канада) и в Азии (Индия), начали развиваться во Франции. Тогда Англия, которая уже раздавила своих соперников в Испании и Голландии, желая удержать для себя одной монополию морской торговли, владычества над морями и колониальной империи, воспользовалась революцией во Франции чтобы начать против нее целый ряд войн. Она уже тогда поняла, что ей может принести монополия на сбыт продуктов ее зарождавшейся промышленности.

Видя себя достаточно богатой, чтобы оплачивать армии Пруссии, Австрии и России, Англия вела против Франции втечение четверти века целый ряд ужасных, разорительных войн. Франция должна была истекать кровью, чтобы выдержать эти войны. И только этой ценою она смогла удержать свое право остаться „великой державой“. Иначе говоря, она удержала за собой право, не подчиняться всем условиям, которые английские монополисты хотели ей навязать в интересах своей торговли. Она

удержала за собой право иметь флот и военные порты. Потерпев неудачу в своих планах колониального распространения в Северной Америке (она потеряла Канаду) и в Индии (она должна была покинуть здесь свои колонии), она получила, вместо этого, разрешение создать себе колониальную империю в Африке—под условием не трогать Египта—и обогащать своих монополистов, грабя арабов и кабилов в Алжире.

Позже, во второй половине девятнадцатого века, наступила очередь для Германии. Когда крепостное право было там уничтожено вследствие восстаний 1848 года, и когда уничтожение общинного землевладения вынудило молодых крестьян массами покидать деревни и идти в города, где они, за голодную плату, предлагали свои „незанятые руки" промышленным предпринимателям—крупная промышленность быстро развилась в различных немецких государствах. Немецкие промышленники скоро поняли, что если дать народу хорошее, реальное воспитание, то они смогли бы быстро нагнать страны крупной промышленности как Франция и Англия,- при условии, конечно, если Германия получит выгодный сбыт за границей. Они знали то, что так хорошо доказал Прудон, а именно, что промышленник может серьезно обогатиться лишь в том случае, если большая часть его продуктов вывозится в страны, где они могут быть продаваемы по ценам, каких они никогда не могут достигнуть в стране их производства.

И тогда во всех социальных слоях Германии—в эксплоатируемых, также как и в эксплоатирующих,—явилось страстное желание об'единить Германию: во что бы то ни стало сделать из нее могущественную империю, способную поддерживать колоссальную армию, морской флот, и могущую завоевать порты в Северном море, в Адриатике и, когда нибудь,—в Африке и на Востоке; словом, империю, которая могла бы диктовать экономические законы в Европе.

Для этого нужно было, очевидно, разбить силу Франции, которая воспротивилась бы этому, и которая тогда имела, или казалось что имела, достаточную силу, чтобы помешать этому.

Отсюда—ужасная война 1870 года, со всеми ее печальными последствиями для мирового прогресса, которые мы терпим еще до сих пор.

Вследствие этой войны и вследствие победы, одержанной над Францией, Германская империя,—эта мечта, лелеемая еще с 1848 г. немецкими радикалами и социалистами, а также и консерваторами,—была наконец создана, и скоро она заставила почувствовать и признать свое политическое могущество и свое право диктовать законы Европе.

Затем Германия, вступившая в поразительный период ки-

нучей деятельности, сумела действительно удвоить, утроить, удесятерить свое промышленное производство; и теперь немецкий буржуз с жадностью смотрит на новые источники обогащения всюду понемногу; на равнинах Польши, в степях Венгрии, на плоскогорьях Африки и, особенно, вокруг Багдадской железной дороги, в богатых долинах Малой Азии, где капиталисты найдут для эксплоатации трудолюбивое население под самым прекрасным небом. А там, Германии удастся, может быть, захватить когда-нибудь и Египет.

Словом немецкие дельцы желают завоевать вывозные порты и особенно военные порты в Адриатике Средиземного моря и в Адриатике Индейского Океана т. е. в Персидском заливе, а также на африканском берегу, в Бейре а затем в Тихом Океане. Их верный слуга, германская империя,—к их услугам для этой цели, со всеми своими армиями и крейсерами.

Но повсюду эти новые завоеватели встречают чудовищного соперника, Англию, которая преграждает им дорогу.

Ревниво охраняя свое первенство на морях, особенно ревниво стремясь удержать свои колонии, для эксплоатации их своими монополистами, напуганная успехами колониальной политики германской империи и быстрым развитием ее военного флота, Англия удваивает усилия, чтобы обладать флотом, способным сразу раздавить германского соперника. Она ищет также повсюду союзников, чтобы ослабить военное могущество Германии на суше. И когда английская пресса бьет тревогу и пугает английскую нацию, притворяясь, будто она опасается немецкого нашествия, она прекрасно знает, что опасность совсем не там. То, что ей нужно, это—быть в состоянии бросить регулярную английскую армию туда, где Германия, в согласии с Турцией, аттаковала бы какую либо колонию Британской империи (Египет, например). И для этого ей нужно иметь возможность обладать сильной „территориальной“ армией, которая может в случае надобности, потопить в крови всякий рабочий бунт. Для этого, главным образом и обучают военному искусству буржуазную молодежь, сгруппированную в отряды „разведчиков“ (бой-скауты).

Английская буржуазия желает теперь проделать с Германией то, что она сделала, в два приема, чтобы остановить на пятьдесят или больше лет развитие морского могущества России: в первый раз в 1855 году, с помощью Турции, Франции и Пьемонта и—во второй раз, в 1904 г., напустив Японию на русский флот и на русский военный порт в Тихом Океане

В результате этого мы живем, вот уже втечение двух лет, на чеку, в предвидении колоссальной европейской войны, которая может разразиться со дня на день.

Кроме того, не следует забывать, что промышленная волна, катясь с запада на восток, захватила также Италию, Австрию и Россию. И эти государства в свою очередь утверждают свое „право“ — право их монополистов на добычу в Африке и Азии.

Русский разбой в Персии, итальянский разбой против арабов Триполитанской пустыни и французский разбой в Марокко, суть последствия того же желания припасти новых рабов, — „производителей сырья“ — в Азии и в Африке.

„Консорциум“ разбойников, состоящий на службе у европейских монополистов, „позволил“ Франции овладеть Марокко, как он позволил Англичанам захватить Египет. Он „позволил“ итальянцам завладеть частью Оттоманской империи, чтобы помешать захватить ее Германии; и он „позволил“ России захватить северную Персию, чтобы англичане могли овладеть хорошим куском на берегах Персидского залива, раньше, чем немецкая железная дорога достигла его!

И для этого итальянцы подлым образом избивают безобидных арабов, французы избивают марокканцев, а царские опричники вешают персидских патриотов, которые хотели возродить свое отечество, добившись для него некоторой политической свободы. Золя имел полное право сказать: „Какие негодяи эти честные люди!“

Высшие финансы.

Все государства, сказали мы, как только крупная промышленность начинает развиваться в стране, приходят к тому, что ищут войны. Их толкают к этому промышленники и, увы, даже рабочие, чтобы завоевать новые рынки — новые источники легкого обогащения.

Но более того. Ныне существует в каждом государстве особый класс, или точнее — шайка, бесконечно более могущественная, чем промышленные предприниматели, и эта клика также толкает к войне. Это — высшие финансисты, крупные банкиры. Они вмешиваются в международные отношения и подготовляют войны.

В наше время это делается очень просто.

К концу средних веков большая часть крупных городов-республик Италии запуталась в долгах. Когда эти города вступили в период упадка, особенно вследствие бесконечных войн, которые они вели между собою — так как все стремились овладеть

богатыми рынками Востока, тогда города стали заключать колоссальные займы у своих собственных гилдий крупных торговцев.

Такое же точно явление происходит и теперь с государствами, которым синдикаты банкиров очень охотно дают взаймы деньги, чтобы в один прекрасный день взять все их доходы под лог.

Конечно, это практикуется, главным образом, с маленькими государствами. Банкиры дают им взаймы из 7, 8, 10 процентов, зная, что заем „осуществится" лишь с большою скидкою: т. е., заемщик получит только четыре-пятых, а не то и меньше той суммы, за которую он будет платить проценты. В результате этого, за вычетом „комиссионных" банкам и посредникам, — государство не получает даже и двух-третей суммы, вписанной в его Долговую Книгу.

На эти суммы, преувеличенные таким путем, задолжавшее государство должно отныне платить проценты и погашение. И если оно не уплачивает их в назначенный срок, банкиры ничего лучшего не желают, так как присоединяют просроченные проценты и погашение к основному долгу. Чем хуже идут финансовые дела государства-должника, чем более безрассудны издержки его правителей, — тем охотнее предлагают ему новые займы. После этого банкиры устраивают в один прекрасный день „консорциум" чтобы наложить руку на такие-то налоги, на такие-то таможенные пошлины, на такие-то железные дороги.

Таким путем крупные финансисты разорили Египет и позже привели его к тому, что он был аннексирован, т. е. присвоен Англией. Чем более безумны были расходы Хедива, тем более его к этому поощряли. Это было аннексией, завоеванием по частям.

Таким же путем разорили Турцию, чтобы отнять у ней понемногу ее провинции. И тоже самое произошло, говорят нам, с Грецией, которую группа финансистов толкнула на войну против Турции, чтобы потом завладеть частью доходов побежденной Греции.

Таким же манером крупные финансисты Англии и Соединенных Штатов эксплоатировали Японию, до и во время ее двух войн: с Китаем и с Россией.

Что же касается Китая, то уже втечение многих лет он стрижется синдикатом, представляющим крупные банки Англии, Франции, Германии и Соединенных Штатов. И со времени революции в Китае, Россия и Япония требуют, чтобы их допустили участвовать в этом синдикате. Они хотят воспользоваться этим, чтобы расширить не только сферы своей эксплоатации, но и свои территории. Раздел Китая, подготовленный банкирами, стоит на очереди.

Короче, у государств дающих взаймы, существует целая организация, в которой правящие, банкиры, дельцы по организации компаний, финансовые маклера и весь сомнительный люд, который Золя так хорошо описал в романе: „*Деньги*“, подают друг другу руку, чтобы эксплоатировать целые государства.

Там, где наивные люди думают открыть глубокие политические причины, или национальную вражду, нет ничего кроме заговоров, созданных пиратами финансов. Они эксплоатируют все: политические и экономические соперничества, национальную вражду, дипломатические традиции и религиозные столкновения.

Во всех войнах последней четверти века видна рука крупных финансов. Завоевание Египта и Трансвааля, захват Триполи занятие Марокко, раздел Персии, избиения в Манчжурии и избиение и международный грабеж в Китае во времена восстания боксеров, войны Японии, — повсюду мы находим работу крупных банков. Повсюду „высшие финансы“ имеют решающий голос. И если до сего дня великая европейская война еще не разразилась, — это потому, что „высшие финансы“ колеблются. Они не знают, в какую сторону склонятся весы, на чашки которых будет брошены пущенные ход в миллиарды: они не знают, на какую лошадь поставить свои капиталы.

Что же касается сотень тысяч человеческих жизней, которых будет стоить война, — какое дело до них финансам? Ум финансиста мыслит столбцами цифр, которые покрывают друг друга. Остальное его не касается: у него нет даже необходимого воображения, чтобы вводить человеческие жизни в свои рассчеты.

Какой гнусный мир пришлось бы разоблачить, если бы кто нибудь взял только на себя труд изучить кулисы „высших финансов“! Об этом можно уже догадываться, хотя бы по приподнятому „Лизисом“ маленькому уголку завесы, в его статьях в La Revue (появились, в 1908 году, отдельным изданием, под заглавием: „*Contre l'oligarchie financière en France*“ — „*Против финансовой олигархии во Франции*“).

Из этого сочинения видно, в самом деле, как четыре или пять крупных банков — Лионский Кредит, Генеральное Общество (Société Générale), Национальная Контора Учета и Промышленный и Торговый Кредит — владеют во Франции полной монополией на крупные финансовые операции.

Большая часть—почти восемь-десятых — французских сбережений, которые ежегодно достигают суммы около двух миллиардов франков, вложена в эти банки; и когда иностранные государства, крупные или мелкие железнодорожные компании, города, промышленные компании пяти частей света являются в Париж, чтобы

заключить заем, — они обращаются к одному из этих четырех или пяти банков, которые обладают монополией иностранных займов и располагают необходимым механизмом, чтобы их провести.

Очевидно, что не талант директоров этих банков создал для них такое выгодное положение. Нет, это государство — прежде всего французское правительство — покровительствовало и содействовало этим банкам и создало для них привилегированное положение, сделавшееся скоро монополией. А затем, другие государства, государства делающие займы, усилили эту монополию. Так, Лионский Кредит, монополизировавший русские займы, обязан своим привилегированным положением финансовым агентам русского правительства и царским министрам финансов.

Аферы, устраиваемые этими четырьмя или пятью обществами, исчисляются миллиардами. Так, в два года 1906 и 1907 — они распределили в различных займах семь с половиной миллиардов— 7.500.000.000 фр., из которых 5.500.000.000 в иностранных займах (Lysis, стр. 101) И когда мы узнаем, что „коммиссионные“ этих компаний за организацию иностранных займов равняются пяти процентам для „синдиката приносящих“ (тех, кто „приносит“, доставляет новые займы), пять процентов для синдиката гарантирующего, и от семи до десяти процентов для синдиката, или, скорее, для треста четырех или пяти названных банков, то можно себе представить, какие колоссальные суммы достаются этим монополистам.

Так, один „посредник“, который „доставил“ заем в 1.250 миллионов, заключенный русским правительством в 1906 году, чтобы раздавить русскую революцию, получил за это — по словам Лизиса — коммиссию в двенадцать миллионов!

Легко понять, какое закулисное влияние оказывают великие директора этих финансовых обществ на международную политику, со своим таинственным счетоводством, со своими полномочиями, которых некоторые директора требуют и получают от акционеров, — ибо нужна большая конспиративность, когда приходится выплачивать 12 миллионов франков Господину Такому-то, 250.000 министру такому-то и столько-то миллионов, не считая орденов, представителям печати! Нет ни одной крупной газеты во Франции, говорит Лизис, которая не была бы подкуплена банками. Это понятно. Легко можно догадаться, сколько нужно было раздать денег газетам, когда подготовлялся в 1906—1907 годах ряд русских займов (государственный, железнодорожный, земельных банков). Сколько писак жирно покушали, благодаря этим займам — видно из книги Лизиса. Какое счастье, в самом деле! Правительство великой державы на краю гибели! Надо

раздавить революцию! Не каждый день встречается подобный случай!

И вот, все знают это более или менее. Нет ни одного политического деятеля, который не знал-бы подоплеки этих мошенничеств и не слыхал бы в Париже имен женщин и мужчин, „получивших“ крупные суммы после каждого займа — крупного или малого, русского или бразильского.

И каждый, если он хоть что-нибудь смыслит в делах, прекрасно знает, в какой мере вся эта организация „высших финансов“ есть создание государства, — *необходимая принадлежность государства.*

И именно это государство — которого власть весьма боятся уменьшить это государство, в умах реформаторов-государственников, должно стать орудием освобождения масс?! Умно,—нечего сказать!

Глупость ли, невежество, или мошенничество руководит людьми, когда они это проповедуют, — оно одинаково непростительно людям, считающим себя призванными располагать судьбами народов.

IX.

ВОЙНА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Спустимся теперь одной ступенью ниже и посмотрим, как государство создало в современной промышленности целый класс людей, непосредственно заинтересованных в том, чтобы превратить народы в военные лагери, готовые броситься друг на друга.

В самом деле, — в данный момент громадные отрасли промышленности, занимающие миллионы людей, существуют исключительно для приготовления военного материала; вследствие чего владельцы этих заводов и их пайщики вполне заинтересованы в том, чтобы подготовлять войны и поддерживать страх перед войнами, могущими вспыхнуть.

Здесь мы говорим не о мелкотравчатых фабрикантах никуда не годного огнестрельного оружия, игрушечных сабель и револьверов, дающих постоянно осечку, какие имеются в Бирмингаме, Льеже, и т. п.

Их почти нечего считать, хотя торговля этим оружием, производимая экспортерами, спекулирующими на „колониальных“ войнах, уже имеет некоторое значение. Известно, в самом деле, что

английские торговцы снабжали оружием матабелов в то время, как они приготовлялись восстать против поработивших их англичан. А несколько позже французские фабриканты и даже весьма известные английские фабриканты составили себе состояния, посылая оружие, пушки и снаряды Бурам. В настоящий момент даже говорят о больших количествах оружия, ввезенного английскими торговцами в Аравию, что приведет к восстанию этих племен, к грабежу нескольких купцов и к английскому вмешательству, чтобы „восстановить порядок" и сделать какую-нибудь новую „аннексию" [1]).

Эти мелкие факты уже в счет не идут. Теперь мы хорошо уже знаем „патриотизм" буржуазии, и за последнее время мы видели гораздо более важные факты. Так, во время последней войны между Россией и Японией, английское золото помогало японцам, чтобы они разрушили нарождающееся морское могущество России на Тихом Океане, которое не нравилось Англии. Но, с другой стороны, английские угольные компании продали России по очень высокой цене 300.000 тонн угля, чтобы дать ей возможность послать на Восток флот Рождественского. Одним выстрелом убивали двух зайцев: угольные компании Уэльса делали выгодную аферу, а финансисты Lombard Street (центр финансовых операций в Лондоне) помещали свои деньги из девяти или десяти процентов в японский заем и накладывали свою руку на большую часть доходов их „дорогих союзников"!

Но все это лишь несколько мелких фактов из тысячи других в том же роде. Замечу только, что много можно было бы узнать интересного об этом мире наших правителей, если бы буржуа не умели хорошо хранить свои тайны! — Перейдем-же к другой категории фактов.

Известно, что все крупные государства покровительствовали созданию, наряду с их казенными арсеналами, колоссальных частных заводов, фабрикующих пушки, брони для броненосцев, военные суда меньших размеров, снаряды, порох, патроны и т. д. Громадные суммы были затрачены всеми государствами, чтобы иметь эти вспомогательные заводы, где в настоящее время собраны опытные рабочие и инженеры.

Вполне очевидно, что в прямых интересах капиталистов, которые поместили свои капиталы в эти предприятия, постоянно поддерживать слухи о войне, беспрерывно толкать к вооружению: сеять, если нужно, панику. Так они и делают.

И если возможности европейской войны уменьшаются в известные моменты; если господа правители, хотя сами заинтере-

---

[1]) Если не ошибаюсь, оно уже началось *П. К.*, 1920 г.

сованные, как акционеры крупных военных заводов (Анзен, Крупп, Армстронг и т. д.), крупных железнодорожных и каменноугольных компаний, и т. д., — иногда с трудом решаются заговорить в воинственном тоне, то их принуждают к этому, фабрикуя, при помощи газет, шовинистское общественное мнение, или даже подготовляя восстания.

Разве не существует, в самом деле, эта проститутка — ежедневная пресса—чтобы подготовлять умы к новым войнам, ускорять те, которые вероятны, или, по меньшей мере, заставлять правительства удваивать вооружения? Так, разве в Англии мы не видели, как втечение десяти лет, предшествовавших войне с бурами, большая пресса и, особенно, ее помощники — иллюстрированные журналы, искусно подготовляли умы к необходимости войны, чтобы „пробудить патриотизм?" В этих видах не останавливались, ни перед чем. Печатали с большим шумом романы о предстоящей войне, в которых рассказывали, как англичане, сначала побитые, делали сверхчеловеческое усилие и кончали тем, что уничтожали немецкий флот и занимали Роттердам. Один лорд затратил безумные деньги, чтобы заставить играть по всей Англии одну патриотическую пьесу. Она была слишком глупа, чтобы делать хорошие сборы; но она была необходима для этих господ, которые мошенничали с Сесиль Родсом в Африке, чтобы завладеть золотыми россыпями в Трансваале и заставить негров работать на себя.

Забывая все, они дошли даже до того, что возродили культ — да, *культ*, — заклятого врага Англии, Наполеона Первого. И с тех пор работа в этом направлении не прекращалась никогда. В 1905 г. почти даже совсем удалось втянуть Францию, управлявшуюся тогда Клемансо и Делькассе, в войну с Германией, так как министр иностранных дел консервативного правительства, лорд Ландсдоун, дал обещание поддержать французскую армию корпусом английских войск, посланных на континент!.. Нужно было очень немного в тот момент, чтобы Делькассе, который придавал этому обещанию значение, какого оно, конечно, не имело, не впутал Францию в гибельную войну.

Вообще, чем дальше мы подвигаемся в нашей буржуазной государственнической цивилизации, тем больше пресса, переставая быть выражением того, что называют общественным мнением, прилагает все усилия к тому, чтобы самой фабриковать общественное мнение самыми бесчестными способами. Крупная пресса во всех крупных государствах, есть уже ничто иное, как два или три синдиката финансовых дельцов, которые формируют нужное им, в интересах их предприятий, общественное мнение. Большие газеты принадлежат им, а все остальное в счет не идет: их можно купить почти за ничто!

Но это еще не все: язва вросла еще глубже.

Современные войны это уже не только избиение сотен тысяч человек в каждом сражении, — избиение, о котором те, кто не следил за подробностями крупных битв во время Манчжурской войны и ужасными подробностями осады и защиты Порт-Артура, — не имеют абсолютно никакого представления, И однако три величайших исторические битвы — Гравелот, Потомак и Бородино, которые длились каждая три дня и в которых было от девяносто до ста тысяч раненых и убитых с обеих сторон, были детскими игрушками по сравнению с современными войнами!

Крупные битвы происходят теперь на фронте в пятьдесят, шестьдесят верст длины; они длятся не по три, а по семи дней (Ляо-Ян), по десяти дней (Мукдэн), и потери доходят до ста, стапятидесяти тысяч человек *с каждой стороны.*

Опустошения, сделанные снарядами, пущенными с величайшей точностью батареями, расположенными в пяти, шести, семи верстах и позицию которых нельзя даже открыть, благодаря бездымному пороху, — неслыханны. Уже больше не стреляют на удачу. На чертеже разделяют на квадраты позиции, занятые неприятелем, и последовательно сосредоточивают огонь всех батарей на каждом квадрате, чтобы уничтожить все, что там находится.

Когда огонь многих сотен орудий сосредоточен на квадратной версте, — как это делают теперь,—не остается пространства в десять квадратных сажень, на которое не упал бы снаряд; ни одного куста, который не был бы вырван с корнем ревущими чудовищами, посланными неизвестно откуда. Безумие овладевает солдатами после семи или восьми дней этого ужасного огня; и когда колонны нападающих — после восьми, десяти отраженных аттак, но подвигаясь каждый раз на несколько метров, достигают наконец неприятельских траншей, начинается рукопашная битва. Забросав друг друга ручными гранатами и кусками пироксилина (два куска пироксилина, связанных между собой веревкой, метались японцами из пращи), русские и японские солдаты катались в траншеях Порт-Артура, как дикие звери, колотя друг друга прикладами, ножами, вырывая куски мяса зубами...

Западно-европейские рабочие и не подозревают даже об этом ужасном возврате к самому чудовищному, дикому состоянию, какое представляет собой современная война, а буржуа, которые знают это, весьма остерегаются говорить им об этом.

Но современные войны не только избиение, безумие избиения, возврат к дикому состоянию. Они также—разрушение в колоссальном масштабе человеческого труда; и результаты этого разрушения мы чувствуем среди нас постоянно, *во время мира,* в

виде возрастания нищеты среди бедных, которое развивается параллельно обогащению богатых.

Каждая война есть чудовищное разрушение материала, который включает не только собственно военный материал, но также вещи самые необходимые для повседневной жизни всего общества: хлеб, мясо, овощи, всякого рода продукты, молочный скот, кожа, уголь, металлы, платье. Все это представляет полезную работу миллионов людей в течение десятков лет, и все это будет расхищено, сожжено, или брошено в воду втечение нескольких месяцев. Впрочем оно растрачивается уже теперь, в предвидении войн.

И так как этот военный материал, эти металлы, эти припасы должны быть приготовлены заранее, то простая близкая возможность новой войны производит во всех наших промышленностях потрясения и кризисы, которые задевают нас всех. Вы, я, все мы испытываем действие их в малейших подробностях жизни. Хлеб, который мы едим, дрова, которыми мы топим, билет железной дороги, который мы покупаем, цена каждой вещи зависит от слухов о возможности войны в близком будущем, распространяемых спекулянтами.

Промышленные кризисы вытекающие из предвидения войн.

Необходимость заготовить заранее чудовищный военный материал и массу провизии всех родов, производит неизбежно во всех промышленностях потрясения и кризисы, которые отражаются ужасным образом на всех, и особенно на рабочих. Действительно, совсем недавно это можно было наблюдать в Соединенных Штатах.

Читатели без сомнения помнят ужасный промышленный кризис, свирепствовавший в Соединенных Штатах в течение последних трех или четырех лет. Отчасти он продолжается еще и теперь. Происхождение этого кризиса, — что бы нам ни говорили „ученые" экономисты, знающие писания своих предшественников, но не знающие действительной жизни, — истинное происхождение этого кризиса было вызвано чрезмерной производительностью в главнейших отраслях, которая была вызвана в течение нескольких лет в предвидении большой войны в Европе и другой войны, между Соединенными Штатами и Японией. Те, кто толкал на эти войны, знали очень хорошо влияние, какое окажет на американскую промышленность предвидение этих войн. Результатом его, на самом деле, была лихорадочная деятельность

в течение двух или трех лет в металлургии, в производстве угля, в производстве материалов для железных дорог, материалов для платья и питательных консервов.

Извлечение железной руды и производство стали в Соединенных Штатах достигли за эти годы совершенно неожиданных размеров. Сталь особенно потребляется во время современных войн, и Соединенные Штаты сделали фантастические запасы ее, равно как и других металлов, как никеля и марганца, требующихся для фабрикации особых сортов стали, необходимых для военных материалов. Шла скачка в перегонку между теми, кто спекулировал на запасах чугуна, стали, меди, свинца и никеля.

Точно также обстояло дело с запасами ржи, мясных консервов, рыбы, овощей. Почти тоже самое было с хлопчатобумажными тканями, сукнами, и кожами. А так как всякое крупное предприятие вызывает к жизни, рядом с собой, целый ряд мелких, то горячка производства, на многое превосходившего спрос, распространялась все больше и больше. Те, кто давал деньги (или скорее кредит) и поддерживал это производство, наживались, само собой разумеется, благодаря этой горячке, еще больше, чем хозяева предприятий.

И вдруг — сразу все остановилось, хотя нельзя было указать ни одной причины из тех, которым приписывали предыдущие кризисы. Дело в том, что как только высшие европейские финансовые круги убедились, что Япония, раззоренная войной в Манчжурии, не посмеет аттаковать Соединенные Штаты, и что ни одна из европейских наций не чувствует еще себя достаточно уверенной в победе, чтобы обнажить меч, европейские капиталисты отказали в новых кредитах, как американским финансистам, дававшим деньги на займы, и поддерживавшим перепроизводство, так и японским „националистам“.

„В близком будущем не будет войны!“ — и вот сталелитейные заводы, медные рудники, домны, доки, кожевенные заводы и спекулянты продовольственными продуктами, все внезапно замедлили свои операции, заказы и покупки.

И тогда произошло нечто большее, чем кризис, — народное бедствие! Миллионы рабочих и работниц были выброшены на мостовую, в самую ужасную нищету. Большие и маленькие заводы закрывались, зараза распространялась, как во время чумы, сея ужас везде кругом.

Кто опишет когда-либо страдания миллионов мужчин, женщин и детей, разбитые жизни, втечение этого кризиса, в то время, когда составлялись колоссальные состояния в предвидении изорванного человеческого мяса и гор человеческих трупов, которые будут расти после каждой крупной битвы!

[illegible] войны! Вот как Государство обогащает богатых,

держит бедняков в нищете и из года в год все более порабощает их богатым!

Теперь, по всей вероятности, в Европе и особенно в Англии наступит кризис, подобный американскому, и вследствие тех же причин.

Весь мир был удивлен около середины 1911 года внезапным и совершенно непредвиденным увеличением английского вывоза. Ничто в экономическом мире не давало оснований предвидеть его. Никакого об'яснения не было дано,—именно потому, что единственное возможное об'яснение было то, что, громадные заказы приходили с континента, в предвидении войны между Англией и Германией. Эта война, как известно, едва не вспыхнула в июле 1911 г., и если бы она вспыхнула, Франция и Россия, Австрия и Италия были бы принуждены принять в ней участие [1]).

Очевидно, что крупные финансисты, которые снабжают своим кредитом спекулянтов металлами, пищевыми продуктами, сукном, кожей и т. д. были уведомлены об угрожающем повороте, который принимали отношения между двумя морскими соперниками. Они знали, как оба правительства устраивали свои военные приготовления, и поэтому торопились сделать заказы, которые увеличили сверх всякой меры английский вывоз в 1911 году. [2]).

Но той же самой причине мы обязаны недавним чрезвычайным поднятием цен на все, без исключения, пищевые продукты, между тем, как ни результаты урожаев минувшего года, ни количества всех сортов товаров, собранных в складах, не оправдывают этого вздорожания. Факт тот, впрочем, что вздорожание не касается одних только пищевых продуктов: *все* товары были задеты им, а спрос все возрастал, между тем как ничто не об'ясняло этого преувеличенного спроса, если не предвидение войны.

[1]) Эти строки писались в 1911-м году. Французский подлинник этой книги вышел в Париже, в феврале 1913-го года.

[2]) Несколько цифр лучше покажут эти скачки. Между 1900 и 1901 гг. вывоз из Англии был нормален. Он составлял, для продуктов английского производства, цифру между семью и семью с половиною миллиардами франков. Но с 1901 г. начали говорить о большой войне: Соединенные Штаты усилили свое производство, и английский вывоз поднялся за четыре года с 7.525 до 10.[illegible] миллионов. Это продолжалось два года. Но столь желанная война не наступала и произошла внезапная остановка: кризис, о котором мы говорили, разразился в Соединенных Штатах, и вывоз английских продуктов упал до 9.32[illegible] миллионов. Однако наступает 1910 год, и предвидение большой европейской войны готово осуществиться. И в 1911 г. английский вывоз поднимается до совершенно непредвиденной высоты, до какой он раньше никогда не мог приблизиться даже издали, и какую никто не мог об'яснить. Он доходит до 11.350 миллионов! Уголь, сталь, скороходные корабли, крейсеры, патроны, сукна, ткань, обувь — на все есть спрос, все вывозится в изобилии. Состояния составляются в одно мгновение. Убивать друг друга, — какое счастье для спекулянтов!

И теперь достаточно будет, чтобы крупные колониальные спекуляторы Англии и Германии пришли к соглашению относительно их долей в разделе восточной Африки, и чтобы они сговорились относительно „сфер влияния“ в Азии, т. е. относительно ближайших завоеваний, чтобы в Европе произошла такая же внезапная остановка промышленности, какая случилась в Соединенных Штатах.

В сущности, эта остановка началась чувствоваться уже в начале 1912 года. Вот почему в Англии угольные компании и лорды хлопка держали себя так независимо с рабочими и толкали их к забастовке. Они предвидели уменьшение спроса, они имели уже слишком много товаров на складах, слишком много угля, наваленного около копей.

Когда вдумываешься внимательно в эти факты о деятельности современных государств, то понимаешь, до какой степени вся жизнь наших цивилизованных обществ зависит — не столько от *фактов* экономического развития народов, *сколько от того способа, которым реагируют на эти факты различные привилегированные слои, более или менее покровительствуемые государствами.*

Действительно, очевидно, что вступление на экономическую арену такого могущественного производителя, как современная Германия, с ее школами, и с техническим образованием, так сильно распространеным в народе, с ее молодым порывом и с организационными способностями ее народа, должно было изменить отношение между нациями. Новое приспособление сил должно было произойти. Но в силу сословной организации в современных государствах, согласование экономических сил задерживается другим явлением, политического происхождения: привилегиями, монополиями, созданными и поддерживаемыми государством.

В сущности, в современных государствах, созданных специально ради установления привилегий в пользу богатых и за счет бедных, — всегда высшие финансовые круги решают дела в силу своих политических соображений.— „Что скажет барон Ротшильд?“ или, скорее, „что скажет синдикат крупных банкиров Парижа, Вены, Лондона?“ сделалось преобладающею силою в политических вопросах и в отношениях между народами. Одобрение финансистов составляет министерства и проваливает их повсюду в Европе. (В Англии, кроме того, приходится считаться с одобрением оффициальной Церкви и кабатчиков; но Церковь и кабатчики действуют всегда в согласии с высшими финансовыми кругами, которые весьма остерегаются затронуть их доходы). И так как всякий министр, в конце концов, есть человек, держащийся за свой пост, за свою власть и за возможности обогаще-

ния, которые она ему представляет, то из этого следует, что вопросы международных отношений сводятся ныне, в конце концов, к знанию того, как фавориты-монополисты одного государства отнесутся к фаворитам другого государства.

Таким образом, *состояние сил*, пускаемых в ход, определяется степенью технического развития различных народов в данный исторический момент. Но *употребление*, которое будет сделано из этих сил, зависит всецело от степени подчиненности народа правительству и от формы государственной организации, до какой население позволило себя довести. Силы, которые могли бы дать гармонию, благосостояние и новый расцвет свободной цивилизации, если бы они развивались свободно в обществе—раз *попав в рамки государства*, то есть организации, специально развившейся ради обогащения богатых и захвата всякого прогресса в пользу привилегированных классов — эти самые силы делаются орудием угнетения, привилегии и беспрестанных войн. Они ускоряют обогащение привилегированных, они увеличивают нищету и порабощение бедных.

Вот почему экономисты, которые продолжают рассматривать экономические силы *без анализа государственных рамок, в которых они действуют в настоящее время*, и не принимая во внимание ни государственнической идеологии, ни тех сил, которые каждое государство неизбежно предоставляет к услугам богатых, чтобы их еще более обогатить в ущерб бедным, — вот почему эти экономисты остаются всецело за пределами действительности экономического строя.

X.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ГОСУДАРСТВА.

Мы рассмотрели в общих чертах, не останавливаясь на подробностях, некоторые существенные функции государства: его законодательство относительно собственности, налог, образование монополий и, наконец, защиту территории,— иначе говоря, право войны.

И мы отметили тот, в высшей степени многозначительный факт, что в каждой из этих отраслей государство всегда преследовало и еще преследует одну и ту же цель, — а именно, отдать массу управляемого им народа во власть нескольких групп эксплоататоров, обеспечить им право эксплоатации и

продлить его. Для этой цели, в сущности, и было создано само государство; и это составляет до наших дней его главную задачу.

Законодательство государств относительно права собственности никогда и нигде не имело своею целью обеспечить каждому пользование плодами своего труда, как это говорится в университетской науке права. Наоборот, закон государства всегда имел и еще имеет целью *лишить* широкие массы народа большей части плодов его труда, в пользу некоторых привилегированных. Держать массы в состоянии близком к нищете, и отдавать их: в древние времена господину и жрецу, в средние века — господину, священнику и купцу, и, наконец, теперь — промышленному предпринимателю и финансисту, еще в большей степени, чем всем тем прежним, — такова была главная задача всех государств теократических, олигархических или демократических: т. е., церковных, привилегированного класса, или яко-бы народных.

Налог, как мы это видели, представляет огромной силы орудие, которое государство употребляет для той же цели. Он позволяет правителям производить экспроприацию бедных в пользу богатых, — экспроприацию усовершенствованную, которая не бьет в глаза, хотя прекрасно достигает своей цели. Налог позволяет им поддерживать искусственно бедность, несмотря на колоссальный рост производительности человеческого труда, не прибегая для этого к грубым формам открытого присвоения, которые практиковались в прежние времена. То, что делал феодальный барон, выжимая последние соки из своих рабов под защитой государства, то теперь делает государство в „корректной“ форме, посредством налога и всегда в пользу какого-нибудь богача, и деля часть добычи между богачом и своими многочисленными чиновниками.

Мы видели затем, как государство употребляло и еще употребляет монополию, промышленную, торговую и финансовую; и как оно позволяет группам предпринимателей и финансовых дельцов быстро накоплять громадные богатства, присваивая себе продукты труда подданных государства. И мы показали, как происходит то, что все новые источники обогащения, открывающиеся цивилизованным народам или вследствие прогресса науки и техники или вследствие завоевания отсталых в промышленности стран — все захватываются небольшим меньшинством привилегированных. Это позволяет государству, с своей стороны, набивать свою казну деньгами и расширять постоянно свои отправления и свою власть.

Наконец мы видели, какое ужасное орудие для поддержания социального неравенства, монополий и привилегий всякого рода представляет из себя другая обязанность государства: содержание армий и право войны. Под предлогом патриотизма и защиты отечества государство заставляло служить себе армии и

войны: все для той же цели. Во все времена, начиная с древности и до наших дней, завоевания производились всегда только для того, чтобы отдавать новые народы на эксплоатацию классов, покровительствуемых государством. То же самое происходит теперь, — все войны делаются в пользу банкиров, спекуляторов и привилегированных. И во время мира баснословные суммы, ассигнуемые на вооружение, и государственные займы позволяют правительствам создавать колоссальные богатства и новых эксплоататоров, избранных среди своих любимцев и фаворитов.

В этом нестареющем, неуклонном стремлении к обогащению некоторых групп граждан за счет труда всего народа и его жертв заключается самая суть той политической централизованной организации, которая называется *государством*, и которая развилась в Европе среди народов, разрушивших римскую империю, только после периода вольных городов, то-есть в шестнадцатом и семнадцатом столетиях.

Заметим, что речь идет вовсе не о так-называемых „злоупотреблениях властью", — каковы жестокости, совершаемые всеми правительствами над своими подданными или над завоеванными народами, когда дело касается защиты интересов привилегированного класса. Мы не говорим также о грабеже чиновников, о незаконных вымогательствах, которые совершают все правительства: об оскорблениях и страданиях, которыми они награждают управляемых, ни о национальной вражде, которую они проповедуют и поддерживают. В этом отношении достаточно вспомнить, что „власть" и „злоупотребление властью" идут невольно рука об руку, и что между чиновниками неизбежно устанавливается род круговой поруки, которая состоит в том, что они поддерживают друг друга и смотрят сквозь пальцы на то, что они любят называть „печальною необходимостью пользования властью".

На этих „печальных необходимостях" мы не останавливаемся, и ограничиваемся тем, что рассматриваем самую суть организации, которая несколько раз формировалась в человеческих обществах, и каждый раз, когда она вновь организовывалась, она всегда носила один и тот же характер взаимной поддержки между церковью, солдатом и господином, за счет труда народных масс. Новейшее время явило нам в этом отношении только одну новую черту: — к прежней святой троице присоединились богатые буржуа коммерсанты, промышленники, капиталисты, дающие денег взаймы, и целая туча чиновников.

Так, в интересах привилегированных — но не народа — государство отняло землю у крестьян, чтобы отдать ее группам захватчиков, и выгнало из сел не мало землеробов. А когда

масса безработных пролетариев начала скопляться в городах, законодательство государства отдало этих голодных людей во власть любимчикам государства буржуазным промышленникам, финансовым дельцам и крупным капиталистам. Вся эта растущая масса бедноты была закабалена любимцам правительства.

Позднее-же, когда привилегированные классы, выработавшие с большим искусством и умом эту политическую форму — государство, — начали замечать, что эксплоатируемые массы стараются стряхнуть с себя ярмо, они сумели найти новое средство для расширения базы своей эксплоатации.

Завоевание было всегда и во все времена средством обогащения не для завоевывающих *народов* (им предоставляли „славу“), а для правящих классов этих народов: — стоит только вспомнить о богатствах, оставленных Наполеоном I своим генералам и „военной знати“! Также, когда открытия техники и прогресс судоходства позволили государствам содержать большие постоянные армии и могущественный военный флот, правящие классы сумели использовать этот флот и армии для завоевания „колоний“. И буржуазии голландская, английская, французская, бельгийская, германская и даже русская принялись поочереди завоевывать отсталые в промышленности нации, что приводит их теперь к разделу между ними Африки и Азии и к войнам из-за лакомых кусков.

Эти государства, то есть эти буржуазии — так как рабочие не получают ничего кроме нескольких крошек, упавших со стола богатых — становятся таким образом одновременно хозяевами и эксплоататорами широких масс населения, гораздо больших, чем их „дорогие сограждане“. Что же касается рабочих, то они с своей стороны позволяют обманывать себя обещаниями легкой наживы, которые им делают их хозяева. Они требуют, между прочим, покровительственных таможенных пошлин для защиты от иностранной конкуренции и, должным образом подготовленные преступною печатью, оплачиваемою капиталистами, они готовы броситься на своих соседей, чтобы оспаривать у них добычу, вместо того, чтобы восстать против своих сограждан-эксплоататоров, и их всемогущего орудия — государства.

XI.

МОЖЕТ-ЛИ ГОСУДАРСТВО СЛУЖИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЮ РАБОЧИХ?

Вот, что нам говорит древняя и новая история. И не смотря на то, в силу ошибки мышления, поистине трагической, в то время как государство представляет самое ужасное орудие для обнищания крестьянина и рабочего и для обогащения их трудом господина, священника, буржуа, финансиста и всей привилегированной своры правителей, именно к этому буржуазному государству, эксплоататору бедных и защитнику эксплоататоров, обращаются демократы и радикалы и социалисты, требуя защиты их от монополистов-эксплоататоров! И когда мы говорим, что нужно стремиться к уничтожению государства, нам отвечают: „уничтожим сначала классы, и когда это будет сделано, тогда мы сможем отправить государство в музей древностей вместе с каменным топором и прялкой"!

Таким несерьезным возражением обходили в пятидесятых годах прошлого столетия обсуждение, которое Прудон старался вызвать, говоря о необходимости уничтожить самое учреждение государства и указывая способы достичь этого. То же самое повторяют и теперь, в наше время:- „Давайте, завладеем властью в государстве", говорят рабочим, причем под этим подразумевается современное буржуазное государство, -„и тогда мы сделаем социальную революцию!" — таков теперешний лозунг.

Мысль Прудона была, чтобы рабочие сами поставили себе следующий вопрос: „Как могло-бы организоваться общество, не прибегая к помощи учреждения , развившегося в самые темные периоды истории человечества, чтобы удерживать народные массы в экономической и умственной нищете и эксплоатировать их труд, т. е. государства"? И ему отвечали на это парадоксом, софизмом.

В самом деле, разве можно говорить об уничтожении классов, не касаясь учреждения, которое было орудием для их основания и которое остается орудием для их увековечения? Но вместо того, чтобы глубже разобрать этот вопрос, поставленный перед нами всем современным развитием, — что делают люди?

Первый вопрос, который должен был бы поставить себе социал-демократ реформатор, — следующий: „*Может ли* государство, которое выработалось в истории цивилизаций, чтобы придать законный характер эксплоатации масс привилегированными классами, быть орудием их освобождения?"

С другой стороны,—не нарождаются ли уже в развитии современных обществ другие группировки, кроме государства, которые могут внести в общество стройность, гармонию отдельных усилий и сделаться орудием освобождения народа, не прибегая к подчинению всех пирамидообразной власти государства? Коммуна, например, т. е. община, об'единения по ремеслам и профессиям, рядом с союзами по кварталам и улицам, которые предшествовали государству в вольных городах; тысячи обществ, возникающих теперь для удовлетворения тысячей общественных потребностей; федеративное начало, которое мы видим в приложении в современных об'единениях — разве эти формы организации общества не представляют собой поле деятельности, обещающее гораздо более для наших освободительных целей, чем усилия, потраченные на то, чтобы сделать государство и его централизацию еще более могущественными, чем теперь?

Не правда ли, что это — вопрос первостепенной важности, который социальному реформатору следовало поставить себе раньше, чем выбрать свою линию поведения?

А между тем, вместо того, чтобы углубить этот вопрос, демократы-радикалы, так же, как и социалисты, не знают и не желают знать ничего другого, кроме государства! И не государство будущего, не „народное государство" их прежних мечтаний, а современное государство, со всеми его прелестями, одно слово — государство! Оно должно овладеть, говорят они, всею жизнью общества: деятельностью экономическою, воспитательною, умственною и организаторскою: промышленностью, обменом, образованием, судом, администрацией, управлением, — *всем*, что наполняет общественную жизнь!

Рабочим, которые добиваются своего освобождения, говорят: „дайте только нам добраться до власти в современной форме управления, выработанной господами, буржуями, капиталистами для вашей эксплоатации!" Это говорится в то время, когда из всех уроков истории мы очень хорошо знаем, что новая форма *экономической* жизни никогда не могла развиться без того, чтобы новая *политическая* форма, развившаяся в то же время, не была *выработана теми, кто стремится к освобождению*.

Крепостное право — и абсолютная королевская власть: корпоративная организация — и вольные города, республики от XII до XV века; господство торгового класса — и те же республики под властью Правителя и солдат, империализм — и военные государства XVII и XVIII веков; царство буржуазии — и представительное правление; все эти формы идут рука об руку: не есть-ли это поразительное доказательство?

Для того, чтобы быть в состоянии развиться до теперешней своей силы и удержаться у власти, несмотря на все успехи науки

и демократических веяний, буржуазия выработала с большой ловкостью, втечение девятнадцатого века, представительное правление.

И лозунги современного пролетариата так робки, так мелки что они даже не пытаются разрешить задачу, поставленную революцией 1848 года, а именно: какую новую политическую форму современный пролетариат должен и может развить, чтобы добиться своего освобождения? Как постарается он организовать две важнейшие потребности всякого общества: общественное производство необходимого для жизни и общественное потребление произведенных продуктов? Как он обеспечит каждому, не только на словах, но и на деле — весь продукт его труда, обеспечив ему *благосостояние* в обмен на его труд? Какую форму примет „организация труда", которая не может быть совершена государством, но должна быть выполнена самими рабочими?

Вот что французские пролетарии, наученные опытом прошлого с 1793 по 1848 год, требовали от своих умственных вождей.

Но какой дали им ответ? Им умели только повторить эти старые, ничего не говорящие слова, избегающие определенного ответа: „Завладейте властью в буржуазном государстве, употребите ее на то, чтобы расширить права современного государства, — и задача вашего освобождения будет разрешена"!

Еще раз пролетариат получил камень вместо хлеба! и на этот раз со стороны тех, кому он отдал свое доверие... и свою кровь!

Требовать от учреждения, которое представляет исторически выросший организм, чтобы оно служило *разрушению* тех привилегий, которые оно старалось *развить*, — это значит признать себя неспособным понять, что такое в жизни обществ исторически выросшее явление. Это значит, — не знать того общего правила всей органической природы, что новые отправления требуют новых органов, и что эти отправления сами должны выработать эти органы. Это значит, признать себя слишком ленивым и слишком трусливым духом, чтобы мыслить в новом направлении, которое требуется новым развитием.

Вся история наглядно доказывает ту истину, что каждый раз, когда новые общественные слои начинали проявлять деятельность и понимание, отвечавшие их собственным потребностям, каждый раз, когда они стремились развить творческую силу в области экономического производства, преследуя свои интересы, вместе с интересами общества, *они находили новые формы политической организации*; и эти новые политические формы да-

вали возможность новым общественным слоям отметить своими особенностями эпоху, которую они открывали. Разве социальная революция может быть исключением из этого правила? Разве она может обойтись без этой творческой деятельности?

Так, восстание коммун в 12-м веке (в Италии, в одиннадцатом веке) и уничтожение крепостного рабства в этих коммунах, которые освободились от епископов, феодальных баронов и короля, отмечает собой выступление в истории нового класса. И этот класс — мы видели это в предыдущем очерке, — работая над своим освобождением, создает скоро новую цивилизацию и в то же время учреждения, которые позволили развить ее.

Ремесленник занимает место крепостного. Он становится свободным человеком, и под защитой стен своей коммуны он дает оживляющий толчок техническим искусствам и науке, которая, начиная с Галилея, открывает новую эру для освобожденного человеческого духа. С помощью мыслителей и художников, которые широко пользуются зародившеюся свободой, чтобы развивать свои способности по новым путям умственной свободы, человек вновь открывает точные науки и философию Древней Греции, забытые и потерянные во тьме Римской Империи и варварской эпохи, завершившей дело разложения империи. Он создает грандиозную архитектуру, которую мы еще не превзошли до сих пор; он открывает способы и приобретает необходимую смелость для развития дальних морских плаваний. Он открывает эпоху Возрождения, с ее гуманитарными, высокочеловеческими стремлениями.

Так подумайте. — Разве наши предки могли бы совершить все эти чудеса, если бы они робко цеплялись за учреждения, существовавшие в Европе вплоть по двенадцатый век? Остатки самодержавия Римской Империи, смешанные с умирающими учреждениями прошлого рабства, задушили бы живящий федеративный дух, уважающий индивидуальность, который принесли с собой так называемые „варвары" — скандинавы, галлы, саксонцы и славяне. И неужели человек, стремившийся освободиться, должен был цепляться за эту гниль, как это делают теперь глашатаи народных масс?

Конечно, нет! — А потому граждане освободившихся городов стремились немедленно, с первого же дня, создать своими „соприсягательствами", то-есть взаимной присягой, новые учреждения внутри стен своих укрепленных городов. Они организовали различные элементы городского населения по приходам, признанным тогда независимыми, — *суверенными* „державными" единицами; по улицам, „кварталам" или „концам" (то есть, по федерациям улиц), а с другой стороны — по гильдиям, или, говоря теперешним языком, по профессиональным союзам также

совершенно независимым, по „искусствам“, как тогда говорили организованным и *суверенным* (имеющим по этому каждое свой „суд“, свое знамя и свою милицию); и, наконец, посредством *форума*, веча, народного собрания, представлявшего федерацию, союз приходов, улиц, ремесл и гильдий. Целый ряд учреждений, совершенно противных духу Римской Империи и теократической Империи Востока, был развит таким образом на протяжении трех или четырех последующих веков.

Этими учреждениями и создалась сила независимых городов и их громадное значение в умственном развитии человечества.

Кто же может — если только он не предпочитает ничего не знать о жизни свободных общин того времени (как это делают наши государственники, достойные ученики и воспитанники одуряющих государственных школ), — кто же может сомневаться хоть на минуту, что *именно эти новые учреждения*, вышедшие из федеративного начала и уважавшие личность, дали возможность средневековым общинам развить среди мрака эпохи богатую цивилизацию, новые искусства и новую науку, которые проявились в Европе в пятнадцатом веке?

XII

СОВРЕМЕННОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО.

То же самое можно сказать о промышленной и торговой буржуазии. Вследствие причин, которые мы указали в очерке об исторической роли государства (вторжение монголов, турок и мавров и причины внутреннего разложения в коммунах), военное королевское государство успело утвердиться в Европе втечение 16-го, 17-го и 18-го веков на развалинах вольных общин. Но после двух с лишним столетий государственного строя, промышленная и интеллектуальная буржуазия сначала в Англии около 1648 года и сто сорок лет спустя во Франции — сделали новый шаг вперед. Они поняли, что невозможно будет достигнуть промышленного, торгового и умственного развития мирового развития, которое они уже предвидели, — если народные массы останутся под управлением бюрократии, выросшей вокруг дворца, где какой-нибудь Людовик XIV мог говорить: „Государство — это я!“, и если еще продержится власть Церкви, становившейся поперек всякого умственного развития.

Выдающиеся люди поняли, что промышленность, торговля, воспитание, наука, техника, искусства, общественная мораль не смогут достигнуть развития, на которое они способны, и что никогда народные массы не выйдут из ужасной нищеты, в которой они погрязли, пока судьба народов останется в руках придворных холопов камарильи и духовенства, пока государство, — властитель прошедших и будущих привилегий — управляется Церковью и двором, с их фаворитами и фаворитками.

Что-же сделали английская и французская буржуазия, когда почувствовали свою силу? Ограничились ли они простой переменой династии и правительства? Удовольствовались ли они заменой короля в государстве, которое было создано королями? — Очевидно, нет!

Их деятели предпочли вовлечь народные массы в глубокие экономические революции, чем держать эти массы в гнилом болоте самодержавной королевской власти! И благодаря этим революциям, были изменены сверху донизу политические учреждения, развившиеся при королевском самодержавии.

Революционеры сначала думали, что достаточно будет уничтожить власть короля и окружавших его, и передать власть из рук людей королевского дворца и церкви в руки представителей того, что они называли Третьим сословием. Но они скоро увидели, что этого недостаточно,—что необходимо уничтожить весь старый строй, переменить сверху донизу строение общества. И когда они увидели, что перед ними вновь встают огромные силы королевского самодержавия, которое вовсе не желало признать себя побежденным, то они не поколебались разнуздать страсть и бешенство народа против господ и священников, и отнять у них их имения, — главный источник их могущества.

— „Однако“, наверное скажут нам, „они не пытались уничтожить государство. Они воспротивились со всей силой, когда поняли, что народ желает идти дальше и разрушить государство, чтобы установить на его место федерацию коммун, секций и совершенно новую экономическую организацию!“

Совершенно верно. Но английская и французская буржуазии вовсе не желали разрушать учреждения, которые должны были дать *им* возможность использовать привилегии в *свою* пользу. Они желали только занять место дворянства и духовенства и воспользоваться их привилегиями. А потому буржуазия, конечно, не могла стремиться к разрушению государства. Учреждение, которое служило для обогащения церкви и дворянства, должно было остаться: только теперь оно должно было помочь буржуазии разбогатеть в свою очередь, открывая — правда — новые пути обогащения, благодаря развитию промышленности и наук, распространяя знание и вводя освобожденный труд, — но всегда

пользуясь народным трудом для обогащения прежде всего самих себя, подобно тому, как дворяне и церковь обогащались до тех пор.

Сделавшись наследницей установленных привилегий, буржуазия очевидно не стремилась к уничтожению государства. Наоборот, она работала, чтобы увеличить его могущество и расширить его деятельность, зная, что в конце концов именно она и ее дети будут главным образом поставлять чиновников и пользоваться отныне их привилегиями.

И только сам народ, или скорее часть его—те, кого Демулэн называл „дальше Марата“ — желали освобождения, не стремясь подчинить своему управлению и своей эксплоатации какой-либо слой или класс общества. Они действительно начали было закладывать основы новой политической организации, которая должна была заменить собой государство. Это была *Коммуна* — независимый город, независимая община. И так как эта децентрализация была недостаточна в больших городах, то она пошла дальше и дошла до *Секций*, т. е. до независимых союзов в различных частях города.

Мы видим, действительно, как во время революции 1789 года совершалось поразительное явление. Так как Национальное Собрание неизбежно было составлено из представителей прошлого, противившихся тому, чтобы Революция расширялась и росла в глубину, и особенно тому, чтобы народные массы могли действительно завоевать себе свободу, — то Коммуны стали двигать дальше революцию. В 1789 году, как правильно указали Мишлэ и Олар, совершилась муниципальная революция. И так как революция не делается декретами; так как именно на местах должно было опрокинуть и распределение власти, то на долю тысячей сельских и городских „муниципалитетов“ пала обязанность совершить на местах уничтожение феодальных прав. Прежде чем Национальное Собрание решилось заявить это в *принципе* 4 августа 1789 года, и задолго до того, как оно об‘явило это на деле четыре года спустя, после изгнания жирондистов из Конвента, муниципалитеты в некоторых частях Франции уже действовали в этом смысле.

Но муниципалитеты и в особенности передовые секции больших городов не ограничивались этим. Когда Национальное Собрание решило об‘явить конфискацию земель духовенства и их продажу, государство не имело никакого механизма для приведения этого решения в исполнение. И тогда именно Коммуны, а в больших городах Секции предложили себя, чтобы провести в жизнь этот громадный революционный переход земельной собственности. Только они и могли серьезно заняться этим переходом, — *и они его выполнили на деле.*

Но творческий дух народа *вне государства* проявился еще лучше, когда началась война в 1792 году. Когда вооруженная борьба сделалась вопросом жизни или смерти для революции, когда во Францию вторглись иностранцы, призванные королевскою властью, и когда нужно было *сделать невозможное*: изгнать этих иностранцев из французской территории, не имея для этого ни армии, ни республиканских офицеров, — то именно Секции и Коммуны взялись за выполнение этого огромного дела, для которого государство не имело даже необходимого механизма. Нужно было набрать добровольцев, то есть *выбрать людей*, решить кому из тех, кто являлись, нужно было дать сапоги, хлеб, ружье, пуль и пороха, потому что в этот решительный момент *все отсутствовало*: ничего не хватало у республиканца: хлеба, пуль, ружей, сапог, платья.

Действительно, кто сумеет отобрать подходящих людей, среди тех, кто приходит в качестве добровольцев? кто может быть убежден, что доброволец, получив „железо, свинец и хлеб“, не бросит ружья на первом же этапе и не пойдет присоединиться к роялистским бандам? Кто займется тем, что найдет сукно и кожи? Кто будет [illegible] добывать селитру? Кто скажет, наконец, добровольцу, когда он будет около границы, всю правду о движении революции в его родном городе и об интригах контрреволюционеров? кто передаст ему священный огонь, без которого нельзя сделать [illegible] и добиться победы? И вот Секции и Коммуны выполнили все это громадное дело. Историки государственники могут это игнорировать, но французский народ сохранил об этом воспоминание, и он учит нас правде!

Разве Бастилия и Тюильери были бы когда-нибудь взяты, без этого усилия народа, неизвестных героев народа? разве республиканцы изгнали бы врага и уничтожили бы королевскую власть и федерализм, если бы они не поняли (не выражая этого, может быть, в тех словах, которые выходят из под нашего пера), что *для новой фазы [illegible] жизни необходим организм, который служит тому, чтобы она могла вполне выявиться*? И разве они могли бы все это сделать, если бы они не нашли такой организм в Коммуне, в преданности и деятельности революционных Секций, которые были почти независимы от Коммуны и связывались между собой временными Комитетами, создаваемыми каждый раз, когда события показывали их необходимость?

XIII.

РАЗУМНО ЛИ УСИЛИВАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО?

Итак, для освобождения народа безусловно необходимо, чтобы народные массы, - которые производят все, но которых не допускают к распределению между потребителями того, что они производят, — нашли средства, которые дали бы им возможность развернуть свои творческие силы и выработать самим новые уравнительные формы потребления и производства.

Государство и национальное представительное правление не могут найти эти формы. И только сама *жизнь* потребителя и производителя, его ум и его организаторский дух могут найти эти формы и усовершенствовать их, для приложения к повседневным потребностям жизни.

То же самое относится и до форм организации политической. Чтобы освободиться от эксплоатации, которой они подвергаются под опекой государства, народные массы не могут оставаться под господством политических форм, мешающих проявлению и развитию народного почина. Эти формы были выработаны правительствами с целью увековечения рабства народа, — чтобы *мешать развитию его творческой силы* и выработки учреждений уравнительной взаимопомощи. А потому, должны быть найдены новые формы, чтобы служить противоположным целям.

Но если мы признаем, что для того, чтобы преобразовать формы потребления и производства, класс производителей должен преобразовать политические формы организации общества, то мы следовательно видим насколько ложно вооружать *современное буржуазное государство* тою огромною силою, которую ему дает управление громадными экономическими монополиями — промышленными и торговыми, — не говоря уже о политических монополиях, которыми обладает государство.

Не будем говорить о воображаемом государстве, в котором правительство, состоящее из ангелов, — сошедших, должно быть, с неба чтобы доказать правильность суждений господ государственников, — было бы врагом тех видов власти, которыми его теперь вооружают. Развивать такие утопии есть ничто иное, как вести революцию на скалы и подводные камни, о которые она неизбежно разобьется. Нужно брать *современное буржуазное государство, так как оно есть*, и спросить себя, разумно ли вооружать *это учреждение* властью и силой, все более и более огромной?

Разумно-ли давать учреждению, которое существует в данный момент для удержания рабочего в рабстве — ибо кто станет сомневаться, что такова ныне главная функция государства — разумно ли укреплять его, давая ему обладание над громадной сетью железных дорог? Разумно-ли оставлять за ним монополию на спиртные напитки, на табак, сахар и т. д., также кредит и банки, не говоря уже о суде, народном образовании, защите территории и эксплоатации колоний?

Надеяться, что механизм, созданный для угнетения, и вновь усиленный таким образом, станет орудием революции, — не значит-ли закрыть глаза на все, чему учит нас история о рутинном духе всякой бюрократии и о силе сопротивления учреждений? Не значит-ли это именно впадать в ошибку, в которой упрекают революционеров — воображать, что достаточно сослать короля, чтобы иметь республику, или назначить диктатора-социалиста, чтобы иметь коллективизм?

Кроме того, разве не видели мы, совсем недавно — в 1905 и 1906 годах в России — опасность, проистекающую от вооружения реакционного государства силой, которую ему дают железные дороги и разные монополии?

Тогда как правительство Людовика XVI, видя что ему угрожает банкротство, должно было сдаться перед буржуазией, желавшей конституции; тогда как маньчжурская династия, царившая столько столетий в Китае, должна была отречься от престола, не найдя возможности сделать миллионный заем, чтобы бороться с республиканцами, — династия Романовых, припертая к стене революцией, торжествовавшей в 1905 году, могла легко занять в 1906 году 1.200 миллионов во Франции. И когда члены русской Думы выпустили манифест, в котором говорилось иностранным финансистам: „не давайте денег взаймы, русское государство будет банкротом“, то эти финансисты, лучше осведомленные, ответили: „Но так как вы отдали вашему государству 60.000 верст железных дорог, выкупленных у компаний, которые их строили, и так как вы отдали ему громадную монополию на водку, то мы не боимся банкротства. Это не монархия Людовика XVI, которая не имела ничего!“

И они дали России тысячу двести миллионов.

Между тем, что делают радикалы и социалисты? Они работают над тем, чтобы увеличить капитал, которым обладают современные буржуазные государства. Они даже не дают себе труда обсудить — как меня однажды запросили английские кооператоры, — нет ли способа передать железные дороги *прямо и непосредственно* профессиональным железнодорожным союзам, чтобы избавить предприятие от капиталистического ярма, — вместо того,

чтобы создавать нового капиталиста, еще более опасного, чем буржуазные компании, — именно государство?

Но нет! Эти так-называемые интеллигенты-государственники ничему не научились в школе, кроме веры в государство-спасителя, в государство-всемогущее! и они никогда не желали даже послушать тех, кто кричал им: „берегитесь, сломаете себе шею“, когда они шли, загипнотизированные капиталистическим государственническим коллективизмом Видаля[1]), который они воскресили под именем „научного социализма!“

Результаты этого можно видеть, не только в критические моменты, как в России, но каждый день в Европе. Там, где железные дороги принадлежат государству, правительству достаточно, если ему грозит стачка, выпустить декрет в две строчки, чтобы „мобилизовать“ всех железнодорожных рабочих. Тогда стачка сразу становится мятежническим актом. Расстреливать забастовавших железнодорожников уже не будет уступкой по отношению к плутократии, а „долгом“ по отношению к государству. То же самое с угольными копями и крупными заводами, выделывающими военное снабжение, сталелитейными заводами и даже фабриками пищевых продуктов.

Таким образом в обществе слагается целое новое умственное движение, — не только среди буржуазии, но и среди рабочих. Эксплоатация труда, вместо того, чтобы быть ограниченной поступает под покровительство закона. Она становится *учреждением*, с теми же правами, как само государство. Она становится частью *конституции*, так же, как было крепостное право во Франции перед Великой Революцией, или разделение, которое мы видим в России на классы крестьян, мещан, купцов, с их обязанностями по отношению к двум другим классам: дворянству и духовенству.

„*Право быть эксплоатируемым!*“ — вот, куда мы идем с этой идеей о государстве-капиталисте.

XIV.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Мы видим из всего предыдущего, как ошибочно видеть в государстве что-либо другое, кроме лестничной организации чиновников, избранных, или назначенных для управления различ-

[1]) Французский социалист-фурьерист, сороковых годов, писавший во время революции 1848-го года и которого мысли были широко использованы позднейшими социалистами.

ными отраслями общественной жизни и для согласования их действий. Мы видели, как ошибочно думать, что достаточно переменить их персонал, чтобы заставить машину идти в каком-угодно направлении.

Если бы историческая—политическая и социальная—функция государства была бы ограничена только этим, то оно бы не уничтожило, как оно это сделало на самом деле, всю свободу местных учреждений; оно не централизировало-бы в своих министерствах все: суд, образование, религию, искусства, науки, армию и т. д.; оно не стало бы употреблять налог, как оно это сделало в интересах богатых, чтобы держать бедных постоянно ниже уровня „линии бедноты“, как выражаются молодые английские экономисты; оно не употребило бы, как оно это сделало, монополию, чтобы дать возможность богатым присвоить себе весь прирост богатств, являющийся в результате успехов техники и науки.

Дело в том, что государство — нечто, гораздо большее, чем организация администрации в целях водворения „гармонии“ в обществе, как это говорят в университетах. Это организация, выработанная и усовершенствованная медленным путем на протяжении трех столетий, чтобы поддерживать права, приобретенные известными классами, и пользоваться трудом рабочих масс; чтобы расширить эти права и создать новые, которые ведут к новому закрепощению обездоленных законодательством граждан, по отношению к группе лиц, осыпанных милостями правительственной иерархии. Такова истинная сущность государства. Все остальное лишь слова, которые государство само велит внушать народу, и которые повторяются по привычке, не разбирая их более внимательно, — слова столь же ложные, как и те, которым учит церковь, чтобы прикрыть свою жажду власти, богатства, и опять-таки власти!

Однако давно уже пора подвергнуть эти слова серьезной критике и спросить себя, откуда происходит пристрастие радикалов девятнадцатого столетия и их продолжателей-социалистов к всемогущему государству? Тогда увидели бы, что пристрастие вытекает, прежде всего, из ложного представления, которое делали себе вообще якобинцы Великой Революции: из легенды, которая родилась, или была сочинена вокруг Клуба Якобинцев, потому что именно этому клубу и его отделениям в провинции буржуазные историки Революции (кроме Мишлэ) приписывали всю славу великих принципов, провозглашенных Революцией, и страшной борьбы, которую она должна была выдержать против королевской власти и ее приверженцев — роялистов.

Давно пора, однако, сбыть эту легенду в архивы, среди других легенд церквей и государств. Люди теперь начинают уже понемногу узнавать правду о Революции и понимать, что

Клуб Якобинцев был клубом — не народа, а буржуазии, пришедшей к власти и богатству, — не Революции, а тех, кто сумел ею воспользоваться. Ни в один из великих моментов смуты этот клуб не был авангардом Революции. Наоборот, он всегда ограничивался тем, что вводил в берега угрожающие волны, заставлял их войти в рамки государства, и сводил их на нет, уничтожая гильотиною тех, кто шел дальше его буржуазных взглядов.

Будучи рассадником чиновников, которых он поставлял в большом количестве после каждого шага вперед, сделанного Революцией (10 августа, 31 мая), Клуб Якобинцев был *укрепленным лагерем буржуазии, пришедшей ко власти,— против уравнительных стремлений народа.* Именно за это, — за то, что он сумел помешать народу идти по пути уравнения и коммунизма, его и прославляет большинство историков.

Нужно сказать, что этот Клуб имел очень определенный идеал, — а именно всемогущее государство, не терпевшее в своей среде никакой местной власти, как например, независимых суверенных коммун, никакой профессиональной силы, как например, рабочих союзов, и ничьей воли, кроме воли Якобинцев Конвента, что привело неизбежно, фатально, к диктатуре полицейского Комитета Общественной Безопасности и, также неизбежно, к Консульской диктатуре и к Империи. Вот почему Якобинцы разбили силу Коммун, и в особенности Парижской Коммуны и ее Секций (преобразовав их сначала в простые полицейские участки, поставленные под надзор Комитета Безопасности). Вот почему они начали войну против церкви, стараясь, однако, поддержать духовенство и церковное служение; и вот почему они не допускали ни тени провинциальной независимости, и ни тени профессиональной независимости в организации ремесл, в народном образовании, и даже в научных исследованиях, в искусстве.

Фраза Людовика XIV: „Государство—это я!“ была игрушкой в сравнении со словами Якобинцев: „Государство — это мы“. Это было поглощение всей национальной жизни, пирамидою чиновников. И все это должно было служить для обогащения известного класса граждан и в то же время для удержания в бедности всех остальных, то есть всего народа, кроме этих привилегированных. Но такой бедности, которая не есть полное лишение всего, нищенство, как это было при старом режиме, потому что голодные нищие не становятся рабочими, в которых нуждается буржуазия; но бедности, которая заставляет человека продавать свою рабочую силу кому бы то ни было, кто желает эксплоатировать его— и продавать ее по цене, которая позволит человеку, лишь *в виде исключения* выйти из состояния пролетария, перебивающегося заработком.

Вот в чем состоял идеал Якобинцев. Прочтите всю литературу эпохи, кроме писаний тех, кого называли Бешеными, Анархистами, и кого поэтому гильотинировали или устраняли другим образом,—и вы увидите, что таков именно был идеал Якобинцев.

Но тогда напрашивается вопрос,—каким образом произошло, что социалисты второй половины девятнадцатого века признали своим идеалом *Якобинское Государство*, тогда как этот идеал был построен с буржуазной точки зрения, в прямую противоположность уравнительным и коммунистическим стремлениям народа, развившимся во время Революции?—Вот об'яснение, к которому меня привело мое изучение этого вопроса, и которое, если не ошибаюсь, верно.

Об'единяющим звеном между Клубом Якобинцев 1793 года и выработавшимися социалистами-государственниками был по моему мнению, заговор Бабефа. Не даром этот заговор, так сказать, канонизирован социалистами-государственниками.

Бабеф,—прямой и чистый потомок Якобинского Клуба 1793 года, выступил с мыслью, что внезапный удар революционной руки, подготовленный заговором, может дать Франции *коммунистическую диктатуру*. Но раз он, как истый Якобинец, решил, что коммунистическая революция может быть произведена декретами, то он пришел еще к двум другим заключениям: *демократия сначала* подготовит коммунизм,—думал он; и тогда один человек, диктатор, *лишь бы только он имел сильную волю и желание спасти мир*, может ввести коммунизм! [1])

В этом представлении, которое передавалось как священное предание тайными обществами втечение всего 19-го века, кроется то загадочное слово, которое позволяет социалистам, вплоть до наших дней, работать над созданием всемогущего государства. Вера (потому что в конце концов это ничто иное как член мессианской веры), вера в то, что явится наконец человек, который будет иметь „сильную волю и желание спасти мир“ коммунизмом, и который, достигнув „диктатуры пролетариата“, осуществит коммунизм своими декретами, – эта вера упорно жила втечение всего девятнадцатого века. Мы видим, в самом деле, веру французских рабочих в „цезаризм“ Наполеона III в 1848 году и двадцать пять лет спустя, видим, что вождь революционных немецких социалистов Лассаль, после своих разговоров с Бисмарком на тему об об'единенной Германии, пишет, что социализм будет введен в Германии *прусскою династиею*,—но, вероятно, не династией Гогенцоллернов.

---

[1]) См. мою работу: „Великая Французская Революция“, гл. LVIII.

Всегда все та-же вера в Мессию! Вера, создавшая популярность Луи Наполеону после побоищ в июне 1848 года, — это все та же вера во всемогущество диктатуры, *соединенная с боязнью великих народных восстаний*, — в чем заключается об'яснение того трагического противоречия, которое являет нам современное развитие государственнического социализма. [1])

Если представители этого учения требуют с одной стороны освобождения рабочего от буржуазной эксплоатации, и если, с другой стороны, они работают над укреплением государства, которое является истинным создателем и защитником буржуазии, то очевидно, что они всегда верят в то, что они найдут своего Наполеона, своего Бисмарка, своего Лорда Биконсфильда, который в один прекрасный день использует об'единенную силу государства на то, чтобы заставить его идти против своей миссии, против всего своего механизма, против всех своих традиций.

Тот, кто спокойно обдумает мысли об исторической роли государства и о современном государстве, набросанные в двух предыдущих очерках — тот поймет одно из главнейших положений анархии. Он поймет, почему анархисты отказываются поддерживать каким бы то ни было образом государство и становиться самим частью государственного механизма. Он увидит, почему, пользуясь явным стремлением нашего времени к основанию тысяч групп, стремящихся заменить собой государство во всех отправлениях, которыми оно завладело, анархисты скорее работают над тем, чтобы массы работников земли и фабрик старались *создать полные жизни организмы в этом направлении*, чем над укреплением государства, созданного буржуазиею.

Он поймет также, почему и как анархисты стремятся к разрушению государства, подрывая всюду, где они могут, идею централизации земельной и централизации всех проявлений общественной жизни, противопоставляя им независимость каждой местности и каждой группировки, образовавшейся для выполнения какой-нибудь общественной службы; и почему они ищут об'единения в действии: не в иерархической пирамиде, не в приказаниях центрального комитета тайной организации, а в свободной, федеративной группировке от простого к сложному.

И он поймет тогда, какие зародыши новой жизни заключаются в свободных об'единениях, относящихся с уважением к проявлениям человеческой личности, когда дух добровольного

---

[1]) Прочитывая теперь, в 1920-м году, русские корректуры этих очерков, я оставляю их совершенно в том-же виде, в каком они были написаны в конце 1912 года, хотя все время является желание проводить сравнения с тем, что произошло с тех пор, и происходит теперь. *П. К.*

рабства и мессианской веры уступят место духу независимости и добровольной круговой поруки, а также вольного разбора исторических и общественных фактов — духу, освобожденному наконец от государственнических и полурелигиозных предрассудков, которые нам вдолблены школой и государственнической буржуазной литературой.

Он увидит также, в тумане не очень отдаленного будущего, очертания того, чего человек сможет достигнуть тогда, когда, устав от своего рабства, он будет искать своего освобождения в свободном действии свободных людей, которые сплотятся, об'единятся в одной общей цели—в обеспечении, друг другу, своим коллективным трудом, известного необходимого благосостояния, чтобы дать возможность человеку работать над полным развитием своих способностей, своей индивидуальности, и достигнуть, таким образом, своей *индивидуации*, о которой нам столько говорили в последнее время.

И он поймет наконец, что индивидуация, то-есть насколько возможно полное развитие индивидуальности, вовсе не состоит в том (как этому учат представители буржуазии и их посредственности), чтобы урезывать у творческой деятельности человека его общественные наклонности и инстинкты взаимности, оставляя ему только узкий, нелепый индивидуализм буржуазии. Глупые люди могут советовать забвение общества и мечтать об изолированной личности. Но человек мыслящий поймет, наоборот, что именно *общественные наклонности и общественное творчество*, когда им дан свободный выход, дадут возможность человеку достигнуть своего полного развития и подняться до высот, куда, до сих пор, только одни великие гении умели возвыситься в некоторых, прекраснейших произведениях своего искусства.

V.

Приложение.

V.

Приложение.

I.

ОБ'ЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ.

(Несколько биографий авторов и некоторые технические термины, употребленные в настоящей книге).

Анабаптизм, религиозное движение времен реформации. Оно было направлено против власти католической церкви, но шло также гораздо дальше. Анабаптисты требовали полной свободы личности в религиозном и нравственном отношениях, а в области общественной они проповедывали равенство и отсутствие частной собственности. Они отвергали всякую форму принуждения, то-есть, присягу, суд господина, военную службу и повиновение правительству, что они считали противным принципам христианства. Историки вообще обращают внимание на это движение только с того момента, когда оно становится предметом преследований в Цвиккау, в 1520 году. Однако, оно берет свое начало уже от движения *Виклифа* и *Лоллардов* в Англии (в 14-м веке) и от движения *Гусситов* в Богемии (в конце 14-го века). Задолго до того, как Лютер прибил свои „Тезисы“ реформы на дверь церкви в Виттенберге, возмущение накоплялось в умах городских ремесленников и крестьян, которые уже сжигали комментарии к Библии; и это возмущение направлялось против церкви, государства и закона, которые были всегда милостивы к господину. Анабаптисты были левым крылом движения, между тем как лютеране представляли умеренную фракцию, покровительствуемую принцами, князьями и господами. Во время Великой Крестьянской Войны (в 1525 году) и в городе Мюнстере анабаптисты подняли открытое восстание с *Иоанном Лейденским* и *Томасом Мюнцером*. Эти два движения были задавлены массовыми избиениями, и считают, что десятки тысяч анабаптистов (до 100,000 по мнению некоторых историков) были перебиты или сожжены. Позднее, движение перекинулось в Англию, где приняло более мирные формы.

Оно продолжалось также в Австрии (Моравские Братья), в России—Меннонитами, и даже в Гренландии, принимая всегда более или менее коммунистические формы (см. германские работы Келлера, Газе и Корнелиуса и великолепную сводку, по-английски. Ричарда Heath'a: „Анабаптизм", 1895).

Антропология, наука, изучающая человека, физическое строение его тела в различных климатах, его расы, его физическое развитие и развитие его учреждений и его воззрений социальных. нравственных и религиозных. Учреждения и общественные, нравственные и религиозные понятия часто рассматриваются как часть *Этнологии*. Под *антропологической школой* подразумевают совокупность работ, произведенных во второй половине девятнадцатого века для изучения происхождения и развития понятий и общественных учреждений с точки зрения естественных наук.

Бабеф, Франсуа Ноэль (1764—1797), французский коммунист; принимал участие в Великой Революции; издавал газету: „Народный Трибун", в которой проповедывал социальную революцию. Основал вместе с Буонарроти, Сильвэном Марешалем, Дартэ и другими тайное общество, имевшее целью завладеть властью и образовать Директорию, которая ввела бы коммунизм в национальном масштабе. Заговор был раскрыт; и Бабеф, также как Дартэ, были расстреляны (см. „Заговор Равенства, называемый заговором Бабефа" соч. Буонарроти, 2 тома, Брюссель, 1828 г.).

Бакунин, Михаил (1814—1876), политический русский писатель, революционер и неутомимый агитатор. Принимал участие в революционных движениях своего времени в Германии, в Швейцарии, Франции, Италии, Австрии и в Польше, также в революции в Дрездене в 1849 году. Присужденный за это к смертной казни, он был выдан Саксонией Австрии, а этой последней Николаю I в 1852 году. После двух лет заключения в австрийской крепости, где он был закован в цепи и прикован к стене и шести лет в крепости в Петербурге, он был выпущен лишь в 1860 году после смерти Николая. Сосланный после того в Сибирь он бежал в 1861 году и добрался до Лондона, где присоединился к своему близкому другу Александру Герцену. Сделался членом Интернационала, где был втечение известного времени душою Юрской Федерации, которая состояла главным образом из социалистов романской Швейцарии, и которая в согласии с федерациями испанской, итальянской, восточной Бельгии и Центра представляла в противоположность Генеральному Совету Интернационала (руководимому Марксом) идеи федерализма, отрицательного отношения к государству и прямого действия в борьбе про-

тив капитала, что привело затем к разрыву этих федераций с Генеральным Советом, перенесенным марксистами в 1872 году в Нью-Йорк и там кончившим свое существование.

Латинские федерации, заключившие между собой федеральный договор, продолжали поддерживать жизнь Интернационала до 1878 года, после чего Интернационал, преследуемый с ожесточением правительствами, должен был исчезнуть, но латинские федерации дали начало, с одной стороны, современному анархическому движению, а с другой стороны, синдикалистскому движению. Главные работы Бакунина: „Бог и Государство“, „Государственность и Анархия“ и многочисленные памфлеты. Шесть томов его сочинений были изданы в Париже его другом Джемсом Гильомом [1]). Его подробная биография была написана Максом Неттлау в трех больших рукописных томах, разосланных по главнейшим библиотекам; автор составил короткое изложение [2]).

Беляев (1810—1873), русский историк; описал лучше всех других историков, в четырех томах, под заглавием „Очерки русской истории“, внутреннюю жизнь городов — Новгорода и Пскова, — русских средневековых республик. Написал незадолго до освобождения крепостных прекрасную „Историю крестьян в России“ и напечатал также большую работу о русских летописях.

Бентам, Иеремия (1748—1832), английский публицист, признанный Конвентом французским гражданином за свои труды по реформе законодательства. Основатель философской английской школы *утилитаризма*, признававшей, что благосостояние большинства должно быть целью общества, и что нравственность должна иметь целью доказать индивидууму, что общественный интерес совпадает с личным интересом.

Бернар, Клод, французский физиолог (1813—1878), замечателен не только своими открытиями в физиологии, но главным образом материалистическим духом, в котором написаны его труды, в которых он старается истолковать весь процесс жизни, физиологической и психической, процессами физическими и химическими. Его „Уроки экспериментальной физиологии“, 1855 г., и его работы о действиях ядовитых веществ, 1857 г., и в особенно-

—

1) Книгоиздательством Анарх.-синдикалистов „Голос Труда“ изданы в России, избранные сочинения Бакунина в пяти томах.

2) М. Неттлау, Жизнь и деятельность Михаила Бакунина, Москва, 1920. Книгоиздательство „Голос Труда“.

сти о физиологии нервной системы, 1858 г., составили эпоху в науке.

Бертело, Марселен (1827—1907), французский химик, открыл новые пути в химии своими замечательными синтезами органических тел, получив в лаборатории, комбинируя в различных пропорциях водород, кислород, азот, углерод и т. д., различные вещества, входящие в состав живых существ или производимые их органами (углеродистые соединения водорода, сахар, алкоголь, масла, эфиры, жиры и т. д.). Весь его труд был прекрасной иллюстрацией единства физических сил, которое представляет собой самое великое завоевание науки 19-го века и также другого замечательного завоевания той-же эпохи— трансформации теплоты в движение. Таким образом Бертело мог питать безграничные надежды относительно силы науки и возможности обеспечить счастье человечества и мог оставаться в своей философии и применении ее к жизни верным самым лучшим традициям энциклопедистов. Он опубликовал около 1,200 работ. Его главные труды: „Органическая химия, основанная на синтезе", 1860 г., „Лекции об общих методах синтеза", 1864 г., „Лекции по Изомерии", 1865 г., „Химический синтез", 1875 г.

Блан, Луи (1811—1882), французский социалист, публицист и. историк. В 1870 году напечатал свою работу: „Организация труда", которая сделала его главой социалистической школы. Так как нищета народных масс имела своей причиной индивидуализм современного общества и буржуазную конкурренцию, то он требовал организацию труда на основе солидарности и равных заработков, что дало бы каждому удовлетворение всех его потребностей и работу сообразно способностям. Назначенный членом временного правительства революцией 24 февраля 1848 года, он основал „Комиссию для Работников", которая заседала в Люксембургском дворце. Преследуемый за попытку восстания 16-го мая, он должен был покинуть Францию и остался с тех пор, вплоть до 1870-го года, в изгнании. Главные труды: „Организация Труда", 1870 г., „История Французской Революции" в 12 томах, 1847 – 1862 гг., „История десяти лет, 1830—1840".

Брегоны. У всех свободных племен, которые не были завоеваны римской империей и не имели никакого писанного закона втечение первых веков христианской эры, — у галлов, кельтов, саксов, скандинавских народов, славян, финнов и т. д.,—традиционные законы, то-есть решения, принятые раньше народными собраниями, сохранялись в памяти преимущественно некоторыми семьями или некоторыми братствами и специальными

гильдиями. Их обязанностью было рассказать, об'яснить традиционный закон перед народом во время празднеств, сопровождавших большие союзные собрания большинства этих племен. Чтобы лучше сохраняться в памяти, закон часто перелагался в ритмованные фразы или в *триады*. Этот обычай еще продолжает существовать у кочующих племен Азии. В Ирландии те, на коих лежала обязанность хранить таким образом закон, назывались *Брегоны*, и они соединяли эту функцию с обязанностью жрецов. Собрание ирландских законов, компилированное в пятом веке и известное под именем „Senchus Mor" (Великая Древность), является одним из самых замечательных документов среди подобных собраний. Некоторые современные историки представляют Брегонов и других сказателей таких законов как *законодателей*, но это не верно. Законодателями были народные собрания, которые создавали прецеденты законов своими решениями, тогда как ирландские *Брегоны*, скандинавские *Кнунги*, русские *Князья* были только те, кому было доверено блюсти текст закона в его старинных формах.

Буонарроти, Филиппо (1761—1837), итальянский юрист. Под влиянием Руссо вел революционную пропаганду и был изгнан из Тосканы, Корсики и Сардинии. Присоединился в 1796 году в Париже к государственнической коммунистической конспирации Бабёфа, которую он после описал в работе: „Заговор Бабефа", 1828 г,; в тридцатых и сороковых годах был один из главных организаторов тайных политических обществ коммунистов.

Бюрнуф, Эмиль (1821—1907), французский эллинист. Написал в 1872 году важную работу о науке религий, основанную на рационалистической базе.

Бюффон, Жорж-Луи (1767—1788), французский натуралист, основатель сравнительной анатомии, сделал первою попытку построить систему всей природы, в которой теологии не было места, и написал полный курс зоологии. Главная работа: „Естественная История", 1749—1788 гг., первые томы которой содержат общий обзор природы (была преследуема церковью).

Бюхнер, Людвиг (1824—1901), немецкий натуралист и философ-материалист, был главным образом известен своей популярной работой: „Сила и Материя", 1855 г., которая представляет этюд атомистической-материалистической философии, основанной на завоеваниях современной науки. Он сделался страстным защитником Дарвинизма, который он популяризовал в своих работах, и напечатал кроме того следующие труды: „Человек согласно науке",

„Любовь и любовные отношения животного мира“, 1881 г.,— опыт об общественной жизни и социальных инстинктах среди животных; им было написано еще множество этюдов популяризующих науку. Всеми своими трудами в сильнейшей степени содействовал пропаганде динамического представления о природе.

Бэкон, Франсис (1561—1626), великий английский философ; считается отцом *индуктивного метода*, потому что перед лицом схоластики и метафизики, господствовавших до сих пор, он показал, что открытия и изобретения будут прогрессировать только тогда, когда человеческий ум приучится понимать, что *наблюдение* и свободное методическое *опытное* исследование представляют единственное средство к открытию естественных законов, пониманию истинных причин явлений и умению предсказывать их. Схоластическая эрудиция, жонглирующая словами, должна быть оставлена, и истинное знание могло быть получено только путем *индукции*, то есть путем усердного изучения отдельных фактов, на которых можно было строить обобщения, основываясь на большом числе сравнений и исключений, и находя таким образом то, что есть общего у этих наблюдаемых фактов; с другой стороны эти *индукции* можно потом проверить всей *массой* новых фактов, полученным из наблюдения и опыта. Такова была основная мысль всех произведений Бэкона, давшая возможность считать его отцом естественных наук в том виде, как они развились втечение девятнадцатого века. Этому методу современная наука обязана всеми своими великими открытиями.

Бэн, Александр (1818—1903), один из главных английских представителей системы философии, ищущей свои основы не в отвлеченных метафизических рассуждениях, но в явлениях естественных наук; и изучающей силу человеческого ума и степень точности наших суждений, основываясь, главным образом, на физиологии и физической психологии. Главные работы: „Душа и тело“, „Чувство и ум“, „Логика дедуктивная и индуктивная“.

Гегель, Георг-Вильгельм (1770—1831), немецкий философ, метафизик, пользовавшийся громадным влиянием в Германии в первой трети девятнадцатого века. Для него идея есть всеобщий принцип, проявляющийся в различных формах бытия. Его система состояла из трех больших главных частей; первая содержала логику—науку „чистой идеи“; вторая, философия природы говорила об идее, выявившейся в явлениях природы; и в третьей части, философии духа, Гегель показал, как чистая идея, выявившись во вне в природе, возвращалась к самой себе, как дух, и до-

стигала таким образом совершенной реализации [illegible] и синтезис). Главные работы: „Феноменология духа" [illegible] гика", 1812 г.; „Философия права, истории, природы" [illegible].

Гельмгольц, Герман Людвиг (1821—1894), немецкий физиолог. Опубликовал в 1847 году свою замечательную работу „О сохранении силы", которая была одним из оснований материалистической научной философии девятнадцатого века, а в 1856-1866 годах: „Оптическую физиологию".

Геккель, Эрнст (1834—1919), немецкий зоолог и философ. Стал преданным сторонником Дарвина и напечатал три замечательных работы: „Общая Морфология", 1866 г., „История естественного творения", 1868 г., „Происхождение и Генеалогия человека". Позднее стал защитником „Монизма", как связующего начала между религией и наукой, и опубликовал на эту тему две работы, которые произвели много шуму, но не соответствовали тем заключениям, которые можно было ожидать от него.

Герцен, Александр (1812—1870), русский политический писатель. После преследований в России за свои мнения, отправился в Париж, где помог Прудону основать журнал „Le Peuple" (Народ). Был изгнан из Франции после 13 июля 1849 года. После поражения европейской революции 1848 года, написал произведение, полное высокой красоты—„С того берега",—содержавшее критику революции с точки зрения социализма. Поселившись затем в Лондоне, основал там первую свободную русскую типографию и журнал „Колокол", в котором участвовал его близкий друг Огарев, а также Тургенев, и который оказал громадное влияние в России в деле освобождения крестьян. Нападал с яростью на крепостное право и самодержавие. Его главные сочинения, переведенные на французский и немецкий языки: „С того берега", „Письма из Франции и Италии" и его автобиография: „Былое и Думы", которая кроме своего политического значения отличается необыкновенной красотой языка.

Гоббс, Томас (1588—1679), английский философ и политический писатель. Явный роялист, он при приближении революции 1648 года был принужден бежать во Францию. Его главные труды: „De Cive" (О гражданине), 1642 г., „Левиафан или о Власти духовной и гражданской", 1651 г., „О политическом теле", 1658-1659 г. Право, говорил он, есть сила: ничто само по себе ни справедливо, ни несправедливо. Он представлял первобытных людей, как существа, находящиеся в постоянной войне друг против друга, а главную причину происхождения государства он видел в страхе, который люди испытывали друг от друга, и в их общей

жалкой участи. Необходима сильная власть для обеспечения мира и улучшения условий существования людей. Поэтому он был решительным сторонником абсолютных неограниченных прав короля и в то же время врагом церкви, как политической силы. Он был первым среди крупных философов, который проповедывал материалистические понятия без всякой примеси религии.

Годвин, Вильям (1756—1836), английский политический писатель и историк. Его главное сочинение: „Исследование политической справедливости и ее влияния на общую добродетель и счастье". 2 тома, 1793 г. Под „политической" справедливостью Годвин подразумевал состояние, в котором жизнь общества находится под влиянием принципов нравственности и истины. Он показывает в своем произведении, что всякое правительство самым фактом своего существования, самой своей природой мешает развитию общественной нравственности, и он предвидит наступление дня, когда каждый человек, свободный от всякого принуждения и действуя в силу своего собственного желания, будет работать для блага общества, потому что будет руководиться разумными принципами. Едва избежав ссылки на каторгу с своими друзьями по обвинению в якобинском республиканстве, Годвин выпустил, во втором издании своего сочинения в 1798 году, страницы, содержавшие коммунистические идеи, которые были в первом издании.

Гольбах, Поль-Анри (1723—1789), французский философ, работал вместе с энциклопедистами над выработкой изложения науки на определенно материалистической основе. Он сделал это в своем фундаментальном труде: „Система Природы", 1770 г. В своих последующих работах он доказывал, что религия не только бесполезна, но и вредна для нравственности и счастья народа. См. также его: „Разоблаченное христианство", 1756 г., „Всеобщая Мораль", 1776 г., „Естественная Политика".

Грове, аглийский физик (1811—1896), напечатал в 1842 году замечательный этюд о „Соотношении физических сил", и в1856 году книгу на эту тему, чтобы доказать, что звук, теплота, свет, электричество и магнетизм не суть „субстанции" или отдельные сущности, как говорили до тех пор, а лишь различные формы вибрирующего движения молекул, которые могут переходить одна в другую. Движение механическое может быть преобразовано в звук, свет, теплоту, электричество и магнетизм; и наоборот свет, электричество могут быть преобразованы в теплоту, магнетизм, звук и механическое движение. Он осмелился также поставить научный вопрос, не есть-ли тяготение результат этих различных

видов вибрирования? Весь прогресс механики, совершенный втечение второй половины девятнадцатого века, был рядом приложений этого основного принципа физики,—именно трансформации различных физических сил.

Гэксли, Томас Генри (1825—1895) английский биолог, автор прекрасного сочинения по сравнительной анатомии животных. Сделался другом и страстным сторонником Дарвина и выдвинулся особенно своими смелыми теориями об эволюции и животном происхождении человека. („О месте человека в природе", 1863 г.).

Гэтчесон, Франсис (1694—1747), один из самых видных представителей философской школы, известной под именем „Шотландская философия". Он доказывал, что если мы можем разделить мотивы наших действий на мотивы эгоистические и альтруистические, то именно последние встречают наше одобрение, так же, как и вытекающие из них действия. Это потому, что мы имеем „нравственное чувство", вытекающее из самой нашей природы. Главная работа: „Исследование о происхождении наших идей о красоте и добродетели", 1725 г.

Дарвин, Чарльз (1809—1882), английский натуралист, совершивший настоящую революцию в идеях своей работой: „Происхождение видов путем естественного подбора в борьбе за существование", опубликованной в 1859 году; за ней следовали: „Происхождение человека и половой отбор", 1871 г.; „Изменения у животных и домашних растений, 1868 г. и т. д. Трансмутация или трансформация видов под влиянием среды и употребления или неупотребления органов в новых условиях существования была указана еще Бюффоном. Она была также провозглашена и защищалась Жаном Ламарком в 1809 году, а позднее это учение нашло себе сторонника в Исидоре Жоффруа-Сент-Илере. Дарвин об'яснил естественное происхождение видов естественным отбором, который совершается в борьбе за существование каждого вида против неблагоприятных условий климата и т. д., против других враждебных или конкуррирующих видов, и даже внутри самого вида. Все виды растений и животных, населяющих ныне землю, происходят от нескольких главнейших форм, в высшей степени простых, *путем эволюции*, вытекающей из естественного отбора. Труд Дарвина, опиравшийся на тридцатилетние исследования, разнообразные наблюдения и опыт, сразу приковал к себе внимание ученых и быстро завоевал признание образованных людей, несмотря на оппозицию и сопротивление академий, университетов и церквей. При этом

„борьба за существование“ была принята легче современным обществом, чем прямое действие среды и образование видов под влиянием среды, о чем говорил Ламарк. С другой стороны, Дарвин сам, по мере того, как он подвигался в своих исследованиях, поспешил признать важность Ламарковского фактора (в „Изменении у животных и растений“), и старался смягчить (в „Происхождении человека“) преувеличенное понятие, которое было придано его вульгаризаторами „борьбе за существование“.

Джоуль, Джемс (1818—1889), английский физик, первый нашел точное измерение механического эквивалента теплоты (см. „Механическую Теорию Теплоты“ Майера).

Дидро, Денис (1713—1784) французский философ. Подвергнувшись преследованиям за свои „Философские мысли“, 1746 г. и тюремному заключению за „Письма о слепых“, 1749 г., он создал проект *Энциклопедии*, громадного труда для того времени, который успел однако довести до благополучного конца в течении двадцати-одного года, 1751—1772 г.г., с помощью Д'Аламбера, Гольбаха, и др. несмотря на оппозицию и интриги духовенства и гражданских властей.

Индукция, индуктивно-дедуктивный метод, метод естественных наук, которому мы обязаны громадным прогрессом наук вообще в 19-м веке. Он состоит в следующем:

1. Посредством наблюдения и опыта стараются приобрести знание фактов, относящихся к изучаемому предмету.

2. Обсуждают эти факты и исследуют, ведут ли они (латинское слово *inducere*) к обобщению (то-есть общему утверждению, относящемуся к большому числу или широкому разряду фактов) или предположению, *гипотезе*, позволяющей об'единить или обобщить наблюдаемые факты. (Например, после наблюдения большого числа фактов, относящихся к движению планет, Кеплер сделал обобщение и гипотезу, предположив, что все планеты движутся вокруг солнца по линии эллипсов, в которых солнце занимает один из фокусов).

3. Из допущенной гипотезы (или гипотез) выводят (латинское слово *deducere*) следствие, позволяющее предсказывать, предвидеть новые факты. Если гипотеза правильна, то предсказанные факты должны быть верны.

4. Сравнивают эти выводы, эти следствия, с наблюдаемыми фактами, упомянутыми в параграфе 1. Если необходимо, делают новые наблюдения или новые опыты, чтобы констатировать, совпадает ли гипотеза с наблюдаемыми или полученными фактами

при опытах. И отбрасывают или изменяют свою гипотезу до тех пор, пока не найдут такую, которая совпадает с действительными известными нам фактами. (Так, из гипотезы Кеплера выводят положения, которые каждая из планет должна занимать в любой момент в своем движении вокруг солнца, и сравнивают вычисленные положения с существующими на самом деле. Так как они совпадают, то гипотеза подтверждается. Затем вычисляют *скорости* движения планет, вытекающие из гипотезы, чтобы также сравнить их с фактами). Что же касается небольших неточностей, которые приходится констатировать, для их об'яснения вновь исследуют причины тем же индуктивным методом.

5. Наконец, *гипотеза* считается *законом*, когда она подтверждается в массе случаев, и когда находят *причину*, то есть явление еще более общее, чем факт установленный индукцией. (Для планет, гипотеза Кеплера принята, как закон,—*постоянное отношение*, когда она подтвердилась в течение веков, и когда еще более общее явление всемирного тяготения дало ей первое об'яснение).

Этот метод есть метод всех точных наук.

Кабэ, Этьен (1788—1856), французский коммунист, развивавший свои идеи в своей газете „*Le Populaire*" и напечатавший в 1840 году без имени автора свою главную работу „*Путешествие в Икарию*", в которой он развил свой коммунистический государственнический идеал. Переиздана во многих изданиях, из которых издание 1842 года и последующие содержат разбор учений социалистов, предшественников Кабэ. В 1848 году он пробовал приложить свои идеи на практике в Техасе, после в штате Иллинойсе, но потерпел неудачу. Однако колония *Молодая Икария* существовала еще в девяностых годах 19-го столетия (см. об этом в работах Жюля Прюдомма).

Кант, Эммануил (1724—1804), немецкий философ, который имел и еще имеет большое влияние. В своих первых произведениях он занимался, главным образом, естественными науками; но его главная слава основывается на системе *критической* философии, которую он изложил в „Критике Чистого Разума". 1781 г. Он поставил себе задачу исследовать принципы и границы человеческого познания, и шел следующим путем. Есть, говорил он, два мира: 1) мир физических явлений, происходящих во времени и пространстве, которые мы познаем *только* при помощи наших чувств. Они (согласно его системе „критического трансцендентального идеализма") суть только *явления*, не имеющие реального существования „в себе"; 2) мир внутренних идей — „вещей в себе" — имеющих существова-

ние только во времени (не в пространстве). Иначе говоря, мы имеем материю, данную нашими чувствами, и форму данную нашим познанием, которое не может дать нам постижения абсолютной истины. Чтобы притти к познанию мира „вещей в себе", скрывающегося за явлениями, познаваемыми нашими чувствами, он изучает происхождение нравственных идей („Критика практического разума", 1788 г.). В этой работе он показывает, что наш разум обладает способностью ставить законы самому себе. Таков долг человека, обладающего нравственным чувством, повиноваться *категорическому императиву* (императиву, вытекающему из самой сущности нашего духа), который нам предписывает обращаться с другими людьми таким образом, чтобы наше поведение могло стать всеобщим законом. Из этой идеи врожденного нравственного чувства он выводил, при помощи своей метафизики, идеи свободы воли, бессмертия и Бога. — В своей философии права он показывал, что абсолютное уважение нравственной свободы должно быть основой всей жизни в обществе и государстве, и как цель будущего исторического развития, он указывал на утверждение этого идеала свободы.

Клаузиус, Рудольф (1822—1888), немецкий физик, известный своими трудами по оптике, упругости и особенно механической теорией теплоты, рассматриваемой, им, как состояние материи в движении; он открыл один из ее основных законов Главное произведение: „Трактат механической теории теплоты", 2 тома.

Конт, Огюст (1798—1857), основатель позитивизма. Его главные труды: „Курс позитивной философии, 1830 — 1842, 6 томов, монументальное сочинение, представляющее попытку построить синтетическую философию знаний с чисто научной точки зрения. Его вторая большая работа: „Система позитивной политики или Трактат социологии", 1851 — 1856 г., 4 тома, является приложением позитивной философии к человеческим отношениям в обществе; но, противно самой сущности позитивной философии, она имеет также целью создать религию, предметом культа которой будет „Человечество".

Слово „позитивный" имело вначале для Конта следующий смысл: он утверждал, что всякое человеческое знание начинается с понятий *теологических* (так человек видит в громе голос раздраженного божества); затем знание состоит из понятий *метафизических*, которые видят во всех физических фактах отвлеченную, воображаемую силу, стоящую вне естественных явлений („жизненная сила", „душа природы" и т. д.); и наконец, наука прихо-

дит к *положительному позитивному знанию*, которое не занимается ни „основными началами", ни „субстанциями", но ищет установления законов, сообразно которым известные факты неизменно сопровождаются известными следствиями, — иначе говоря установления *отношений* между явлениями и их *необходимыми следствиями*. Утверждения позитивной философии основываются единственно на опыте; нужно отказаться от познания того, что находится вне опыта. Позитивная философия есть синтез шести основных наук: математики, астрономии, физики, химии, биологии, социологии. Она отбрасывает все сверхестественные верования. Труды Конта оказали глубокое влияние на всю науку и философию второй половины 19-го века.—Главными продолжателями Конта были Литтре и Джон Стюарт Милль (см. эти два слова).

Консидеран, Виктор (1802—1893), французский социалистический писатель, ученик и продолжатель Фурье. Был редактором „*La Phalange*" в 1836 году и „*La Democratie Pacifique*" в 1845 году. Пытался основать фаланстеру в Техасе. Развил идеи Фурье в ряде очень ценных работ. Из них важнейшие: „Социальное назначение 1834 г., „Теория воспитания основанного на естественном влечении", 1835 г., „Основы позитивной политики: манифест общественной школы основанной Фурье", 1841 г., „Принципы социализма: Манифест мирной Демократии", появившийся сначала в 1843 году, преследуемый и вышедший вторым изданием в 1847 г.; последний послужил, как доказал В. Черкезов, основанием для „Коммунистического Манифеста" Энгельса и Маркса; „Социализм перед старым миром", 1848 г., обзор различных социалистических школ.

Костомаров, Николай (1817—1885), русский историк, основатель федералистской школы в истории России.

Ламарк, Жан-Баптист (1744—1829), французский натуралист. Положил основы новой классификации растений и животных, („Французская Флора", 1778 г., и „Естественная история беспозвоночных животных", 1815—1822 г.). В своей Зоологической философии", 1809 г., он формулировал идею трансформизма, то-есть, постоянного изменения растительных и животных видов и вытекающего отсюда их постепенного развития под влиянием среды и пользования или отказа от пользования тем или другим органом. Эта идея встретила сильную оппозицию со стороны официальной университетской науки, особенно со стороны Кювье, — так, что в академиях и университетах продолжали учить неизменяемости видов (за которую высказался также Конт) до момента, когда

общественное мнение, под влиянием работ Дарвина и общего пробуждения естественных наук в 1855—1862 г. заставило ученых и университеты переменить свое мнение.

Лаплас, Пьер (1749—1827), один из величайших астрономов и математиков всех времен. Его главные труды: „Изложение системы мира", 1796 г., в котором он дает механическое об'яснение происхождения системы планет, обращающихся вокруг солнца; „Небесная Механика" в 5 томах, 1798—1825 г., его лучшее произведение, в котором он дает материалистическое об'яснение системы мира посредством всемирного тяготения; „Аналитическая теория вероятностей", 1812 г. и множество отдельных статей и мемуаров. Все его большие труды—образец точной мысли и ясности.

Лавуазье, Антуан (1743—1794), великий французский химик первый открывший, что вода состоит из двух газов — водорода и кислорода. Много работал над выработкой теории явлений горения, теплоты и брожения, и создал в 1786 г. новую систему химической номенклатуры, которая в огромной степени содействовала развитию химии. Главное сочинение: „Элементарный трактат химии", 1789 г.

Литтре, Максимильен - Эмиль (1801 — 1884), французский позитивист, медик и публицист, который позже отдался глубокому изучению языков и литературы. Один из главных представителей философии Конта, популяризации идей которого он много способствовал журналом: „*La Revue Positive*" и рядом статей и работ по этому вопросу. Автор большого „Словаря французского языка", монументального труда, которому он посвятил 30 лет работы.

Ломоносов, Михаил (1711—1765), русский писатель, о котором с полным основанием было сказано, что он один, сам по себе представлял Университет; один из создателей русской науки и литературы. Писал оды в стихах, составил русскую грамматику (до него не существовавшую) и физическую географию полярных стран, где он уже об'яснил механическую теорию теплоты, а также множество научных статей.

Люис, Джордж-Генри (1817—1878), английский физиолог, горячий последователь Конта; один из основоположников психологии, базирующейся на физиологическом исследовании мозга и нервных центров. Главные труды: „Физиология обычной жизни", 1870 г., „Проблемы жизни и духа", 1877 г. Он написал также

„Биографическую (популярную) историю философии“ 1845 г., „Жизнь Гете“ и „Изложение принципов философии Конта“. 1853 г.

Ляйэлль, Чарльз (1797—1875), английский геолог. Его работа „Принципы геологии“, 1838 г., удивительно написанная, значительно увеличенная в последующих изданиях и переведенная на все языки, представляет эпоху в геологии. Он в ней показывает, что изменения земной поверхности,—которые в начале 19-го века приписывались (Кювье, Л. фон-Бух) внезапным переворотам, уничтожавшим растения и животных, живших на земле, после чего якобы совершалось новое „создание“ живых существ, -происходили благодаря совокупности влияний медленных физических изменений, совершающихся повсюду на земной поверхности на самых наших глазах. Когда Дарвин опубликовал в 1859 году свое сочинение: „Происхождение видов“, то его друг Ляйэлль поспешил присоединиться к нему и выпустил свою вторую замечательную работу: „Древность Человека“, 1863 г.,—в ней он принял факт *ледникового периода,* который ученые до тех пор упорно отвергали (приписывая глетчеры этого периода „потопу“, упоминаемому в библейских преданиях). Он подтвердил также идею высказанную во Франции несколькими пионерами (Бушэ-де-Перт), что человек существовал на земле в период, когда Европа имела еще ледниковый климат и была населена мамонтами, северными оленями, пещерными медведями и другими крупными животными, привыкшими к очень холодному климату. Эта работа, смелая для его времени и в особенности для Англии, оказала глубокое влияние на развитие современной науки и способствовала освобождению ее от препятствий, которые были навязаны ей церковью.

Маркс, Карл (1818—1883), немецкий экономист, глава школы современной социал-демократии. Бежав во Францию в сороковых годах, он издавал в Париже вместе с Руге обозрение (вышло два номера), где его статьи по социализму были замечены в радикальных и социалистических кругах. Изгнанный из Франции в 1844 году и из Бельгии в 1848 году, он сначала вернулся в Германию (1848—1850), где издавал „Rheinische Zeitung“. Это был главный период его деятельности. В скором времени реакция взяла верх повсюду, он должен был снова покинуть Германию, и соединившись с Энгельсом, поселился в Лондоне. Со времени основания Интернационала в сентябре 1864 года он был приглашен принять участие в редакции Статутов и был назначен членом временного Центрального Комитета. Он скоро сделался самым влиятельным членом Генерального Совета Ассоциации, заседавшего тогда в Лондоне. Его главные труды: „Ни-

щета Философии“, 1847 г. — ответ на „Философию Нищеты“ („Экономические Противоречия“) Прудона; „Коммунистический Манифест“, 1848 г. (относительно его происхождения см. Черкезова: „Доктрины марксизма“, и профессора Андлера: „Историческое введение и комментарии“, Париж, 1901 г.); „Критика Политической Экономии“, 1857 г., и главным образом „Капитал“, первый том которого появился в 1867 году, за ним последовали два других тома, из которых второй был уже посмертный. Первый том „Капитала“, содержавший хорошо известный анализ происхождения капитала, стал основанием идей социал-демократии.

Маурер, Георг (1790—1872), основатель в Германии школы, которая старательно изучала сельскую и городскую коммуну и дала много серьезных трудов на эту тему. Главные работы: „Введение в историю учреждения *марки* (общинной собственности на землю), *очага*, селения и города“, 1854 г., „История организации *марки*“, 1856 г.; кроме этих работ им было написано много других о деревне и городе.

Механическая теория теплоты. Эта теория об‘ясняет различные явления теплоты, показывая, что все они суть результат вибрации молекул в телах, с повышающейся температурой Когда сумма этих вибраций, невидимых для глаза, увеличивается в куске железа, в жидкости или в каком-нибудь газе, мы видим, что температура этого газа, этой жидкости или этого твердого тела повышается. Теплота есть ничто иное как вид движения. Вот, почему всякое трение производит нагревание. Когда сильные тормоза останавливают вращение колес поезда, то движение их переходит в трение по рельсам и проявляется уже в виде теплоты в нагревании рельсов и колес и в виде искр, которые суть частички железа, нагретые и оторвавшиеся от рельсов.

Точное количество необходимого движения для поднятия температуры одного литра воды на один градус Цельзия называется „*механическим* эквивалентом теплоты“.

Механическую теорию теплоты предчувствовали уже в 18-м веке, и частью ее тогда формулировали. Позже в двадцатых годах 19-го века, она была изложена инженером Сегуэном старшим, человеком большого таланта, идеи которого не были оценены его современниками [1]). Немецкий доктор Р. Майер

[1]) В примечании к французскому переводу „Соотношения физических сил“ Грове Мар. Сеген старший заметил, что его дядя „гражданин Монгольфьер“ (*Journal des Mines*, т. XIII, № 73) заявил еще в 1800 году, „что движение не может быть ни уничтожено, ни создано, что сила и теплота суть проявления под разными формами одной общей причины“.

(1845 г.) формулировал точным и полным образом механическую теорию теплоты, но и он не сумел заставить ученых принять ее. Джоуль произвел уже в 1856 году точные опыты для измерения механического эквивалента теплоты. И только в 1860 году эта теория, представляющая самое большое завоевание науки в 19-м веке, была, наконец, понята и принята всеми. Она находит себе бесчисленное количество приложений в науке и промышленности.

Милль, Джон Стюарт (1806—1873), английский экономист и философ. Один из самых выдающихся представителей „эмпиризма" (то есть исследования, основанного на наблюдении и опыте) в его „Системе Логики", где он прекрасно развил теорию, индукции (см. это слово). Автор сочинений: „Принципы политической экономии", 1848 г.; „Свобода", 1859 г.; „Представительное правление" и „Система логики", 1843 г.

Молешотт, Якоб (1822—1893), голландский физиолог материалист. Написал по немецки много популярных сочинений в целях распространения материалистической философии, среди которых „Круговорот жизни", 1852 г. имела шумный успех.

Мэн, Генри Сэмнер (1822—1888), английский юрист и исследователь жизни и обычного права в сельской общине. Его работа: „Древнее право и первобытный обычай", появившаяся в 1861 году, произвела сенсацию в Западной Европе, где под влиянием римского права не интересовались этим предметом. Другие работы: „Сельские коммуны на Востоке и на Западе", „Лекции по первоначальной истории учреждений". Университетская Франция, к сожалению, продолжает игнорировать труды школы права, созданной Мэном.

Оуэн, Роберт (1771—1858), главный основатель английского. социализма и один из виднейших пионеров кооперативного и профессионального рабочего движения, которые он пытался с 1830—1841 г. пропагандировать в национальном и даже международном масштабе. Пробовал приложить свои принципы на фабрике и в деревне и издал множество работ пропагандистского характера и популярных журналов. Его главные труды: „Очерки рациональной системы", 1812 г. „Книга нового нравственного мира"; „Революция в духе и практика жизни человеческого рода". Таким образом, вместе с Фурье и Сен-Симоном, он был одним из главных основателей современного социализма, либертарного и

отличие от государственного, и пользовался глубоким влиянием на умы, особенно в Англии, где его идеями были проникнуты, вплоть до наших дней многие радикалы.

Прудон, Пьер Жозеф (1809—1865) французский социалист, самый сильный критик системы капитализма и государства, а также государственнических и авторитарных теорий коммунизма и социализма. О его „мютюэллистской“ системе см. главу, стр. 52 Главные произведения: „Что такое собственность?“, 1840 г.; „Система экономических противоречий“, 1846 г.; „Признания революционера“, 1849 г.; „Общая идея революции в 19-м веке“, 1849 г.; „О справедливости в революции и церкви“, 1858 г.; „О политической способности рабочих классов“, 1864 г.

Рикардо, Давид (1772—1823), английский экономист, принадлежащий к школе. считающейся университетской наукой „классической“. Развил вслед за Адамом Смитом теорию измерения ценности необходимым количеством труда и теорию земельной ренты, которым университетские экономисты приписывают научную важность. Главное сочинение: „Принципы политической экономии и налога“, 1817 г.

Руссо, Жан-Жак (1712 — 1778), французский философ и социалистический писатель. Один из предшественников Великой Революции; его демократические и религиозные идеи оказали громадное влияние на умы наиболее выдающихся людей этого времени (особенно Робеспьера), а также на радикальных мыслителей 19-го века. Главные произведения: „О происхождении неравенства среди людей“, 1753 г.; „Эмиль“, 1762 г.; „Общественный договор“, 1762 г.; роман: „Новая Элоиза“, 1759 г.; „Моя исповедь“, напечатанная после его смерти.

Сегэн, Марк (1786 -1875), французский инженер, изобретатель трубчатого котла и автор своеобразной теории физических сил, подтверждаемой, теперь, отчасти изучением вибраций эфира. См. *Механическую теорию теплоты.*

Сен-Симон Анри Клод (1760—1825), французский социалист, один из основателей современного социализма. Его критика экономической системы капитализма была столь проницательна и столь научна, что называющиеся ныне „научными социалистами“, в сущности ничего нового к ней не прибавили. Во Франции к „сен-симонистской школе“ примыкали лучшие умы эпохи. О реформах, которые он предлагал см. главу XIII. Его главные работы: „Промышленная Система 1821 — 1822 г.,

„Катехизис индустриалистов“, 1823 г.; „Литературные, философские и индустриальные мнения“, 1825 г.

Смит Адам (1723 — 1790), шотландский экономист и философ, ученик Гэтчесона, известный главным образом, как основатель политической экономии на научных основах. В своей „Теории нравственных чувств“, 1759 г., замечательном труде, бойкотируемом до сих пор религиозными моралистами, он установил, что первоначальное происхождение нравственных чувств коренится в *симпатии* к себе подобным, которая естественна в человеке. В своих „Исследованиях о природе и причинах богатства народов“, появившихся в 1778 г. он смотрел на богатство, как на результат труда, и на капитал, как на накопленный труд; он возражал против многочисленных препятствий, которые ставили тогда правительства развитию промышленности и торговли, а также обогащению народов. Этим сочинением он стал основателем либеральной школы в политической экономии.

Спенсер, Герберт (1820—1903), английский философ. Работал над выработкой общей системы синтетической философии на материалистической основе, изложенной в ряде следующих работ: „Первоначальные основы“, 1862 г.; „Принципы биологии“, 1864 г.; „Принципы психологии“, 1855 г.; „Принципы социологии (первый этюд которой, гораздо более смелый, чем его последующие труды, появился в 1851 году под названием „Социальной статики“, а остальные появились в различные сроки); „Данные нравственности“, 1879 г.; „Личность против государства“, 1884 г.

Тьерри, Огюстен (1795 — 1873), знаменитый французский историк, сен-симонист, первый, начавший, изучать истинную историю первобытных учреждений, вне государственнических и династических принципов которыми законники и историки воспитанные на идеях римского права, стараются „украсить“ первобытные времена обществ гальских, германских, скандинавских, славянских так называемых варварских, до и после падения Римской Империи. Его „Письма об истории Франции“, 1820 г., „Рассказы из эпохи Меровингов“, 1840 г. и его „История образования и успехов Третьего Сословия“, 1853 г. открыли новый путь для истории Франции и вообще Европы; к сожалению университетская наука не пошла по этому пути.

С зерными историческими взглядами и громадной эрудицией он соединял описательный и драматический талант. Кроме на-

званных сочинений, он опубликовал также в 1821 году историю завоевания Англии норманами и собрание высокоценных документов по истории Третьего Сословия.

Уоллес, Альфред Рэссель (1823—1917), английский натуралист. Послал в 1857 году (из Азии,где он собирал коллекции по естественной истории) в Линнеевское Общество в Лондоне, независимо от Дарвина, мемуар, в котором он защищал изменяемость видов путем естественного подбора в борьбе за существование. Этот мемуар был сообщен Линнеевскому Обществу одновременно с мемуаром Дарвина, который в 1844 г. пришел к той же самой идее. Главные работы: „Доказательства для теорий естественного подбора", 1855 — 1870; „Малайский Архипелаг", 1869 г.; „Дарвинизм", 1889 г. Вернувшись к идеям Роберта Оуэна, которые он проповедывал в юности, он, в последние годы своей жизни, вел серьезную кампанию за национализацию земли.

Фехнер, Густав (1801—1887), немецкий физиолог и философ. Хотя метафизик и ученик Шеллинга, он тем не менее начал изучать психологию на чисто физиологической экспериментальной почве. Для него материя и дух одной природы и представляют лишь два различных вида, под которыми человеческое познание воспринимает одни и теже явления. Законы их общие. „Элементы психофизики" Фехнера, появившиеся в 1860 году, создали целую эпоху в психологии.

Фохт, Карл (1817—1895), швейцарский натуралист, профессор геологии, зоологии и политический деятель. Принимал участие в революции 1848 года. Его материалистические работы, особенно памфлет: „Вера горнорабочего и наука", напечатанный в 1854 или 1855 г., „Старое и новое в жизни животных и человека", „Зоологические письма" и т. д. произвели много шума.

Фурье, Франсуа-Шарль (1772—1837), вместе с Сен-Симоном и Робертом Оуэном, один из трех главных основателей социализма. Сущность его теории сводится к тому, что полное и свободное развитие природы человека есть первое условие для достижения счастья и добродетели; между тем как нищета и преступление суть два неизбежных результата принуждения и тех противных природе препятствий, которые наше общество навязывает ради удовлетворения потребностей. Отсюда возникает необходимость полной перестройки общества на новых основах сотрудничества (более подробное развитие см. в главе XII настоящей книги). Главные труды: „Теория четырех движений", 1808 г.;

„Трактат о домашней земледельческой ассоциации", 18.. г. ... вый промышленный мир", 1829 г. Община, осуществившая некоторые идеи Фурье, была основана в Гизе Годэном ... Он оставил значительную школу, насчитывавшую в своих рядах Консидерана, Пьера Леру и многих других талантливых писателей.

Шеллинг, Фридрих (1775—1854), немецкий философ. Пытался построить систему философии природы, представлявшую собой отождествление природы и духа, и придать более реальное значение метафизическим „словам", его предшественников, — но не достиг этого.

Энциклопедисты,—инициаторы и сотрудники великой французской Энциклопедии (см. Дидро).—Д'Аламбер, Бюффон, Кондильяк, Гельвециус, Гольбах, Мабли, Тюрго и др. Важность этого труда заключается, главным образом, в том, что он не только представляет собой попытку резюмировать все знания того времени и трактовать естественные и математические науки, историю, искусство и литературу с одинаковой об'ективностью, но и в том, что Энциклопедия стала органом для всей нерелигиозной мысли Франции 18-го века. Вот, почему имя энциклопедистов часто дается тем, кто разделял философские идеи Энциклопедии.

Якобинцы,—имя данное членам политического клуба (*Друзья Конституции*), пользовавшегося большим влиянием во время революции 1789—1793 года. В этот клуб входили передовые элементы, республиканцы и революционеры буржуазии. Он смело боролся против королевской власти и, позднее, поддерживал Робеспьера, боролся против клуба *Кордельеров* (к которому принадлежал Дантон, а также и гораздо более передовые элементы, как Эбер, Шометт и видные члены Парижской Коммуны). Он был закрыт во время реакции после 9 термидора. Имя Якобинцев часто дается теперь сторонникам революционного крайне централизованного правительства.

II.

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР: ЕГО ФИЛОСОФИЯ.

Герберт Спенсер, родившийся в 1820 году и умерший 8 декабря 1903 года, был членом блестящей группы ученых, к которой принадлежали, в Англии, Дарвин, Ляйэлль, Джон Стюарт Милль, Бэн, Гэксли и др., и которая содействовала так сильно славному пробуждению естественных наук и торжеству индуктивного метода в шестидесятых годах девятнадцатого века. С другой стороны Спенсер соединяется с радикалами, как Карлейль, Рэскин, Джордж Элиот, которые под двойным влиянием Роберта Оуэна, фурьеристов и сенсимонистов, а также политического радикализма „чартистов", запечатлели радикальный, слегка окрашенный социализмом характер на умственном движении Англии втечении тех же 1860—1870 годов.

Спенсер начал свою карьеру. как железнодорожный инженер; затем, как писатель по экономическим вопросам; и в этот период (1848—1852) он подружился с физиологом Джорджем Люисом и его подругой, авторшей романов „Felix Holt" и „Adam Bede" и других радикальных романов, писавшей под псевдонимом Джордж Элиот. Эта замечательная женщина, которой английское лицемерие не может до сих пор простить того, что она открыто жила с Люисом, не обращаясь за санкцией ни к церкви, ни к государству, оказала глубокое влияние на Спенсера.

Он написал тогда (1850) свое лучшее произведение: „*Социальная Статика, или указание и исследовани некоторых существенных условий человеческого счастья*".

В это время он не имел еще того мелкого уважения к буржуазной собственности и презрения к побежденным в борьбе за существование, которое наблюдается в его последующих произведениях, и он определенно высказывался за национализацию земли. В „*Социальной Статике*" есть веяние идеализма.

Совершенно верно, что Спенсер никогда не принимал государственного социализма Луи Блана или государственного коллективизма Видаля и Пекера и их немецких продолжателей Маркса и Энгельса. Он уже развил свои антиправительственные идеи в 1842 году под заглавием: „*Собственная сфера правительства*". Но он признавал, что земля должна принадлежать народу и в „*Статике*" есть страницы, где чувствуется дыхание коммунизма.

Позднее он пересмотрел эту работу и смягчил эти страницы. Однако в нем оставался всегда до самых его последних дней протест против захватчиков земли и против всякого притеснения эко-

II.

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР: ЕГО ФИЛОСОФИЯ.

Герберт Спенсер, родившийся в 1820 году и умерший 8 декабря 1903 года, был членом блестящей группы ученых, к которой принадлежали, в Англии, Дарвин, Ляйэлль, Джон Стюарт Милль, Бэн, Гэксли и др., и которая содействовала так сильно славному пробуждению естественных наук и торжеству индуктивного метода в шестидесятых годах девятнадцатого века. С другой стороны Спенсер соединяется с радикалами, как Карлейль, Рэскин, Джордж Элиот, которые под двойным влиянием Роберта Оуэна, фурьеристов и сенсимонистов, а также политического радикализма „чартистов", запечатлели радикальный, слегка окрашенный социализмом характер на умственном движении Англии втечении тех же 1860—1870 годов.

Спенсер начал свою карьеру. как железнодорожный инженер; затем, как писатель по экономическим вопросам; и в этот период (1848—1852) он подружился с физиологом Джорджем Люисом и его подругой, авторшей романов „Felix Holt" и „Adam Bede" и других радикальных романов, писавшей под псевдонимом Джордж Элиот. Эта замечательная женщина, которой английское лицемерие не может до сих пор простить того, что она открыто жила с Люисом, не обращаясь за санкцией ни к церкви, ни к государству, оказала глубокое влияние на Спенсера.

Он написал тогда (1850) свое лучшее произведение: „*Социальная Статика, или указание и исследование некоторых существенных условий человеческого счастья*".

В это время он не имел еще того мелкого уважения к буржуазной собственности и презрения к побежденным в борьбе за существование, которое наблюдается в его последующих произведениях, и он определенно высказывался за национализацию земли. В „*Социальной Статике*" есть веяние идеализма.

Совершенно верно, что Спенсер никогда не принимал государственного социализма Луи Блана или государственного коллективизма Видаля и Пекера и их немецких продолжателей Маркса и Энгельса. Он уже развил свои антиправительственные идеи в 1842 году под заглавием: „*Собственная сфера правительства*". Но он признавал, что земля должна принадлежать народу и в „*Статике*" есть страницы, где чувствуется дыхание коммунизма.

Позднее он пересмотрел эту работу и смягчил эти страницы. Однако в нем оставался всегда до самых его последних дней протест против захватчиков земли и против всякого притеснения эко-

номического, политического, умственного или религиозного. Он протестовал всегда против реакционной политики „без принципов“. Во время бурской войны он открыто высказался против нападения англичан и за несколько месяцев до смерти он говорил против протекционизма авантюриста Чемберлена. Всю свою жизнь он отказывался от благородных титулов и орденов, которые ему предлагали, и если какой-нибудь университет посылал ему почетный титул, то он не принимал его.

Вот, почему высокие круги всегда молчали о Спенсере. Однако главная заслуга Спенсера заключается не в его „*Социальной Статике*“, а в выработке „*Синтетической Философии*“, которая может рассматриваться, после работ Огюста Конта, как главное философское произведение девятнадцатого века.

Философы восемнадцатого века и, в особенности, энциклопедисты, уже пытались построить синтетическую философию вселенной,—сводку всего того, что существенно в наших знаниях о природе и человеке: о планетах и звездах, о физических и химических силах (или скорее физических и химических *движениях* молекул), о явлениях растительной и животной жизни, о психологии, о жизни человеческих обществ, развитии их идей, их нравственных идеалов, -одним словом *картину природы*, как это пытался сделать Гольбах.—начиная с какого-нибудь падающего камня и кончая мечтою поэта, -и все это в плане чисто материальных явлений.

Позднее, Огюст Конт предпринял вновь ту же работу. Он пытался построить *позитивную философию*, которая должна резюмировать главнейшие факты наших знаний природы без какого бы то ни было вмешательства богов, оккультных сил или метафизических *слов*, заключающих скрытые намеки на сверхестественные силы.

Позитивная философия Конта, что бы ни говорили о ней немцы и англичане, которые воображают или претендуют, что они не подверглись ее влиянию, наследница философии Франсиса Бэкона, наложила свою печать на всю научную мысль девятнадцатого века. Она вызвала большое пробуждение среди естественных наук шестидесятых годов, о чем мы говорим в этой книге (глава IV). Именно она воодушевляла Милля, Гэксли, Люиса, Бэна и многих других, и она внушила Спенсеру идею построить, самому, синтетическую философию. Она дала ему метод для ее построения.

Но философия Конта, не говоря об основной ошибке, которую мы уже указывали, имеет еще один гигантский громадный недостаток. Конт не был натуралистом. Зоология и геология были ему неизвестны. Доверяясь, в этом отношении, Кювье, он отрицал

изменяемость видов. И это явно помешало ему воспринять *эволюцию, развитие* как мы их понимаем теперь.

Уже в 1801 году великий натуралист Ламарк, делая шаг вперед сравнительно с идеями Бюффона, утверждал, что различные виды растений и животных, населяющих теперь землю, развивались постепенно, что они происходили от других видов растений и животных, которые под влиянием изменений в среде, в которой они жили, приобретали все новые и новые формы. В очень сухом климате, где испарение очень сильно, кожа, поверхность листьев изменяется; самый лист даже исчезает, чтобы дать место твердому и сухому шипу. Животное, которое принуждено пробегать через пустыни, приобретает постепенно более легкие пропорции, чем животное, которое живет забравшись в тину и грязь болот. Лютик, растущий на лугу, покрытом водой, имеет листья не похожие на листья лютика, растущего на сухом лугу. И так далее во всей одушевленной природе.

Все изменяется постоянно в природе; формы не являются постоянными,—растения и животные, которые мы находим теперь, суть результат *долгого приспособления* к условиям, которые также постоянно изменяются.

Однако, реакция, которая возобладала в Европе после Великой Революции, была такова, что эти идеи Ламарка были бойкотированы и забыты. Немецкая метафизика тогда господствовала, и одновременно с культом королевской власти, она восстановила иудейского бога, который останавливает солнца по своему желанию и следит за тем, чтобы ни один волос не упал с головы человеческой без божественного соизволения; она восстановила культ бессмертной души вселенной, частицы этого бога.

Однако, идея *естественного развития, эволюции* шла своим путем. Если наша система планет и наше солнце являются продуктом медленного развития, как это уже доказали Лаплас и Кант, то разве те массы туманной материи, которые мы видим в звездном небе, не представляют собой мириады миров в процессе формации? Разве вселенная не есть мир солнечных систем, в постоянном процессе развития, которое постоянно начинается сызнова и так до бесконечности?

Если уже Бюффон и Ламарк догадались, что лев, тигр, жираф так хорошо приспособились к среде, в которой они живут, именно потому что среда сделала их такими, какие они есть то факты, накоплявшиеся со всех сторон в начале века, благодаря далеким путешествиям, приносили каждый день новые доказательства в пользу этой идеи. *Изменяемость* видов становилась доказанным фактом. *Трансформизм* и следовательно *раз-*

витие, постоянно возобновляющееся, новых видов, выдвигалось на первый план.

В то же время геология утверждала, что протекли тысячи веков раньше, чем первые рыбы, затем первые пресмыкающиеся, затем первые птицы, млекопитающие, и наконец, человек появились на земле. Эти идеи были достаточно распространены еще в первой половине этого века, — только о них еще не смели говорить открыто. Даже в 1840 году, когда Чемберс привел их в систему в своей наделавшей столько шуму книге: „Следы творения", он не посмел поставить на ней свое имя и скрыл свое авторство так ловко, что в течение сорока лет не могли открыть, кто же автор этой книги.

И когда метафизики говорят нам теперь, что Гегель открыл, или только популязировал, идею *изменяемости*, *эволюции*, то эти господа доказывают только, что история естественных наук остается им столь же неизвестной, как сам алфавит этих наук и их метод.

Идея эволюции стала обязательной во всех областях. Особенно важно было приложить ее к толкованию всей системы природы, а также к человеческим учреждениям, религиям, нравственным идеям. Нужно было сохраняя всецело основную идею позитивной философии Огюста Конта,—распространить ее таким образом, чтобы она охватила собой совокупность всего, что живет и развивается на земле.

Этому и посвятил себя Спенсер.

Как Дарвин, он был человек слабого здоровья Но, строго подчинив себя известной физической и умственной гигиене, экономизируя свои силы, он достиг того, что совершил колоссальную работу.

Он написал в самом деле полную систему синтетической философии, которая охватывала прежде всего силы физические и химические; затем жизнь бесчисленных солнц находящихся в процессе формации или в процессе распадения и населяющих вселенную; затем эволюцию нашей солнечной системы и нашей планеты. Это составляет: „*Основные Принципы*".

Затем идет эволюция живых существ на нашей земле, о чем говорится в „*Принципах Биологии*". Это очень специальный труд, в котором Спенсер, следуя линиям уже предуказанным или намеченным гением Конта, положил много оригинального труда и показал, как, должна была появиться под действием химических сил, жизнь на нашем земном шаре, как она началась с малейших соединений микроскопических клеточек и как, постепенно, развилось все огромное разнообразие растений и животных от

самых простых до самых сложных [1]). Здесь Спенсер отчасти опередил Дарвина; и если он далеко не обладал теми знаниями, которые имел Дарвин и не углублял каждый вопрос, как это делал Дарвин, то с другой стороны он иногда доходил к более широким и более верным выводам из целого, чем те, которые исходили от его великого современника и учителя.

Согласно Спенсеру, новые виды растений и животных берут свое начало *прежде всего*, как сказал Ламарк, в прямом воздействии среды на индивидуумов. Он называл это *прямым приспособлением*. Затем эти новые изменения, происшедшие под влиянием или сухости, или влажности, или холода климата или жары, или под влиянием рода пищи и т. д., — если они достаточно серьезны, чтобы быть полезными в борьбе за существование, — позволят индивидуумам, которые обладают ими, и поэтому являются лучше приспособленными к окружающей их среде, выживать и оставлять более здоровое потомство. Это выживание „лучше приспособленных" есть *естественный подбор в борьбе за существование*, указанный Дарвином. Спенсер назвал его *косвенным приспособлением*.

Это *двойное* происхождение видов есть также точка зрения, которая ныне господствует в науке. Сам Дарвин поспешил принять ее.

Следующая часть философии Спенсера—„*Принципы психологии*". Здесь он стоит всецело на материалистической точке зрения. Он не произносит слова материализм. Но, как Бэн, решительно разрывает с метафизикой и вырабатывает основы материалистической психологии.

Далее он дает нам: „*Принципы Социологии*"—основы науки об обществе, основывающейся, как предвидел Конт, на постепенном развитии обычаев и учреждений.

И, наконец, он дает нам „*Принципы Этики*", то есть нравственности. Две части этого последнего отдела: „*Эволюционистская Мораль*" и „*Справедливость*" достаточно хорошо известны во Франции.

Таким образом мы имеем полную систему эволюционистской философии.

Во всех своих частях, философия Спенсера, включая сюда и „*Принципы Этики*", — абсолютно свободна от всякого религиозного влияния. — Это уже много. И когда думаешь, насколько то, что пишется даже в наши дни о философии и в особенности о

---

[1]) Как сокращенное изложение этой прекрасной книги, можно взять маленькую книжку Эд. Перье: „Животные колонии", написанную в очень простом стиле.

вопросах нравственности, проникнуто еще влиянием христианства, то особенно ценишь услуги, оказанные Спенсером.

До него никто не сумел дать системы вселенной, организмов, человека, человеческих обществ и их нравственных понятий, абсолютно *агностической*, не христианской. Для Спенсера христианство есть религия, как все остальные, имеющая тоже происхождение из тех же страхов и тех же настроений, религия, которая без сомнения оказала громадное влияние на человечество, но которая для философа является лишь фактом из истории обществ, фактом того же разряда, как наши юридические понятия и наши учреждения. Так же Спенсер изучал ее естественное происхождение и эволюцию. Даже тогда, когда он говорит о морали, он интересуется более происхождением и развитием того или иного обычая, того или иного нравственного принципа, чем основателями той или иной религии или нравственного учения. Что, однако, недостает Спенсеру, это—боевого духа, нападающего темперамента. Он строит свою систему вселенной, рассматриваемой как результат физических сил, но хотелось бы также видеть, чтобы он разрушил открыто те предрассудки и суеверия, которые давят души людей и мешают им принять эту систему. Спенсер, однако, проходит мимо них в молчании или только бросает им мимоходом слово презрения.

Стиль Спенсера иногда тяжел. Очень часто его доказательства недостаточны, чтобы убедить вас. (Дарвин уже отметил это). Кроме того у него чувствуется отсутствие поэта, артиста. Но когда вы прочли его сочинения—хотя бы в сокращении, вы чувствуете, что получили полное представление о вселенной, о природе во всем ее целом, в котором не остается больше места для мистического, сверхестественного. Вы понимаете, что вы можете изменить ее во многих деталях, но что в ней есть очень важный завоеванный пункт. „Абсолют", „субстанция", представляемые как „божественный дух", кажутся вам столь маленькими, мелкими, столь придуманными, изобретенными, когда вы сможете составить себе действительную, реальную, конкретную идею о том, как живут миры, солнечные системы, планеты, и эти маленькие столь претенциозные существа—люди!

Спенсер не возвышается до того, чтобы открыть вам большие и прекрасные горизонты вселенной. Всегда слишком на земле он не отзывается на поэтическую экзальтацию, которую внушает нам созерцание вселенной во всей ее совокупности. Поэзия природы, вселенной, к несчастью для него не существует. Но он дает нам понять, как, благодаря действию одних химических и физических сил, жизнь природы должна была зародиться на нашей планете; как, благодаря действию тех же сил, должны были по-

явиться более простые растения, и как, вследствие все более и более сложных приспособлений, должны были развиться более сложные растения. Он вам показывает, как другая ветвь, —животные—также должны были появиться, как эта ветвь должна была развиваться и дойти до человека, чтобы и его, в свою очередь, усовершенствовать и превзойти в будущем. Спенсер заставляет вас понять, почему эволюция, до сих пор, была *прогрессом*, и почему человечество может и должно идти к все более и более высоким *целям*, пока продолжается эта эволюция.

В своих „Принципах Социологии" Спенсер развертывает снова ряд человеческих учреждений, верований, общих идей, цивилизаций, от самых простых до самых сложных. В деталях он, очевидно может ошибаться, — он ошибается даже часто. Наше понятие об эволюции обществ отличается очень многим от его понятия.

Но Спенсер знакомит нас с правильным методом об'яснения общественных фактов,—методом индуктивных наук, который состоит в нахождении об'яснения всех социальных явлений в естественных причинах, самых близких прежде всего и самых простых, но не в сверхестественных силах или метафизических гипотезах, зародившихся в *словесных* анализах. Когда привыкнешь к, этому методу, то действительно видишь, что все наши учреждения наши экономические отношения, наши языки, религии, музыка, нравственные идеи, поэзия и т. д. об'ясняются теми же изменениями естественных явлений, которые об'ясняют движения солнц и движение пыли, носящейся в пространстве, цвета радуги и цвета бабочки, формы цветов и формы животных, обычаи муравьев и обычаи слонов и людей.

Совершенно верно, что Спенсер не дает нам чувствовать, осязать это единство природы, не заставляет нас чувствовать красоту, поэзию этого синтетического об'яснения вселенной. Для этого ему не хватает гения Лапласа, поэтического чувства Гумбольдта, красоты формы, которой обладал Элизе Реклю. Этих и многих других качеств у него нет. Но он заставляет нас понять, как мыслит натуралист, когда он освобождается от религиозного и схоластического учения, которым пытались парализовать его дух.

Но позволительно спросить, освободился ли сам Спенсер совершенно от этой мертвой тяжести? — Да, почти, но не вполне. В каждой науке, когда мы начинаем изучать ее основательно, мы доходим до известного предела, дальше которого, *в данный момент*, мы не можем идти дальше. Это именно и делает науку вечно юной, вечно привлекательной. Какой экстаз и какой восторг охватывал нас в середине девятнадцатого века, когда были

сделаны такие прекрасные открытия в астрономии, в физических науках, в биологии, т. е. науке жизни, и в психологии. Какие прекрасные горизонты открывались перед нашими глазами в это время, когда границы науки так внезапно были раздвинуты. Раздвинуты, но не уничтожены, потому что сейчас же установились новые границы, и со всех сторон возникли новые проблемы, требовавшие разрешения.

Наука постоянно раздвигает таким образом свои пределы. Там, где двадцать лет тому назад она останавливалась, теперь уже завоеванная область. Граница отступила. Но сделав большие шаги вперед, наука снова останавливается, чтобы пересмотреть свои победы во всем их целом, позондировать новые открывающиеся перед ней горизонты и собрать новые факты прежде чем сделать дальнейшие шаги и идти к новым завоеваниям.

Так, пятьдесят лет тому назад мы говорили: „вот группа явлений—притяжения и отталкивания,--которые имеют что-то общее. Назовем их „электрическими явлениями“ и будем называть „электричеством“ неизвестную до сих пор причину этих фактов, какая бы она ни была“. И когда нетерпеливые спрашивали нас: „а что такое это электричество?“ то мы имели честность ответить им, что пока, в данный момент, мы не знаем.

Теперь сделан еще один шаг вперед. Мы нашли пункт сходства между звуком, теплотой, светом и—электричеством. Действительно, когда колокол звонит, он производит воздушные волны, попеременно сжатые и разреженные, которые следуют друг за другом, как волны по поверхности пруда.

В воздухе звуковые волны идут с быстротой около 300 метров в секунду, и они распространяются столь хорошо известным нам образом, что мы можем подвергнуть их математическому вычислению. Это мы знали уже давно. Но теперь открыли, что теплота, свет, *а также электричество*, распространяются совершенно таким же образом только с быстротою 300,000 километров в секунду. Конечно, то, что вибрирует в электрических явлениях, есть—материя бесконечно более разреженная, чем воздух; но электричество, как и теплота и свет, обязано этим вибрациям, абсолютно сходным с теми, которые производит колокол в воздухе, и мы можем подвергнуть их тому же математическому изучению.

Без сомнения это еще далеко не все, что можно знать об электричестве,—неизвестное окружает нас со всех сторон; но это первое приближение. Зная это, мы придем ко второму приближению, которое об'яснит факты еще более точно. А между тем мы уже можем говорить с одного континента на другой, даже не прибегая к подводному кабелю, и вам сообщают новости дня на борт корабля, несущегося на всех парах через океан.

— „Но что это такое за материя, которая вибрирует?“, как спросите, может быть вы — „Я не знаю *пока, в данный момент*, я не знал ничего об электричестве и теплоте пятьдесят лет тому назад“,—таков будет ответ. И если вы будете настаивать и спросите: „а будем ли мы знать об этом больше через пятьдесят лет?“ никто не сможет ответить вам по этому поводу. Все, что можно сказать, это, что в один прекрасный день люди будут знать гораздо больше чем мы [1]). Как могли мы, например, предсказать в 1860 году, что к концу столетия мы будем посылать электрические волны из Ирландии в Нью-Йорк, когда мы не знали, что электричество есть вибрации, сходные с световыми вибрациями? Постараемся учить поменьше глупостей в наших школах, постараемся лучше изучать естественные науки, так, чтобы развить смелость и еще смелость в молодых умах, и тогда увидим!

Это все, что может сказать вам наука.

Спенсер же сказал больше, и это большее было напрасно.

Он утверждал, что дальше известного предела находится не *неизвестное*, которое может быть будет узнано через сто лет, а *непознаваемое*, которое *не может быть* познано нашим разумом. На это английский позитивист Фредерик Гарриссон совершенно справедливо заметил ему: „Ах, так! скажите пожалуйста, но вы претендуете знать очень много об этом неизвестном, которое по вашим словам непознаваемо, раз вы говорите, что оно *не может быть узнано*“.

Действительно, чтобы сказать, что, то, что находится „за пределами“ современной науки, *непознаваемо*, нужно быть уверенным, что оно *существенно* отличается от того, что мы научились знать до сих пор. Но тогда это уже является громадным знанием об этом неизвестном. Это значит утверждать, что оно отличается настолько от всех механических, химических, умственных и чувственных явлений, о которых мы знаем хоть что-нибудь, что оно никогда не будет подведено ни под одну из этих рубрик. Делать подобное утверждение о том, что самим утверждающим признается за непознаваемое, есть очевидно вопиющее противоречие. Это значит сказать одновременно: „Я ничего об этом не знаю“ и „я знаю об этом настолько, что могу сказать, что это совсем не похоже даже издалека на то, что я знаю!“

[1]) Действительно, изучение вновь открытых газов, аргона, неона и т. д., атомы которых находятся в столь быстрой вибрации, что их крайне трудно ввести в химические комбинации, дало уже Менделееву мысль, что эфир есть нечто иное, как вещество, атомы которого находятся еще в более быстрой вибрации, чем аргон и неон, столь быстрой, что они не могут войти ни в какую химическую комбинацию, и что они носятся свободно в междузвездном пространстве посреди сгущенных атомов, из которых образованы солнца и планеты с облаками окружающих их газов и пыли.

Если мы знаем что-либо о вселенной, о ее прошлом существовании и о законах ее развития; если мы в состоянии определить отношения, которые существуют, скажем, между расстояниями, отделяющими нас от млечного пути и от движений солнц, а также молекул, вибрирующих в этом пространстве; если, одним словом наука о вселенной возможна, это значит, что между этой вселенной и нашим мозгом, нашей нервной системой и нашим организмом вообще существует *сходство структуры.*

Если бы наш мозг состоял из веществ, существенно отличающихся от тех, которые образуют мир солнц, звезд, растений и других животных; если бы законы молекулярных вибраций и химических преобразований в нашем мозгу и нашем спинном хребте отличались бы от тех законов, которые существуют вне нашей планеты; если бы, наконец, свет, проходя через пространство между звездами и нашим глазом, подчинялся бы во время этого пробега законам, отличным от тех, которые существуют в нашем глазу, в наших зрительных нервах, через которые он проходит, чтобы достичь до нашего мозга, и в нашем мозгу, *то никогда мы не могли бы знать ничего верного о вселенной и законах,—о постоянных существующих в ней отношениях:* тогда как теперь мы знаем достаточно, чтобы *предсказать* массу вещей и знать, что сами *законы*, которые дают нам возможность предсказывать, есть ничто иное, как отношения, усвоенные нашим мозгом.

Вот почему не только является противоречием называть непознаваемым то, что известно, но все заставляет нас, наоборот, верить, что *в природе нет ничего, что не находит себе эквивалента в нашем мозгу—частичке той же самой природы*, состоящей из тех же физических и химических элементов,—ничего следовательно, что *должно* навсегда оставаться неизвестным,—то-есть не может найти своего представления в нашем мозгу.

В сущности говорить о Непознаваемом значит всегда возвращаться, не замечая того, к громким *словесам* религий, и так как религиозные люди не упустят использовать эту ошибку Спенсера, то мы и позволяем себе войти в слишком подробные детали по этому поводу. Допустить непознаваемое Спенсера значит постоянно предполагать силу, бесконечно более высшую по сравнению с теми, которые действуют в нашем разуме, и которые проявляются в действии нашего мозга; тогда как ничто, абсолютно ничто, не дает нам права предполагать эту силу. Для натуралиста отвлеченное, абсолют, непознаваемое есть всегда одна и та же гипотеза, в которой Лаплас не нуждался в своей системе мира и в которой не нуждаемся мы, чтобы об'яснить себе не только вселенную, мир, но и жизнь нашей планеты со всеми ее проявлениями. Это—роскошь, бесполезная надстройка, пережиток.

Оставляя в стороне ошибку о Непознаваемом, философия Спенсера позволяет нам, таким образом, отдать себе отчет во всем ряде физических, биологических, психических, исторических и нравственных явлений, пользуясь все время тем же научным индуктивным методом.

Читая его произведения, вы видите, как все эти явления, столь разнообразные и входящие в столь различные науки, связаны между собой; как все они суть проявление тех же физических сил; и как надо их понимать и анализировать, если следовать всегда тем же методам мышления, как если бы они были физическими явлениями.

Следует ли из этого, что все выводы, сделанные Спенсером согласно этому методу, верны, правильны? что он сам всегда прилагал безошибочно этот метод? —Конечно, нет! Написала ли книга Спенсером или каким-либо другим мыслителем, на нас самих, на нашем разуме, лежит долг смотреть, сделал ли автор правильное заключение, остался ли он верен своему методу, не вводят ли новые факты, которые, как мы знаем, собраны после издания данной книги, некоторые изменения в его заключения. В этом-то и проявляется научный метод. Он заставляет автора излагать свои факты и свои рассуждения таким образом, чтобы вы могли судить их сами. Перед вами говорит не бог, а равный вам человек, который рассуждает и приглашает вас делать то же самое.

Пока Спенсер рассуждал относительно физики, химии, биологии и даже психологии (то-есть о наших эмоциях, способах чувствовать, мыслить и действовать), его заключения почти всегда правильны. Но когда он доходит до Социологии и социальной Морали (Этики), получается совсем другое—для некоторых из его выводов.

До сих пор он *ищет* и—находит. Здесь же (это чувствуется с первых шагов) *он имеет уже совершенно готовые идеи:* идеи буржуазного радикализма, развитые им еще в 1850 году в его „*Социальной Статике*", раньше чем он начал разрабатывать свою философию природы. И он пересмотрел и развил эти идеи в еще более буржуазном смысле.

Очевидно, что при каждом научном исследовании каждый ученый имеет уже с самого начала некоторые предположения гипотезы, которые он хочет проверить, чтобы или доказать их или отвергнуть совсем. И даже, в естественных науках случается, что человек относится пристрастно к своей гипотезе, в то время как другие хорошо видят ее недостатки.

Но хуже всего это проявляется во всем, что касается жизни обществ. Берясь за работу в этой области, каждый имеет уже свой общественный *идеал*. Он уже почерпнул из своей жизни и

опыта известную манеру судить привилегии богатства и рождения, которые он признает или отрицает; он имеет свое мерило для делений общества; он подвергается тысяче влияний своей среды. И так как, науки, трактующие общественные явления, находятся еще в состоянии младенчества, и так как Спенсер, после Конта, стал первым применять действительно научный метод к общественным явлениям, то вполне естественно, что он не сумел стряхнуть с себя влияния буржуазных идей своей среды.

Поэтому часто случается, что читатели бывают просто шокированы заключениями Спенсера. Насколько они восхищаются его мыслями в „Принципах Биологии“, настолько они чувствуют узость его взглядов, когда он говорит, например, об отношениях между трудом и капиталом в обществе.

Укажем хоть один пример, кстати очень важный. Спенсер воспитался на буржуазной и религиозной идее *справедливого воздаяния*. Вы плохо поступили,—и вы будете наказаны; вы были очень прилежным инженером,—и ваш хозяин прибавит вам один шиллинг в неделю жалованья. По крайней мере Спенсер верил в это. И этот принцип „справедливого“ воздаяния сделался для него законом природы.

Во всем, что касается детей и подростков, раньше, чем они научатся кормить самих себя, воздаяние в животном мире, говорит Спенсер, не пропорционально усилиям; это неизбежно. Но „между взрослыми *должна* быть сообразность с *законом*, согласно которому полученные блага будут пропорциональны достоинствам каждого, а достоинства измеряются способностями человека поддерживать самому свое существование“.

И дальше: „таковы суть *законы* поддержания видов; и если мы допускаем, что сохранение данного вида желательно, то отсюда вытекает *обязанность* сообразоваться с этими законами, которые мы можем в каждом случае назвать полу-этическими или этическими“ („*Справедливость*“).

Как мы видим, весь этот язык с его идеей воздаяния, закона, обязанности не есть язык натуралиста. Это говорит не наблюдатель природы, а писатель по юридическим вопросам или политической экономии, читающий вам нотацию.

Об'яснение этого следующее: Спенсер знает социализм. Но он отрицает его, говоря, что если каждый человек не вознаграждается точно и строго по его делам и заслугам, то это—смерть общества. И чтобы доказать этот принцип, бесспорный в его глазах, он старается сделать его законом природы, что заставляет философа оставлять в стороне, при таком способе мышления, научный метод. В результате мы сейчас же видим его ошибку.

Современная наука об обществах—Социология—не довольствуется более одним лишь произвольным изложением „законов духа", как это делали Гегельянцы. После Конта она изучает различные законы, пройденные человечеством, начиная от дикарей каменного века и кончая нашими днями, и она открывает также в наших современных учреждениях массу пережитков старого,—учреждений, которые остались еще от каменного века. Наши религии, наши своды законов, наши обычаи относительно мертвых, различные годовые празднества, наши обряды и церемонии, все это полно старины. И изучая *эволюцию*, постепенное развитие учреждений, суеверий и предрассудков, начинаешь понимать и—скажем открыто—презирать наши учреждения юридические, государственные, обрядовые и другие и догадываться, каково будет дальнейшее развитие наших обществ.

Спенсер сделал эту работу, но с тем отсутствием понимания учреждений, непохожих на встречающиеся в Англии, которое так характерно для огромного большинства англичан. Кроме того, он не знал людей. Он не путешествовал (он был только один раз в Соединенных Штатах и один раз в Италии, где он чувствовал себя совсем несчастным в среде, которая не была его привычной английской средой), и он никогда не понимал духа учреждений нецивилизованных народов.

Вот почему мы постоянно встречаем в его *Социологии* совершенно ложные утверждения, когда вопрос идет о толковании древних обычаев или попытке приподнять завесу будущего.

Если мы имеем право делать Спенсеру упреки, которые мы только что формулировали, то нужно тем не менее сказать, что его социологические и этические понятия (общественная мораль) гораздо более передовые, чем те, которые встречаешь в государственнических теориях, сочиняемых доселе всеми писателями буржуазного лагеря.

Из своего научного анализа он выводит, что цивилизованные общества идут к полному освобождению от всех пережитков теократических, правительственных и военных, существующих до сих пор среди нас.

Насколько можно предвидеть будущее, изучая прошедшее, человеческие общества, говорит Спенсер, идут к такому состоянию, при котором воинственный боевой дух и военная структура, характеризующие младенчество общества, уступят место промышленному духу и организации, основанной на взаимности и добровольном сотрудничестве. А последнее, с своей стороны, по мере того, как старые воинствующие учреждения—королевская власть, дворянство, армия, государство — будут исчезать все более и более, даст толчок росту альтруистического общинного духа, -и настолько

(здесь Спенсер встречается с анархистами), что общество придет к состоянию, в котором без всякого давления извне и лишь вследствие установившихся общественных привычек, действия каждого не будут более иметь своею целью порабощения других, а наоборот будут содействовать росту всеобщего счастья и обеспечению независимости каждого.

Там, где все теоретики государственники проповедуют дисциплину, подчинение, государственную централизацию, Спенсер предвидит уничтожение государства, освобождение личности, полную свободу. И хотя он сам буржуа индивидуалист, он не останавливается на этой стадии *индивидуализма*, являющегося идеалом современной буржуазии,—он видит *свободную кооперацию, сотрудничество* (то, что мы называем *свободным коммунистическим соглашением*), которое распространится на все отрасли человеческой деятельности и приведет общество *к совершенному развитию человеческой личности* со всеми ее личными индивидуальными чертами—к индивидуации, как говорит Спенсер.

Раз земля будет общественной собственностью и все доходы, приносимые ею, будут идти обществу, а не личности, то не будет нужды, думает Спенсер (и в этом он очевидно обманывается) трогать личную собственность в области промышленности. Достаточно будет разумное сотрудничество, кооперация. Нужно заметить только, что под кооперацией Спенсер не подразумевает здесь те акционерные компании четвертого сословия, которые теперь называются кооперативами. Он имеет в виду все соединенные, скомбинированные усилия индивидуумов для производства сообща или для потребления, оставляя в стороне те цели наживы и эксплоатации акционеров, которые составляют главную суть современных кооперативных обществ. Он имеет в виду то, что среди анархистов называется „свободной средой.“.

Это будет общество, говорит он, „в котором личная жизнь будет, таким образом, доведена до наибольшего возможного для нее развития, совместимого с общественною жизнью *и общественная жизнь не будет иметь другой цели кроме поддержания самого полного объема индивидуальной жизни*“. Он доходит, таким образом, до *свободного коммунистического соглашения*, целью которого является самое широкое развитие *индивидуальной жизни*,—самая высокая *индивидуация*, как он говорил в противоположность *индивидуализму*, понимая под индивидуацией самое полное развитие всех способностей каждого, а не глупый индивидуализм буржуазии, который проповедует: „каждый для себя и Бог для всех“.

Только, как истому буржуа, Спенсеру мерещилось в каждом углу видение „лентяя“, который не станет работать, если его су-

ществование будет обеспечено в коммунистическом обществе; он видел везде *Lafer* (бродягу), который дрожит от холода у двери клуба, ожидая буржуа, которому он поможет влезть в карету, и у которого он потребует (о бездельник!) монету в два су! Так невольно иной раз трешь себе глаза, читая Спенсера: Неужто это он, столь умный человек, позволяет себе подобные выходки против нищих, или ворчит против бесплатного обучения против обязательства давать по одному экземпляру своих сочинений бесплатно в публичную библиотеку при Британском музее.

Ограниченный, узкий дух буржуа, проявляется, таким образом, среди самых высоких рассуждений,—и в этом Спенсер имеет поразительную черту сходства с Фурье, который также будучи гениальным человеком, вдруг превращается в лавочника среде своих мыслей. Не забудемте однако же коллективистов, которы также боятся „лентяев", хотя это у них прикрыто разными фразами и формулами!

Но видоизмените заключения Спенсера там, где он слишком очевидно грешит против всего того, чему нас учит изучение людей. Углубите его самую буржуазную мысль, чтобы найти в ней истинный его мотив, и это всегда будет *ненависть всякого ограничения полной и безусловной свободы человека*, желание вызвать наибольшое напряжение инициативы, свободы и веры в свои силы; исправьте его систему, где Спенсер не достаточно углубил последствия современного капитализма; ищите истинный мотив его уважения собственности, который всегда сводится, как у Прудона, к ненависти государства и боязни монастыря и казармы. Сделайте эти поправки (в этом-то и состоит красота и выгода всякого индуктивного научного исследования, что его ошибки могут быть исправлены, не нарушая всей системы), и вы найдете у Спенсера социальную систему, которая в очень большой степени сходна с системой анархистов-коммунистов.

Если анархисты-индивидуалисты, как Тэкер, приняли Спенсера таковым, каков он есть, с его буржуазным индивидуализмом в отношении к промышленной собственности и буржуазного „воздаяния", то они приняли скорее букву его системы, чем дух. Достаточно было бы сделать в ней поправки, на которые нас уполномачивает сам Спенсер, вводя в свою систему добровольное сотрудничество и протест против индивидуального захвата земли, и тогда можно было, через эту систему, придти к нашим заключениям. Это констатировали, конечно, с сожалением, многие большие английские журналы в своих некрологах по поводу смерти Спенсера. Спенсер, говорили они, подошел слишком близк

к анархическому коммунизму. Именно по этой причине к нему относились с таким отрицанием в Англии.

До сих пор во всех теориях общества, которые преподносились нам философами, личность приносилась в жертву государству. После Канта Конт, а за ним другие впадали в ту же ошибку, и немецкие метафизики увеличивали ее своей яростною преданностью идее государства.

Система Спенсера была первая, которая, с одной стороны, освобождалась от религиозного предрассудка и с другой стороны прямо и твердо утвердила верховенство личности. Государство более не главенствует, как „цель человеческого развития“ (гегельянский стиль). На первый план наоборот поставлена личность, и она может выбирать себе общество, которое она хочет, и решить, до какой степени она желает отдать себя этому обществу.

Спенсер нас учит, что нужно бороться в человеке против духа подчинения своему обществу,, но ни в коем случае против духа независимости; между тем, как все религии, все предыдущие социальные системы боролись именно против духа независимости из-за боязни мятежей и восстаний.

К несчастью здесь еще раз Спенсер не остается верен самому себе. Он ставит революционное положение и — спешит смягчить его предлагая компромисс. И раз он пошел по этой дороге, он должен идти дальше, от одной уступки к другой,—так что в конце концов компрометирует всю свою работу.

Придав смелое заглавие: „*Личность против государства*“ одной части своей *Социологии*, он, однако, допускает *отрицательную* роль государства, как *охранителя*. Так, государство не должно употреблять общественных средств на создание национальной библиотеки, или основывать университеты,— это не его дело. Но оно будет бодрствовать над охраной индивидуумов, — одних против других. Оно будет охранять их права собственности.

Но так как нужны народные представители для издания законов, судьи для об‘яснения этих законов и университеты для обучения искусству создания и толкования законов, то исходя из одного этого, Спенсер приходит назад к тому, что восстанавливает государство в самых его злостных функциях, вплоть до тюрьмы и усовершенствованной гильотины.

Здесь опять—и здесь в особенности—ему не хватает смелости. „Золотая середина“ удерживает его. Может быть он был стеснен недостатком знаний, потому что он набросал свою философию в то время, когда его знания были еще ограничены, и всю свою жизнь он страдал от незнания других языков кроме английского. Или может быть весь его характер и воспитание не позволяли

ему подняться на высоту, на которую должен был бы подняться философ с такими громадными познаниями?... Или это было влияние английской среды, — всегда „левого центра“ и никогда „Горы?..“

Вот, в кратком очерке отличительные черты Спенсера.

Создать *синтетическую* философию, представляющую собой сводку всей совокупности человеческих знаний, и дающую материалистическое об'яснение всех явлений природы и умственной жизни человека и жизни обществ,—это есть колоссальный труд Спенсер выполнил его лишь отчасти.

Но вполне признавая оказанные им услуги, было бы неправильно дать себя увлечь нашим, пред ним, преклонением до того, чтобы поверить, что его работа действительно содержит в себе последние результаты наук и индуктивного метода в приложении к человеку. Основная идея этой работы верна. Но в отдельных случаях она была много раз искажена благодаря различным причинам. Одни из них нами были только что указаны. Другие, как например ошибочный метод аналогий, и в особенности преувеличение борьбы за существование между индивидуумами одного и того же рода и слишком малое внимание, отданное другому закону природы, — взаимной помощи,— были упомянуты в тексте настоящей книги.

Мы не можем принять всех заключений Спенсера. Мы должны даже внести поправки в большинство заключений его „*Социологии*“, как это сделал Михайловский в очень важном пункте — теории прогресса. Здесь мы должны в одном месте оставаться более верными научному методу, в другом месте отделаться от некоторых предрассудков и в третьем месте еще раз проделать более глубокое исследование той или иной группы явлений.

Но над всем этим и вне этого остается один факт самой высокой важности, доказанный Спенсером.

С того момента, как мы начинаем стремиться создать синтетическую мировую философию, включая сюда жизнь общества, мы неизбежно приходим не только к отрицанию силы, которая управляет вселенной, не только к отрицанию бессмертной души или особой жизненной силы, но мы приходим также к тому, что мы должны низвергнуть третий фетиш, — государство, власть человека над человеком. Мы приходим к предвидению неизбежности анархии для будущего цивилизованных обществ.

В этом смысле Герберт Спенсер несомненно способствовал тому, чтобы философия того века, в который мы вступаем, стала анархической.

Оглавление.

Стран.

Предисловие к французскому изданию 3

I. Современная Наука и Анархия 7

I. Происхождения Анархии. 9

II. Умственное движение 18-го века 13

III. Реакция в начале 19-го века 17

IV. Позитивная философия Конта 23

V. Пробуждение 1856-1862 годов 27

VI. Синтетическая философия Спенсера 32

VII. О роли закона в обществе 36

VIII. Положение учения об Анархии в современной науке 41

IX. Анархический идеал 44

X. Анархия 47

Принципы. Понятие анархизма у древних—в средние века.—
Прудон. Штирнер. 51

XI. Анархия (продолжение). Социалистические идеи в Интернационале . 55

Коммунисты государственники и мютюэлисты—Сенсимонизм . 60

XII. Анархия (продолжение) 65

Фурьеризм. Толчек данный Коммуной—Бакунин 71

XIII Анархия (продолжение). Анархическое учение в его современном виде. 81

Отрицание Государства. . . . .

Индивидуалистическое течение 86

XIV. Некоторые выводы Анархизма 91

XV. Способы действия 100

XVI. Заключение 109

II. Коммунизм и Анархизм 113

I. Анархический Коммунизм 115

II. Государственнический Коммунизм—Коммунистические Общины . . . 119

III. Маленькие коммунистические общины—Причины их неуспеха 129

IV. Ведет ли коммунизм к умалению личности 135

III. Государство, его роль в истории 145

IV. Современное Государство 199

I. Главный принцип современных обществ 201

II. Рабы государства 205

III. Налог, средство создания могущества государства. 210

IV. Налог, средство обогащения богатых 216

V. Монополии. 225

VI Монополии в 19-м веке 229

VII. Монополии в конституционной Англии—В Германии—Корона [illegible] 235
VIII. Война. Промышленные соперничества. 241
Высшие финансы 244
IX. Война и Промышленность 245
Промышленные кризисы, происходящие вследствие предвидения войн 252
X. Существенные характерные черты государства . 256
XI. Может ли государство служить освобождению рабочих . 259
XII. Современное конституционное государство? 264
XIII. Разумно-ли усиливать современное государство? 265
XIV. Заключения. 270
V. Приложение 277
I. Об'яснительные заметки 279
II. Герберт Спенсер, его философия 309

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Выпущены в свет:

Записки Революционера.

Речи Бунтовщика, с предисловием и послесловием автора к новому изданию.

Хлеб и воля, с предисловием автора к новому изданию.

К чему и как прилагать труд ручной и умственный (сокращенное изложение книги „Поля, фабрики и мастерския“).

Анархия.

Анархическая работа во время революции.

Коммунизм и Анархия.

К молодому поколению.

Политические права.

Новый Интернационал.

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет:

Поля, фабрики и мастерския, (земледелие, промышленность и ремесла), новое значительно дополненное издание.

Взаимная помощь, как фактор эволюции.

Справедливость и Нравственность.

Готовятся к печати:

Великая Францувская революция.

В русских и французских тюрьмах.

Нравственность ея происхождение и развитие в 2-х томах.

Что такое Анархия.

Его-же.—Анархия . . . . Ц. 112 р. — к.

Его-же.—Анархическая работа во время Революции . . Ц. 75 „ — „

Его-же.—Коммунизм и Анархия . . . . Ц. 50 „ — „

Его-же.—К молодому поколению (разошлось) . . . . . . Ц. — „ — „

Его-же.—Политические права . . . . Ц. 20 „ — „

Его-же.—Новый Интернационал . . . . Ц. 20 „ — „

Н. К. Лебедев.—Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель . . . . Ц. 225 „ — „

Его-же.—К истории Интернационала. Этапы международного об'единения трудящихся, ... Ц. 225 „ — „

Э. Малатеста.—Избранные сочинения . . . . Ц. 350 „ — „

Его-же.—Анархизм . . . . Ц. 150 „ — „

Его-же.—Краткая Система Анархизма . . . . Ц. 175 „ — „

Его-же.—Крестьянские речи . . . . Ц. 150 „ — „

М. Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина . Ц. 175 „ — „

Его-же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса . . . . Ц. 75 „ — „

Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию, с предисловием П. А. Кропоткина . . . . Ц. 400 „ — „

Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда . . . . Ц. 450 „ — „

М. Р—ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа . . Ц. 250 „ — „

Элизе Реклю.—Избранные сочинения (с предисловием П. А. Кропоткина) . . . . Ц. 420 „ — „

В. Траутман, Дж. Эттор и В. Сэнт-Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро) . . . . Ц. 200 „ — „

С. Фор.—Преступления Бога (второе изд.) . . . . Ц. 90 „ — „

В. Черкезов.—Предтечи Интернационала; Доктрины Марксизма; Распад среди социалистов государственников; Наконец-то сознались (ответ Каутскому) . . . . . Ц. 390 „ — „

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет:

М. Бакунин.—Избранные сочинения.

СОДЕРЖАНИЕ:.

5-го тома: Интернационал и Мадзини; „Альянс“ и Интернационал.

Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и Материалы).

Ж. Грав.—Свободная Земля (роман).

Свободное Трудовое Воспитание. Сборник статей под редакцией Н. К. Лебедева.

Книгоиздательство

СОЮЗА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ

„ГОЛОС  ТРУДА“.

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

Серия биографических очерков:

П. А. Кропоткин, Фриц Брупбахер и др. о Дж. Гильоме.

КНИГИ:

А. Беркман.—Воспоминания Анархиста.
Э. Гольдман.—Анархизм.
Ж. Грав.—Реформы и Революция.
Ж. Дежак.—Гуманисфер (утопия).
Х Корнелиссен.—Вперед к новому обществу.
П. Кропоткин.—Поля, Фабрики и Мастерския.
Его-же.—Взаимная Помощь.
Ф. Домела Ньювенгаус.—Социализм в опасности.
П.-Ж. Прудон.—Философия нищеты.
Его-же.—О правосудии.
Эли Реклю.—Парижская Коммуна изо дня в день (дневник событий 1871 года).

БРОШЮРЫ:

П. Кропоткин.—Парижская Коммуна.
Его-же.—Экспроприация.
Его-же.—Государство, его роль в истории.
Его-же.—Правосудие и нравственность.
Элизе Реклю.—Богатство и Нищета.